

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ



Братья  
Карамазовы



ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ





ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОСТОЕВСКИЙ

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ  
Роман в четырех частях с эпилогом  
Части 3-4

 МИР КНИГИ

 Литература



Д70 **Достоевский Ф. М.**  
Собрание сочинений: Братья Карамазовы: Роман.  
Ч.3,4 / М.: Мир книги, Литература, 2008.— 464 с.

ISBN 978-5-486-02101-5 (т. 12)  
ISBN 978-5-486-01562-5

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — великий русский писатель, в произведениях которого органично сочетается реалистическое изображение социальных контрастов и страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

В данный том Собрания сочинений вошло окончание романа «Братья Карамазовы».

**ББК 84(2Рос=Рус)**

ISBN 978-5-486-02101-5 (т. 12)  
ISBN 978-5-486-01562-5

© ООО ТД «Издательство  
Мир книги», оформление, 2008  
© ООО «РИЦ Литература», состав,  
комментарии, 2008



# БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ

Роман  
Части 3-4





## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Книга седьмая

#### АЛЕША

##### I

#### ТЛЕТВОРНЫЙ ДУХ

Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. «Егда кто от монахов ко Господу отыдет (сказано в Большом требнике), то учиненный монах (то есть для сего назначенный) отирает тело его теплою водой, творя прежде губою (то есть греческою губкой) крест на челе скончавшегося, на персех, на руках и на ногах и на коленях, вяшше же ничто же». Все это и исполнил над усопшим сам отец Паисий. После отирания одел его в монашеское одеяние и обвил мантиею; для чего, по правилу, несколько разрезал ее, чтоб обвить крестообразно. На голову надел ему куколь с осьмиконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли черным воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его во гроб (уже прежде давно заготовленный). Гроб же вознамерились оставить в келье (в первой большой комнате, в той самой, в которой покойный старец принимал братию и мирских) на весь день. Так как усопший по чину был иеросхимонах, то над ним следовало иеромонахам же и иеродиаконам читать не Псалтырь, а Евангелие. Начал чтение, сейчас после панихиды, отец Иосиф; отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен, вместе с отцом настоятелем скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, и в монастырской братии, и в прибывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное и «неподобающее» даже волнение и нетерпеливое ожидание. И настоятель, и отец Паисий прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кои захватили с собою больных

своих, особенно детей, — точно ждали для сего нарочно сей минуты, видимо уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас приобыкли считать усопшего старца еще при жизни его за несомненного и великого святого. И между прибывающими были далеко не из одного лишь простонародья. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и обнаженно выказываемое и даже с нетерпением и чуть не с требованием, казалось отцу Паисию несомненным соблазном, и хотя еще и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными из иноков, отец Паисий стал даже выговаривать им: «Такое и столь немедленное ожидание чего-то великого, — говорил он, — есть легкомыслие, возможное лишь между светскими, нам же неподобающее». Но его мало слушали, и отец Паисий с беспокойством замечал это, несмотря на то что даже и сам (если уж все вспоминать правдиво) хотя и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаенно, про себя, в глубине души своей, ждал почти того же, чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться. Тем не менее ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нем, по некоему предчувствию, большие сомнения. В теснившейся в келье усопшего толпе заметил он с отвращением душевным (за которое сам себя тут же и попрекнул) присутствие, например, Ракитина или далекого гостя — обдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре, и обоих их отец Паисий вдруг почему-то счел подозрительными — хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле. Инок обдорский из всех волновавшихся выдавался наиболее суетящимся; заметить его можно было всюду, во всех местах: везде он расспрашивал, везде прислушивался, везде шептался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение же лица имел самое нетерпеливое и как бы уже раздраженное тем, что ожидаемое столь долго не совершается. А что до Ракитина, то тот, как оказалось потом, очутился столь рано в ските по особливому поручению госпожи Хохлаковой. Сия добрая, но бесхарактерная женщина, которая сама не могла быть допущена в скит, чуть лишь проснулась и узнала о преставившемся, вдруг прониклась столь стремительным любопытством, что немедленно отрядила вместо себя в скит Ракитина, с тем чтобы тот все наблюдал и немедленно доносил ей письменно, примерно в каждые полчаса, о *всем, что произойдет*. Ракитина же считала она за самого благочестивого и верующего молодого человека — до того он умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал в сем малейшую для себя

выгоду. День был ясный и светлый, и из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил, наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец Паисий вдруг вспомнил об Алеше и о том, что давно он его не видел, с самой почти ночи. И только что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита, у ограды, сидящего на могильном камне одного древлепочившего и знаменитого по подвигам своим инока. Он сидел спиной к скиту, лицом к ограде и как бы прятался за памятник. Подойдя вплоть, отец Паисий увидел, что он, закрыв обеими ладонями лицо, хотя и безгласно, но горько плачет, сотрясаясь всем телом своим от рыданий. Отец Паисий постоял над ним несколько.

— Полно, сыне милый, полно, друг, — прочувствованно произнес он наконец, — чего ты? Радуйся, а не плачь. Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней *его*? Где он теперь, в минуту сию, вспомни-ка лишь о том!

Алеша взглянул было на него, открыв свое распухшее от слез, как у малого ребенка, лицо, но тотчас же, ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями.

— А пожалуй, что и так, — произнес отец Паисий вдумчиво, — пожалуй, и плачь, Христос тебе эти слезы послал. — «Умилительные слезки твои лишь отдых душевный и к веселию сердца твоего милого послужат», — прибавил он уже про себя, отходя от Алеши и любовно о нем думая. Отошел он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло, монастырские службы и панихиды по усопшем продолжались в порядке. Отец Паисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но еще не минуло и трех часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги, нечто, до того никем у нас не ожидаемое и до того вразрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о сем происшествии даже до сих пор с чрезвычайною живостию вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут, прибавлю еще раз от себя лично: мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии, в сущности, же самом пустом и естественном, и я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упоминования, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, *хотя и будущего* героя рассказа моего, Алеши, составив в душе его как бы перелом и поворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели.

Итак, к рассказу. Когда еще до свету положили уготованное к погребению тело старца во гроб и вынесли его в первую, бывшую



приемную комнату, то возник было между находившимися у гроба вопрос: надо ли отворить в комнате окна? Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и мельком, остался без ответа и почти незамеченным — разве лишь заметили его, да и то про себя, некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание тления и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойная даже сожаления (если не усмешки), относительно малой веры и легкомыслия изрекшего вопрос сей. Ибо ждали совершенно противоположного. И вот вскорости после полудня началось нечто, сначала принимаемое входившими и выходившими лишь молча и про себя, и даже с видимою боязнью каждого сообщить кому-либо начинающуюся мысль свою, но к трем часам пополудня обнаружившееся уже столь ясно и неопровержимо, что известие о сем мигом облетело весь скит и всех богомольцев-посетителей скита, тотчас же проникло и в монастырь и повергло в удивление всех монастырских, а наконец, чрез самый малый срок, достигло и города и взволновало в нем всех, и верующих и неверующих. Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них возрадовавшиеся даже более самих неверующих, ибо «любят люди падение праведного и позор его», как изрек сам покойный старец в одном из поучений своих. Дело в том, что от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух, к трем же часам пополудни уже слишком явственно обнаружившийся и все постепенно усиливавшийся. И давно уже не бывало и даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае так даже и невозможного, какой обнаружился тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками. Потом уже, и после многих даже лет, иные разумные иноки наши, припоминая весь тот день в подробности, удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени. Ибо и прежде сего случалось, что умирали иноки весьма праведной жизни и праведность коих была у всех на виду, старцы богобоязненные, а между тем и от их смиренных гробов исходил дух тлетворный, естественно, как и у всех мертвецов появившийся, но сие не производило же соблазна и даже малейшего какого-либо волнения. Конечно, были некие и у нас из древлепреставившихся, воспоминание о коих сохранилось еще живо в монастыре и останки коих, по преданию, не обнаружили тления, что умирительно и таинственно повлияло на братию и сохранилось в памяти ее как нечто благолепное и чудесное и как обетование в будущем еще большей славы от их гробниц, если только волею Божией придет тому время. Из таковых

особенно сохранялась память о дожившем до ста пяти лет старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, преставившемся уже давно, еще в десятых годах нынешнего столетия, и могилу которого с особым и чрезвычайным уважением показывали всем впервые прибывающим богомольцам, таинственно упоминая при сем о неких великих надеждах. (Это та самая могила, на которой отец Паисий застал утром сидящим Алешу.) Кроме сего древлепочившего старца жива была таковая же память и о преставившемся сравнительно уже недавно великом отце иеросхимонахе, старце Варсонофии, — том самом, от которого отец Зосима и принял старчество и которого, при жизни его, все приходившие в монастырь богомольцы считали прямо за юродивого. О сих обоих сохранилось в предании, что лежали они в гробах своих как живые и погребены были совсем нетленными и что даже лики их как бы просветлели в гробу. А некие так даже вспоминали настоятельно, что от телес их осязалось явственно благоухание. Но несмотря даже и на столь внушительные воспоминания сии, все же трудно было бы объяснить ту прямую причину, по которой у гроба старца Зосимы могло произойти столь легкомысленное, нелепое и злобное явление. Что до меня лично, то полагаю, что тут одновременно сошлось и много другого, много разных причин, заодно повлиявших. Из таковых, например, была даже самая эта закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах еще многих иноков. А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего, столь сильно установившейся при жизни его, что и возражать как будто было воспрещено. Ибо хотя покойный старец и привлек к себе многих, и не столько чудесами, сколько любовью, и воздвиг кругом себя как бы целый мир его любящих, тем не менее, и даже тем более, сим же самым породил к себе и завистников, а вслед за тем и ожесточенных врагов, и явных и тайных, и не только между монастырскими, но даже и между светскими. Никому-то, например, он не сделал вреда, но вот: «Зачем-де его считают столь святым?» И один лишь сей вопрос, повторяясь постепенно, породил наконец целую бездну самой ненасытимой злобы. Вот почему и думаю я, что многие, заслышав тлетворный дух от тела его, да еще в такой скорости, — ибо не прошло еще и дня со смерти его, — были безмерно обрадованы; равно как из преданных старцу и доселе чтивших его нашлись тотчас же таковые, что были сим событием чуть не оскорблены и обижены лично. Постепенность же дела происходила следующим образом.

Лишь только начало обнаруживаться тление, то уже по одному виду входивших в келью усопшего иноков можно было заключить,

зачем они приходят. Войдет, постоит недолго и выходит подтвердить скорее весть другим, толпою ожидающим извне. Иные из сих ожидавших скорбно покивали главами, но другие даже и скрывать уже не хотели своей радости, явно сиявшей в озлобленных взорах их. И никто-то их не укорял более, никто-то доброго гласа не подымал, что было даже и чудно, ибо преданных усопшему старцу было в монастыре все же большинство; но уж так, видно, сам Господь допустил, чтобы на сей раз меньшинство временно одержало верх. Вскоро стали являться в келью такими же соглядатаями и светские, более из образованных посетителей. Простого же народу входило мало, хотя и столпилось много его у ворот скитских. Несомненно то, что именно после трех часов прилив посетителей светских весьма усилился, и именно вследствие соблазнительного известия. Те, кои бы, может, и не прибыли в сей день вовсе и не располагали прибыть, теперь нарочно приехали, между ними некоторые значительного чина особы. Впрочем, благочиние наружно еще не нарушалось, и отец Паисий твердо и отдельно, с лицом строгим, продолжал читать Евангелие в голос, как бы не замечая совершавшегося, хотя давно уже заметил нечто необычайное. Но вот и до него стали достигать голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и ободрявшиеся. «Знать, суд-то Божий не то, что человеческий!» — слышал вдруг отец Паисий. Вымолвил сие первее всех один светский, городской чиновник, человек уже пожилой и, сколь известно было о нем, весьма набожный, но, вымолвив вслух, повторил лишь то, что давно промеж себя повторяли иноки друг другу на ухо. Те давно уже вымолвили сие безнадежное слово, и хуже всего было то, что с каждою почти минутой обнаруживалось и возрастало при этом слове некое торжество. Вскоре, однако, и самое даже благочиние начало нарушаться, и вот точно все почувствовали себя в каком-то даже праве его нарушить. «И почему бы *сие* могло случиться, — говорили некоторые из иноков, сначала как бы и сожалея, — тело имел невеликое, сухое, к костям приросшее, откуда бы тут духу быть?» — «Значит, нарочно хотел Бог указать», — поспешно прибавляли другие, и мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если б и быть духу естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же изошел бы позднее, не с такою столь явною поспешностью, по крайности чрез сутки бы, а «этот естество предупредил», стало быть, тут никто как Бог и нарочитый перст Его. Указать хотел. Суждение сие поражало неотразимо. Кроткий отец иеромонах Иосиф, библиотекарь, любимец покойного, стал было возражать некоторым из злословников, что «не везде ведь это и так» и что не догмат же какой в православии сия

необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, и что в самых даже православных странах, на Афоне например, духом тлетворным не столь смущаются, и не нетление телесное считается там главным признаком прославления спасенных, а цвет костей их, когда тела их полежат уже многие годы в земле и даже истлеют в ней, «и если обрящутся кости желты, как воск, то вот и главнейший знак, что прославил Господь усопшего праведного; если же не желты, а черны обрящутся, то, значит, не удостоил такого Господь славы, — вот как на Афоне, месте великом, где издревле нерушимо и в светлейшей чистоте сохраняется православие», — заключил отец Иосиф. Но речи смиренного отца пронеслись без внушения и даже вызвали отпор насмешливый. «Это все ученость и новшества, нечего и слушать», — порешили про себя иноки. «У нас по-старому; мало ли новшеств теперь выходит, всем и подражать?» — прибавляли другие. «У нас не менее ихнего святых отцов было. Они там под туркой сидят и всё перезабыли. У них и православие давно замутилось, да и колоколов у них нет», — присоединяли самые насмешливые. Отец Иосиф отошел с горестию, тем более что и сам-то высказал свое мнение не весьма твердо, а как бы и сам ему мало веруя. Но со смущением провидел, что начинается нечто очень неблагоприятное и что возвышает главу даже самое непослушание. Мало-помалу, вслед за отцом Иосифом, затихли и все голоса рассудительные. И как-то так сошлось, что все любившие покойного старца и с умиленным послушанием принимавшие установление старчества страшно чего-то вдруг испугались и, встречаясь друг с другом, робко лишь заглядывали один другому в лицо. Враги же старчества, яко новшества, гордо подняли голову. «От покойного старца Варсонофия не только духу не было, но точилось благоухание, — злорадно напоминали они, — но не старчеством заслужил, а тем, что и сам праведен был». А вслед за сим на новопреставившегося старца посыпались уже осуждения и самые даже обвинения. «Несправедливо учил; учил, что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное», — говорили одни, из наиболее бестолковых. «По-модному веровал, огня материального во аде не признавал», — присоединяли другие, еще тех бестолковее. «К посту был не строг, сладости себе разрешал, варение вишневое ел с чаем, очень любил, барыни ему присылали. Схимнику ли чай распивать?» — слышалось от иных завистующих. «Возгордись сидел, — с жестокостью припоминали самые злорадные, — за святого себя почитал, на коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал». — «Таинством исповеди злоупотреблял», — злобным шепотом прибавляли самые ярые противники старчества, и это даже из самых старейших и суро-

вых в богомолье своем иноков, истинных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего, но вдруг теперь отверзших уста свои, что было уже ужасно, ибо сильно влияли словеса их на молодых и еще не установившихся иноков. Весьма выслушивал все сие и обдорский гость, монашек от святого Сильвестра, глубоко вздыхая и покивая главою. «Нет, видно, отец-то Ферапонт справедливо вчера судил», — подумывал он про себя, а тут как раз и показался отец Ферапонт; как бы именно чтоб усугубить потрясение вышел.

Упомянул уже я прежде, что выходил он из своей деревянной келейки на пасеке редко, даже в церковь подолгу не являлся, и что попускали ему это якобы юродивому, не связывая его правилом, общим для всех. Но если сказать по всей правде, то попускалось ему все сие даже и по некоторой необходимости. Ибо столь великого постника и молчальника, дни и ночи молящегося (даже и засыпал, на коленках стоя), как-то даже и зазорно было настоятельно обременять общим уставом, если он сам не хотел подчиниться. «Он и всех-то нас святее и исполняет труднейшее, чем по уставу, — сказали бы тогда иноки, — а что в церковь не ходит, то, значит, сам знает, когда ему ходить, у него свой устав». Ради сего-то вероятного ропота и соблазна и оставляли отца Ферапонта в покое. Старца Зосиму, как уже и всем известно было сие, не любил отец Ферапонт чрезвычайно; и вот и к нему в его келейку донеслась вдруг весть о том, что «суд-то Божий, значит, не тот, что у человек, и что естество даже предупредил». Надо полагать, что из первых сбегал ему передать известие обдорский гость, вчера посещавший его и во ужасе от него вчера отшедший. Упомянул я тоже, что отец Паисий, твердо и незыблемо стоявший и читавший над гробом, хотя и не мог слышать и видеть, что происходило вне кельи, но в сердце своем все главное безошибочно предугадал, ибо знал среду свою насквозь. Смущен же не был, а ожидал всего, что еще могло произойти, без страха, пронзающим взглядом следя за будущим исходом волнения, уже представлявшимся умственному взору его. Как вдруг необычайный и уже явно нарушавший благочиние шум в сенях поразил слух его. Дверь отворилась настежь, и на пороге показался отец Ферапонт. За ним, как примечалось, и даже ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними и светских. Сопровождавшие, однако, не вошли и на крылечко не поднялись, но, остановясь, ждали, что скажет и сделает отец Ферапонт далее, ибо предчувствовали они, и даже с некоторым страхом, несмотря на все дерзновение свое, что пришел он недаром. Остановясь на пороге, отец Ферапонт воздел руки, и из-под правой руки его вы-

глянули острые и любопытные глазки обдорского гостя, единого не утерпевшего и взбежавшего вослед отцу Ферапонту по лесенке из-за превеликого своего любопытства. Прочие же, кроме него, только что с шумом отворилась настежь дверь, напротив, потеснились еще более назад от внезапного страха. Подняв руки горé, отец Ферапонт вдруг завопил:

— Извергая извергну! — и тотчас же начал, обращаясь во все четыре стороны попеременно, крестить стены и все четыре угла кельи рукой. Это действие отца Ферапонта тотчас же поняли сопровождавшие его; ибо знали, что и всегда так делал, куда ни входил, и что и не сядет и слова не скажет, прежде чем не изгонит нечистую силу.

— Сатана, изыди, сатана, изыди! — повторял он с каждым крестом. — Извергая извергну! — возопил он опять. Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под посконной рубахи выглядывала обнаженная грудь его, обросшая седыми волосами. Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой. Отец Паисий прервал чтение, выступил вперед и стал пред ним в ожидании.

— Почто пришел, честный отче? Почто благочиние нарушаешь? Почто стадо смиренное возмущаешь? — проговорил он наконец, строго смотря на него.

— Чесо ради пришел еси? Чесо просиши? Како веруеши? — прокричал отец Ферапонт, юродствуя. — Притек здешних ваших гостей изгонять, чертей поганых. Смотрю, много ль их без меня накопили. Веником их березовым выметать хочу.

— Нечистого изгоняешь, а может, сам ему же и служишь, — безбоязненно продолжал отец Паисий, — и кто про себя сказать может: «свят есть»? Не ты ли, отче?

— Поган есмь, а не свят. В кресла не сяду и не восхощу себе аки идолу поклонения! — загремел отец Ферапонт. — Ныне людие веру святую губят. Покойник, святой-то ваш, — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб, — чертей отвергал. Пурганцу от чертей давал. Вот они и развелись у вас, как пауки по углам. А днесь и сам провонял. В сем указание Господне великое видим.

А это и действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому от иноков стала сниться, а под конец и наяву представляться нечистая сила. Когда же он, в величайшем страхе, открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. О сем многие тогда соблазнялись и говорили меж собой, покивая главами, —

пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сем «необычайном» в таком особливом случае распоряжении старца.

— Изыди, отче! — повелительно произнес отец Паисий, — не человеки судят, а Бог. Может, здесь «указание» видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто. Изыди, отче, и стадо не возмушай! — повторил он настойчиво.

— Постов не содержал по чину схимы своей, потому и указание вышло. Сие ясно есть, а скрывать грех! — не унимался расходившийся во рвении своем не по разуму изувер. — Конфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили, чаем сладобился, чреву жертвовал, сладостями его наполняя, а ум помышлением надменным... Посему и срам потерпел...

— Легкомысленны словеса твои, отче! — возвысил голос и отец Паисий, — посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленны словеса твои, якобы изрек юноша в миру, непостоянный и младоумный. Изыди же, отче, повелеваю тебе, — прогремел в заключение отец Паисий.

— Я-то изыду! — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего, — ученые вы! От большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл, сам Господь Бог от премудрости вашей меня, маленького, защитил...

Отец Паисий стоял над ним и ждал с твердостью. Отец Ферапонт помолчал и вдруг, пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке, произнес нараспев, взирая на гроб усопшего старца:

— Над ним завтра «Помощника и покровителя» станут петь — канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь «Кая житейская сладость» — стихирчик малый, — проговорил он слезно и сожалительно. — Возгордились и вознеслись, пусто место сие! — завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ожидавшая внизу толпа заколебалась; иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо келья все еще была отперта, а отец Паисий, выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, стоя наблюдал. Но расходившийся старик еще не окончил всего: отойдя шагов двадцать, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, воздел над собою обе руки и — как бы кто подкосил его — рухнулся на землю с превеликим криком:

— Мой Господь победил! Христос победил заходящу солнцу! — неистово прокричал он, воздевая к солнцу руки и пав лицом ниц на землю, зарыдал в голос, как малое дитя, весь сотрясаясь от слез

своих и распростирая по земле руки. Тут уж все бросились к нему, раздались восклицания, ответное рыдание... Исступление какое-то всех обуяло.

— Вот кто свят! вот кто праведен! — раздавались возгласы уже небоязненно. — Вот кому в старцах сидеть, — прибавляли другие уже озлобленно.

— Не сядет он в старцах... Сам отвергнет... не послужит проклятому новшеству... не станет ихним дурачествам подражать, — тотчас же подхватили другие голоса, и до чего бы это дошло, трудно и представить себе, но как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе. Все вдруг стали креститься. Поднялся и отец Феррапонт и, ограждая себя крестным знаменем, пошел к своей келье не оглядываясь, все еще продолжая восклицать, но уже нечто совсем несвязное. За ним потекли было некоторые, в малом числе, но большинство стало расходиться, поспешая к службе. Отец Паисий передал чтение отцу Иосифу и сошел вниз. Исступленными кликами изуверов он поколебаться не мог, но сердце его вдруг загрустило и затосковало о чем-то особливо, и он почувствовал это. Он остановился и вдруг спросил себя: «Отчего сия грусть моя даже до упадка духа?» — и с удивлением постиг тотчас же, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины: дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заметил он между прочими волнующимися и Алешу, и вспомнил он, что, увидав его, тотчас же почувствовал тогда в сердце своем как бы некую боль. «Да неужто же сей младый столь много значит ныне в сердце моем?» — вдруг с удивлением спросил он себя. В эту минуту Алеша как раз проходил мимо него, как бы поспешая куда-то, но не в сторону храма. Взоры их встретились. Алеша быстро отвел свои глаза и опустил их в землю, и уже по одному виду юноши отец Паисий догадался, какая в минуту сию происходит в нем сильная перемена.

— Или и ты соблазнился? — воскликнул вдруг отец Паисий, — Да неужто же и ты с маловерными! — прибавил он горестно.

Алеша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Паисия, но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле. Стоял же боком и не повернулся лицом к вопрошавшему. Отец Паисий наблюдал внимательно.

— Куда же поспешаешь? К службе благовестят, — спросил он вновь, но Алеша опять ответа не дал. — Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь?

Алеша вдруг криво усмехнулся, странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому вверил его,



умирая, бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его, и вдруг, все по-прежнему без ответа, махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным воротам вон из скита.

— Возвратишься еще! — прошептал отец Паисий, смотря во след ему с горестным удивлением.

## II

### ТАКАЯ МИНУТКА

Отец Паисий, конечно, не ошибся, решив, что его «милый мальчик» снова воротится, и даже, может быть (хотя и не вполне, но все же прозорливо), проник в истинный смысл душевного настроения Алеши. Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца Паисия, устремленный к Алеше: «Или и ты с маловерными?» — я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алешу: «Нет, он не с маловерными». Мало того, тут было даже совсем противоположное: все смущение его произошло именно от того, что он много веровал. Но смущение все же было, все же произошло и было столь мучительно, что даже и потом, уже долго спустя, Алеша считал этот горестный день одним из самых тягостных и роковых дней своей жизни. Если же спросят прямо: «Неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нем произойти лишь потому, что тело его старца, вместо того чтобы немедленно начать производить исцеления, подверглось, напротив того, раннему тлению», то отвечу на это не обинуясь: «Да, действительно было так». Попросил бы только читателя не спешить еще слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши. Сам же я не только не намерен просить за него прощенья или извинять и оправдывать простодушную его веру его юным возрастом, например, или малыми успехами в пройденных им прежде науках и проч. и проч., но сделаю даже напротив и твердо заявлю, что чувствую искреннее уважение к природе сердца его. Без сомнения, иной юноша, принимающий впечатления сердечные осторожно, уже умеющий любить не горячо, а лишь тепло, с умом хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту, рассудительным (а потому дешевым), такой юноша, говорю я, избег бы того, что случилось с моим юношей, но в иных случаях, право, почтнее поддаться иному увлечению, хотя бы и неразумному, но все же от великой любви происшедшему, чем

вовсе не поддаться ему. А в юности тем паче, ибо неблагонадежен слишком уж постоянно рассудительный юноша и дешева цена ему — вот мое мнение! «Но, — воскликнут тут, пожалуй, разумные люди, — нельзя же всякому юноше веровать в такой предрассудок, и ваш юноша не указ остальным». На это я отвечу опять-таки: да, мой юноша веровал, веровал свято и нерушимо, но я все-таки не прошу за него прощения.

Видите ли: хоть я и заявил выше (и, может быть, слишком поспешно), что объясняться, извиняться и оправдывать героя моего не стану, но вижу, что нечто все же необходимо уяснить для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажу: тут не то чтобы чудеса. Не легкомысленное в своем нетерпении было тут ожидание чудес. И не для торжества убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса Алеше (это-то уже вовсе нет), не для идеи какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорей над другою, — о нет, совсем нет: тут во всем этом и прежде всего, на первом месте, стояло пред ним лицо, и только лицо, — лицо возлюбленного старца его, лицо того праведника, которого он до такого обожания чтит. То-то и есть, что вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его ко «всем и вся», в то время и во весь предшествовавший тому год, как бы вся временами сосредоточивалась, и, может быть, даже неправильно, лишь на одном существе преимущественно, по крайней мере в сильнейших порывах сердца его, — на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, это существо столь долго стояло пред ним как идеал бесспорный, что все юные силы его и всё стремление их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами так даже и до забвения «всех и вся». (Он вспоминал потом сам, что в тяжелый день этот забыл совсем о брате Дмитрие, о котором так заботился и тосковал накануне; забыл тоже снести отцу Илюшечки двести рублей, что с таким жаром намеревался исполнить тоже накануне.) Но не чудес опять-таки ему нужно было, а лишь «высшей справедливости», которая была, по верованию его, нарушена и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. И что в том, что «справедливость» эта, в ожиданиях Алеши, самим даже ходом дела, приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его? Но ведь так мыслили и ожидали и все в монастыре, те даже, пред умом которых преклонялся Алеша. Сам отец Паисий, например, и вот Алеша, не тревожа себя никакими сомнениями, облек и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его, целым годом монастырской жизни его, и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаж-

дал, справедливости, а не токмо лишь чудес! И вот тот, который должен бы был, по упованиям его, быть вознесен превыше всех в целом мире, — тот самый вместо славы, ему подобавшей, вдруг низвержен и опозорен! За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? — вот вопросы, которые тотчас же измучили неопытное и девственное сердце его. Не мог он вынести без оскорбления, без озлобления даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмешливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей толпе. Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные монахи? Зачем это «указание», которое они с таким торжеством выводят теперь вместе с отцом Ферапонтом, и зачем они верят, что получили даже право так выводить? Где же Провидение и перст его? К чему сокрыло оно свой перст «в самую нужную минуту» (думал Алеша) и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?

Вот отчего точилось кровью сердце Алеши, и уж конечно, как я сказал уже, прежде всего тут стояло лицо, возлюбленное им более всего в мире и оно же «опозоренное», оно же и «обесславленное»! Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки, в третий раз повторяю (и согласен вперед, что, может быть, тоже с легкомыслием): я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту, ибо рассудку всегда придет время у человека неглупого, а если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши, то когда же придет она? Не захочу, однако же, умолчать при сем случае и о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую и сбивчивую для Алеши минуту в уме его. Это новое объявившееся и мелькнувшее *нечто* состояло в некотором мучительном впечатлении от неустанно припоминавшегося теперь Алешей вчерашнего его разговора с братом Иваном. Именно теперь. О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных, стихийных, так сказать, ее верований. Бога своего он любил и веровал в Него незыблемо, хотя и возроптал было на Него внезапно. Но все же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее. Когда уже стало сильно смеркаться, проходивший сосновою рощей из скита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под

деревом лицом к земле, недвижимого и как бы спящего. Он подошел и окликнул его.

— Ты здесь, Алексей? Да неужто же ты... — произнес было он, удивленный, но, не dokonчив, остановился. Он хотел сказать: «Неужто ж ты *до того дошел?*»

Алеша не взглянул на него, но по некоторому движению его Ракитин сейчас догадался, что он его слышит и понимает.

— Да что с тобой? — продолжал он удивляться, но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой, принимавшею все более и более насмешливое выражение.

— Послушай, да ведь я тебя ишу уже больше двух часов. Ты вдруг пропал отсюда. Да что ты тут делаешь? Какие это с тобой благоглупости? Да взгляни хоть на меня-то...

Алеша поднял голову, сел и прислонился спиной к дереву. Он не плакал, но лицо его выражало страдание, а во взоре виднелось раздражение. Смотрел он, впрочем, не на Ракитина, а куда-то в сторону.

— Знаешь, ты совсем переменялся в лице. Никакой этой кротости прежней пресловутой твоей нет. Осердился на кого, что ли? Обидели?

— Отстань! — проговорил вдруг Алеша, все по-прежнему не глядя на него и устало махнув рукой.

— Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то! Ну, Алешка, удивил ты меня, знаешь ты это, искренно говорю. Давно я ничему здесь не удивляюсь. Ведь я все же тебя за образованного человека почитал...

Алеша наконец поглядел на него, но как-то рассеянно, точно все еще мало его понимая.

— Да неужель ты только оттого, что твой старик провонял? Да неужели же ты верил серьезно, что он чудеса отмачивать начнет? — воскликнул Ракитин, опять переходя в самое искреннее изумление.

— Верил, верую, и хочу веровать, и буду веровать, ну чего тебе еще! — раздражительно прокричал Алеша.

— Да ничего ровно, голубчик. Фу, черт, да этому тринадцатилетний школьник теперь не верит. А впрочем, черт... Так ты вот и рассердился теперь на Бога-то своего, взбунтовался: чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали! Эх, вы!

Алеша длинно и как-то прищурив глаза посмотрел на Ракитина, и в глазах его что-то вдруг сверкнуло... но не озлобление на Ракитина.

— Я против Бога моего не бунтуюсь, я только «мира Его не принимаю», — криво усмехнулся вдруг Алеша.

— Как это мира не принимаешь? — капельку подумал над его ответом Ракитин. — Что за белиберда?

Алеша не ответил.

— Ну, довольно о пустяках-то, теперь к делу: ел ты сегодня?

— Не помню... ел, кажется.

— Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Сострадание ведь на тебя глядя берет. Ведь ты и ночь не спал, я слышал, заседание у вас там было. А потом вся эта возня и мазня... Всего-то анти-дорцу кусочек, надо быть, пожевал. Есть у меня с собой в кармане колбаса, давеча из города захватил на всякий случай, сюда направляясь, только ведь ты колбасы не станешь...

— Давай колбасы.

— Эге! Так ты вот как! Значит, совсем уж бунт, баррикады! Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего. Зайдем ко мне... Я бы водочки сам теперь тяпнул, смерть устал. Водки-то небось не решишься... аль выпьешь?

— Давай и водки.

— Эвона! Чудно, брат! — дико посмотрел Ракитин. — Ну да так или этак, водка иль колбаса, а дело это лихое, хорошее и упускать невозможно, идем!

Алеша молча поднялся с земли и пошел за Ракитиным.

— Видел бы это брат Ванечка, так как бы изумился! Кстати, братец твой Иван Федорович сегодня утром в Москву укатил, знаешь ты это?

— Знаю, — безучастно произнес Алеша, и вдруг мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия, но только мелькнул, и хоть напомним что-то, какое-то дело спешное, которого уже нельзя более ни на минуту откладывать, какой-то долг, обязанность страшную, но и это воспоминание не произвело никакого на него впечатления, не достигло сердца его, в тот же миг вылетело из памяти и забылось. Но долго потом вспоминал об этом Алеша.

— Братец твой Ванечка изрек про меня единожды, что я «бездарный либеральный мешок». Ты же один разик тоже не утерпел и дал мне понять, что я «бесчестен»... Пусть! Посмотрю-ка я теперь на вашу даровитость и честность (окончил это Ракитин уже про себя, шепотом). Тьфу, слушай! — заговорил он снова громко, — минуем-ка монастырь, пойдем по тропинке прямо в город... Гм. Мне бы кстати надо к Хохлаковой зайти. Вообрази: я ей отписал о всем приключившемся, и представь, она мне мигом отвечает запиской, карандашом (ужасно любит записки писать эта дама), что «никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, — *такого поступка!*» Так ведь и написала: «поступка!» Тоже ведь озлилась; эх, вы все! Постой! — внезапно прокричал

он опять, вдруг остановился и, придерживав Алешу за плечо, остановил и его. — Знаешь, Алешка, — пытливо глядел он ему в глаза, весь под впечатлением внезапной новой мысли, вдруг его осиявшей, и хоть сам и смеялся наружно, но, видимо, боясь выговорить вслух эту новую внезапную мысль свою, до того он все еще не мог поверить чудному для него и никак не ожидаемому настроению, в котором видел теперь Алешу, — Алешка, знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли? — выговорил он наконец робко и искательно.

— Все равно... куда хочешь.

— Пойдем-ка к Грушеньке, а? Пойдешь? — весь даже дрожа от робкого ожидания, изрек наконец Ракин.

— Пойдем к Грушеньке, — спокойно и тотчас же ответил Алеша, и уж это было до того неожиданно для Ракина, то есть такое скорое и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад.

— Н-ну!.. вот! — прокричал было он в изумлении, но вдруг, крепко подхватив Алешу под руку, быстро повлек его по тропинке, все еще ужасно опасаясь, что в том исчезнет решимость. Шли молча, Ракин даже заговорить боялся.

— А рада-то как она будет, рада-то... — пробормотал было он, но опять примолк. Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу; был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двойная, во-первых, мстительная, то есть увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алеши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель, о которой будет сказано ниже.

«Значит, такая минутка вышла, — думал он про себя весело и злобно, — вот мы, стало быть, и изловим ее за шиворот, минутку-то эту, ибо она нам весьма подходящая».

### III

#### ЛУКОВКА

Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и очень неприглядный на вид; в нем проживала уединенно сама хозяйка, старая женщина, с двумя своими племянницами, тоже весьма пожилыми девицами. Отдавать внаем свой флигель на дворе она не нуж-

далась, но все знали, что пустила к себе жилищей Грушеньку (еще года четыре назад) единственно в угоду родственнику своему купцу Самсонову, Грушенькиному открытому покровителю. Говорили, что ревнивый старик, помещая к Морозовой свою «фаворитку», имел первоначально в виду зоркий глаз старухи, чтобы наблюдать за поведением новой жилицы. Но зоркий глаз весьма скоро оказался ненужным, и кончилось тем, что Морозова даже редко встречалась с Грушенькой и совсем уже не надоедала ей под конец никаким надзором. Правда, прошло уже четыре года с тех пор, как старик привез в этот дом из губернского города восемнадцатилетнюю девочку, робкую, застенчивую, тоненькую, худенькую, задумчивую и грустную, и с тех пор много утекло воды. Биографию этой девочки знали, впрочем, у нас в городе мало и сбивчиво; не узнали больше и в последнее время, и это даже тогда, когда уже очень многие стали интересоваться такою «раскрасавицей», в какую превратилась в четыре года Аграфена Александровна. Были только слухи, что семнадцатилетнюю еще девочкой была она кем-то обманута, каким-то будто бы офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер-де уехал и где-то потом женился, а Грушенька осталась в позоре и нищете. Говорили, впрочем, что хотя Грушенька и действительно была взята своим стариком из нищеты, но что семейства была честного и происходила как-то из духовного звания, была дочь какого-то заштатного диакона или что-то в этом роде. И вот в четыре года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица, женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами иль неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец. В одном только все были убеждены: что к Грушеньке доступ труден и что, кроме старика, ее покровителя, не было ни единого еще человека, во все четыре года, который бы мог похвалиться ее благосклонностью. Факт был твердый, потому что на приобретение этой благосклонности выскакивало немало охотников, особливо в последние два года. Но все попытки оказались втуне, а иные из искателей принуждены были отретироваться даже с комическою и зазорною развязкой благодаря твердому и насмешливому отпору со стороны характерной молодой особы. Знали еще, что молодая особа, особенно в последний год, пустилась в то, что называется «гешэфтом», и что с этой стороны она оказалась с чрезвычайными способностями, так что под конец многие прозвали ее сущюю жидовкой. Не то чтоб она давала деньги в рост, но известно было, например, что в компании с Федором Павловичем Карамазовым она

некоторое время действительно занималась скупкою векселей за бесценок, по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник. Большой Самсонов, в последний год лишившийся употребления своих распухших ног, вдовец, тиран своих взрослых сыновей, большой стотысячник, человек скаредный и неумолимый, подпал, однако же, под сильное влияние своей протезе, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, «на постном масле», как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипироваться, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. Этот старик, большой делец (теперь давно покойник), был тоже характера замечательного, главное, скуп и тверд, как камень, и хоть Грушенька поразила его, так что он и жить без нее не мог (в последние два года, например, это так и было), но капиталу большого, значительного, он все-таки ей не отделил, и даже если б она пригрозила ему совсем его бросить, то и тогда бы остался неумолим. Но отделил зато капитал малый, и когда узналось это, то и это стало всем на удивление. «Ты сама баба не промах, — сказал он ей, отделяя ей тысяч с восемь, — сама и орудуй, но знай, что, кроме ежегодного содержания по-прежнему, до самой смерти моей, больше ничего от меня не получишь, да и в завещании ничего больше тебе не отделию». Так и сдержал слово: умер и все оставил сыновьям, которых всю жизнь держал при себе наравне как слуг, с их женами и детьми, а о Грушеньке даже и не упомянул в завещании вовсе. Все это стало известно впоследствии. Советами же, как орудовать «своим собственным капиталом», он Грушеньке помогал немало и указывал ей «дела». Когда Федор Павлович Карамазов, связавшийся первоначально с Грушенькой по поводу одного случайного «гешефта», кончил совсем для себя неожиданно тем, что влюбился в нее без памяти и как бы даже ум потеряв, то старик Самсонов, уже дышавший в то время на ладан, сильно подсмеивался. Замечательно, что Грушенька была со своим стариком за все время их знакомства вполне и даже как бы сердечно откровенна, и это, кажется, с единственным человеком в мире. В самое последнее время, когда появился вдруг с своею любовью и Дмитрий Федорович, старик перестал смеяться. Напротив, однажды серьезно и строго посоветовал Грушеньке: «Если уж выбирать из обоих, отца аль сына, то выбирай старика, но с тем, однако же, чтобы старый подлец беспременно на тебе женился, а предварительно хоть некоторый капитал отписал. А с капитаном не якшайся, пути не будет». Вот были собственные слова Грушеньке старого сластолюбца, предчувствовавшего тогда уже близкую смерть свою и впрямь чрез пять месяцев после совета сего умершего. Замечу еще



мельком, что хотя у нас в городе даже многие знали тогда про нелепое и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом которого была Грушенька, но настоящего смысла ее отношений к обоим из них, к старику и к сыну, мало кто тогда понимал. Даже обе служанки Грушеньки (после уже разразившейся катастрофы, о которой еще речь впереди) показали потом на суде, что Дмитрия Федоровича принимала Аграфена Александровна из одного лишь страха, потому будто бы, что «убить грозился». Служанок у нее было две, одна очень старая кухарка, еще из родительского семейства ее, больная и почти оглохшая, и внучка ее, молоденькая, бойкая девушка лет двадцати, Грушенькина горничная. Жила же Грушенька очень скупой и в обстановке совсем небогатой. Было у ней во флигеле всего три комнаты, меблированные от хозяйки древнюю, красного дерева мебелью, фасона двадцатых годов. Когда вошли к ней Ракитин и Алеша, были уже полные сумерки, но комнаты еще не были освещены. Сама Грушенька лежала у себя в гостиной, на своем большом, неуклюжем диване со спинкой под красное дерево, жестком и обитом кожей, давно уже истершеюся и продырявившеюся. Под головой у ней были две белые пуховые подушки с ее постели. Она лежала навзничь, неподвижно протянувшись, заложив обе руки за голову. Была она приодета, будто ждала кого, в шелковом черном платье и в легкой кружевной на голове наколке, которая очень к ней шла; на плечи была наброшена кружевная косынка, приколотая массивною золотою брошкой. Именно она кого-то ждала, лежала как бы в тоске и в нетерпении, с несколько побледневшим лицом, с горячими губами и глазами, кончиком правой ноги нетерпеливо постукивая по ручке дивана. Чуть только появились Ракитин и Алеша, как произошел было маленький переполох: слышно было из передней, как Грушенька быстро вскочила с дивана и вдруг испуганно прокричала: «Кто там?» Но гостей встретила девушка и тотчас же откликнулась барыне:

— Да не оне-с, это другие, эти ничего.

«Что бы у ней такое?» — пробормотал Ракитин, вводя Алешу за руку в гостиную. Грушенька стояла у дивана, как бы все еще в испуге. Густая прядь темно-русой косы ее выбилась вдруг из-под наколки и упала на ее правое плечо, но она не заметила и не поправила, пока не взгляделась в гостей и не узнала их.

— Ах, это ты, Ракитка? Испугал было меня всю. С кем ты это? Кто это с тобой? Господи, вот кого привел! — воскликнула она, разглядев Алешу.

— Да вели подать свечей-то! — проговорил Ракитин с развязным видом самого короткого знакомого и близкого человека, имеющего даже право распоряжаться в доме.

— Свечей... конечно, свечей... Феня, принеси ему свечку... Ну, нашел время его привести! — воскликнула она опять, кивнув на Алешу, и, оборотясь к зеркалу, быстро начала обеими руками вправлять свою косу. Она как будто была недовольна.

— Аль не потрафил? — спросил Ракитин, мигом почти обидевшись.

— Испугал ты меня, Ракитка, вот что, — обернулась Грушенька с улыбкой к Алеше. — Не бойся ты меня, голубчик Алеша, страх как я тебе рада, гость ты мой неожиданный. А ты меня, Ракитка, испугал: я ведь думала, Митя ломится. Видишь, я его давеча надула и с него честное слово взяла, чтобы мне верил, а я налгала. Сказала ему, что к Кузьме Кузьмичу, к старику моему, на весь вечер уйду и буду с ним до ночи деньги считать. Я ведь каждую неделю к нему ухожу на весь вечер счета сводить. На замок запремся: он на счетах постукивает, а я сижу — в книги вписываю — одной мне доверяет. Митя-то и поверил, что я там, а я вот дома заперлась — сижу, одной вести жду. Как это вас Феня впустила! Феня, Феня! Беги к воротам, отвори и огляди кругом, нет ли где капитана-то? Может, спрятался и высматривает, смерть боюсь!

— Никого нет, Аграфена Александровна, сейчас кругом оглянута, я и в шелку подхожу гляжу поминутно, сама в страхе-трепете.

— Ставни заперты ли, Феня, да занавес бы опустить — вот так! — Она сама опустила тяжелые занавесы. — А то на огонь-то он как раз налетит. Мити, братца твоего, Алеша, сегодня боюсь. — Грушенька говорила громко, хотя и в тревоге, но и как будто в каком-то почти восторге.

— Почему так сегодня Митеньки боишься? — осведомился Ракитин, — кажется, с ним не пуглива, по твоей дудке пляшет.

— Говорю тебе, вести жду, золотой одной такой весточки, так что Митеньки-то и не надо бы теперь вовсе. Да и не поверил он мне, это чувствую, что я к Кузьме Кузьмичу пошла. Должно быть, сидит теперь там у себя, у Федора Павловича на задах в саду, меня сторожит. А коли там засел, значит, сюда не придет, тем и лучше! А ведь к Кузьме Кузьмичу я и впрямь сбегала, Митя же меня и проводил, сказала, до полночи просижу и чтоб он же меня беспременно пришел в полночь домой проводить. Он ушел, а я минут десять у старика посидела, да и опять сюда, ух боялась — бежала, чтоб его не повстречать.

— А разрядилась-то куда? Ишь ведь какой чепец на тебе любопытный.

— И уж какой же ты сам любопытный, Ракитин! Говорю тебе, такой одной весточки жду. Придет весточка, вскочу — полечу, только вы меня здесь и видели. Для того и разрядилась, чтоб готовой сидеть.

— А куда полетишь?

— Много знать будешь, скоро состаришься.

— Ишь ведь. Вся в радости... Никогда еще я тебя не видел такую. Разоделась как на бал, — оглядывал ее Ракитин.

— Много ты в балах-то понимаешь.

— А ты много?

— Я-то видала бал. Третьего года Кузьма Кузьмич сына женил, так я с хор смотрела. Что ж мне, Ракитка, с тобой, что ли, разговаривать, когда тут такой князь стоит. Вот так гость! Алеша, голубчик, гляжу я на тебя и не верю; господи, как это ты у меня появился! По правде тебе сказать, не ждала, не гадала, да и прежде никогда тому не верила, чтобы ты мог прийти. Хоть и не та минутка теперь, а страх я тебе рада! Садись на диван, вот сюда, вот так, месяц ты мой молодой. Право, я еще как будто и не соображусь... Эх ты, Ракитка, если бы ты его вчера али третьего дня привел!.. Ну да рада и так. Может, и лучше, что теперь, под такую минуту, а не третьего дня...

Она резко под села к Алеше на диван, с ним рядом, и глядела на него решительно с восхищением. И действительно была рада, не лгала, говоря это. Глаза ее горели, губы смеялись, но добродушно, весело смеялись. Алеша даже и не ожидал от нее такого доброго выражения в лице... Он встречал ее до вчерашнего дня мало, составил об ней устрашающее понятие, а вчера так страшно был потрясен ее злобною и коварною выходкой против Катерины Ивановны и был очень удивлен, что теперь вдруг увидал в ней совсем как бы иное и неожиданное существо. И как ни был он придавлен своим собственным горем, но глаза его невольно остановились на ней со вниманием. Все манеры ее как бы изменились тоже со вчерашнего дня совсем к лучшему: не было этой вчерашней слащавости в выговоре почти вовсе, этих изнеженных и манерных движений... все было просто, простодушно, движения ее были скорые, прямые, доверчивые, но была она очень возбуждена.

— Господи, экие всё вещи сегодня сбываются, право, — залепетала она опять. — И чего я тебе так рада, Алеша, сама не знаю. Вот спроси, а я не знаю.

— Ну уж и не знаешь, чему рада? — усмехнулся Ракитин. — Прежде-то зачем-нибудь приставала же ко мне: приведи да приведи его, имела же цель.

— Прежде-то я другую цель имела, а теперь то прошло, не такая минута. Потчевать я вас стану, вот что. Я теперь подобрела, Ракитка. Да садись и ты, Ракитка, чего стоишь? Аль ты уж сел? Небось Ракитушка себя не забудет. Вот он теперь, Алеша, сидит там против нас, да и обижается: зачем это я его прежде тебя не

пригласила садиться. Ух, обидчив у меня Ракитка, обидчив! — засмеялась Грушенька. — Не злись, Ракитка, ныне я добрая. Да чего ты грустен сидишь, Алешечка, аль меня боишься? — с веселюю насмешкой заглянула она ему в глаза.

— У него горе. Чину не дали, — пробасил Ракитин.

— Какого чину?

— Старец его пропах.

— Как пропах? Вздор ты какой-нибудь мелешь, скверность какую-нибудь хочешь сказать. Молчи, дурак. Пустишь меня, Алеша, на колени к себе посидеть, вот так! — И вдруг она мигом привскочила и прыгнула, смеясь, ему на колени, как ласкающаяся кошечка, нежно правою рукой охватив ему шею. — Развеселю я тебя, мальчик ты мой богомольный! Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленках у тебя посидеть, не осердишься? Прикажешь — я соскочу.

Алеша молчал. Он сидел, боясь шевельнуться, он слышал ее слова: «Прикажешь — я соскочу», но не ответил, как будто замер. Но не то в нем было, чего мог бы ждать и что мог бы вообразить в нем теперь, например, хоть Ракитин, плотоядно наблюдавший со своего места. Великое горе души его поглощало все ощущения, какие только могли зародиться в сердце его, и если только мог бы он в сию минуту дать себе полный отчет, то и сам бы догадался, что он теперь в крепчайшей броне против всякого соблазна и искушения. Тем не менее, несмотря на всю смутную безотчетность его душевного состояния и на все угнетавшее его горе, он все же дивился невольно одному новому и странному ощущению, рождавшемуся в его сердце: эта женщина, эта «страшная» женщина не только не пугала его теперь прежним страхом, страхом, зарождавшимся в нем прежде при всякой мечте о женщине, если мелькала таковая в его душе, но, напротив, эта женщина, которую он боялся более всех, сидевшая у него на коленях и его обнимавшая, возбуждала в нем вдруг теперь совсем иное, неожиданное и особенное чувство, чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства, и все это уже безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса, — вот что было главное и что невольно удивляло его.

— Да полно вздор-то вам болтать, — закричал Ракитин, — а лучше шампанского подавай, долг на тебе, сама знаешь!

— Вправду долг. Ведь я, Алеша, ему за тебя шампанского сверх всего обещала, коль тебя приведет. Катай шампанского, и я стану пить! Феня, Феня, неси нам шампанского, ту бутылку, которую Митя оставил, беги скорее. Я хоть и скупая, а бутылку подам, не тебе, Ракитка, ты гриб, а он князь! И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть, выпью и я с вами, дебоширить хочется!

— Да что это у тебя за минута и какая такая там «весть», можно спросить, аль секрет? — с любопытством ввернул опять Ракитин, изо всей силы делая вид, что и внимания не обращает на щелчки, которые в него летели беспрерывно.

— Эх, не секрет, да и сам ты знаешь, — озабоченно проговорила вдруг Грушенька, повернув голову к Ракитину и отклонясь немного от Алеши, хотя все еще продолжая сидеть у него на коленях, рукой обняв его шею, — офицер едет, Ракитин, офицер мой едет!

— Слышал я, что едет, да разве уж так близко?

— В Мокром теперь, оттуда сюда эстафет пришлет, так сам написал, давеча письмо получила. Сижу и жду эстафета.

— Вона! Почему в Мокром?

— Долго рассказывать, да и довольно с тебя.

— То-то Митенька-то теперь, — уй, уй! Он-то знает аль не знает?

— Чего знает! Совсем не знает! Кабы узнал, так убил бы. Да я этого теперь совсем не боюсь, не боюсь я теперь его ножа. Молчи, Ракитка, не поминай мне о Дмитрие Федоровиче: сердце он мне все разможил. Да не хочу я ни о чем об этом в эту минуту и думать. Вот об Алешечке могу думать, я на Алешечку гляжу... Да усмехнись ты на меня, голубчик, развеселись, на глупость-то мою, на радость-то мою усмехнись... А ведь улыбнулся, улыбнулся! Ишь ласково как смотрит. Я, знаешь, Алеша, все думала, что ты на меня сердисься за третьеводнишнее, за барышню-то. Собака я была, вот что... Только все-таки хорошо оно, что так произошло. И дурно оно было, и хорошо оно было, — вдумчиво усмехнулась вдруг Грушенька, и какая-то жестокая черточка мелькнула вдруг в ее усмешке. — Митя сказывал, что кричала: «Плетьми ее надо!» Разобидела я тогда ее уж очень. Зазвала меня, победить хотела, шоколатом своим обольстить... Нет, оно хорошо, что так произошло, — усмехнулась она опять. — Да вот боюсь все, что ты осердился...

— А ведь и впрямь, — с серьезным удивлением ввернул вдруг Ракитин. — Ведь она тебя, Алеша, в самом деле боится, цыпленка этакого.

— Это для тебя, Ракитка, он цыпленок, вот что... потому что у тебя совести нет, вот что! Я, видишь, я люблю его душой, вот что! Веришь, Алеша, что я люблю тебя всею душой?

— Ах ты, бесстыдница! Это она в любви тебе, Алексей, объясняется!

— А что ж, и люблю.

— А офицер? А весточка золотая из Мокрого?

— То одно, а это другое.

— Вот как по-бабьему выходит!

— Не зли меня, Ракитка, — горячо подхватила Грушенька, — то одно, а это другое. Я Алешу по-иному люблю. Правда, Алеша, была у меня на тебя мысль хитрая прежде. Да ведь я низкая, я ведь неистовая, ну а в другую минуту я, бывало, Алеша, на тебя как на совесть мою смотрю. Все думаю: «Ведь уж как такой меня, скверную, презирать теперь должен». И третьего дня это думала, как от барышни сюда бежала. Давно я тебя заметила так, Алеша, и Митя знает, ему говорила. Вот Митя так понимает. Верить ли, иной раз, право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь, всё себя стыжусь... И как это я об тебе думать стала и с которых пор, не знаю и не помню...

Вошла Феня и поставила на стол поднос, на нем откупоренную бутылку и три налитые бокала.

— Шампанское принесли! — прокричал Ракитин, — возбуждена ты, Аграфена Александровна, и вне себя. Бокал выпьешь, танцевать пойдешь. Э-эх; и того не сумели сделать, — прибавил он, разглядывая шампанское. — В кухне старуха разлила, и бутылку без пробки принесли, и теплое. Ну давай хоть так...

Он подошел к столу, взял бокал, выпил залпом и налил себе другой.

— На шампанское-то нечасто нарвешься, — проговорил он, облизываясь, — ну-тка, Алеша, бери бокал, покажи себя. За что же нам пить? За райские двери? Бери, Груша, бокал, пей и ты за райские двери.

— За какие это райские двери?

Она взяла бокал. Алеша взял свой, отпил глоток и поставил бокал назад.

— Нет, уж лучше не надо! — улыбнулся он тихо.

— А хвалился! — крикнул Ракитин.

— Ну и я, коли так, не буду, — подхватила Грушенька, — да и не хочется. Пей, Ракитка, один всю бутылку. Выпьет Алеша, и я тогда выпью.

— Телячьи нежности пошли! — поддразнил Ракитин. — А сама на коленках у него сидит! У него, положим, горе, а у тебя что? Он против Бога своего взбунтовался, колбасу собирался жрать...

— Что так?

— Старец его помер сегодня, старец Зосима, святой.

— Так умер старец Зосима! — воскликнула Грушенька. — Господи, а я того и не знала! — Она набожно перекрестилась. — Господи, да что же я, а я-то у него на коленках теперь сижу! — вскинулась она вдруг как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось.

— Ракитин, — проговорил он вдруг громко и твердо, — не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда на нее: видел, как она меня пошадилла? Я шел сюда злую душу найти — так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище — душу любящую... Она сейчас пошадилла меня... Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила.

У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился.

— Будто уж так и спасла тебя! — засмеялся Ракитин злобно. — А она тебя проглотить хотела, знаешь ты это?

— Стой, Ракитка! — вскочила вдруг Грушенька, — молчите вы оба. Теперь я все скажу: ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая, — вот я какая. А ты, Ракитка, молчи потому, что ты лжешь. Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить, а теперь ты лжешь, теперь вовсе не то... и чтоб я тебя больше совсем не слыхала, Ракитка! — Все это Грушенька проговорила с необыкновенным волнением.

— Ишь ведь оба бесятся! — прошипел Ракитин, с удивлением рассматривая их обоих, — как помешанные, точно я в сумасшедший дом попал. Расслабели обоюдно, плакать сейчас начнут!

— И начну плакать, и начну плакать! — приговаривала Грушенька, — он меня сестрой своей назвал, и я никогда того впредь не забуду! Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала.

— Каку таку луковку? Фу, черт, да и впрямь помешались!

Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать все, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих — отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму.

— Видишь, Алешечка, — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, — это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похваюсь, я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня, я ее, еще дитей была, от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла.

И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: “Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша”. Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел». Вот она эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: *всего-то* я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша, не почитай меня доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь хвалить, в стыд введешь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алеша: я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди! — Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку.

— Экой вздор! Экой вздор! — восклицал озадаченный Раки-тин.

— Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. — И швырнула ему кредитку.

— Еще б отказать, — пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодецвато прикрывая стыд, — это нам вельми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку.

— А теперь молчи, Ракитка, теперь всё, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи, не любишь ты нас, и молчи.

— Да за что мне любить-то вас? — не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее



шелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился: — Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?

— А ты ни за что люби, вот как Алеша любит.

— А чем он тебя любит и что он тебе такого показал, что ты носишься?

Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее послышались истерические нотки:

— Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь *ты* говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи, как мой лакей. А теперь, Алеша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтобы ты видел, какая я тварь! Не Ракитке, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алеша, правда это великая, совсем положила; до того хотела, что Ракитку деньгами подкупила, чтобы тебя привел. И из чего такого я так захотела? Ты, Алеша, и не знал ничего, от меня отворачивался, пройдешь — глаза опустишь, а я на тебя сто раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось: «Презирает он меня, думаю, посмотреть даже на меня не захочет». И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь: чего я такого мальчика боюсь? Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Веришь ли тому: никто-то здесь не смеет сказать и подумать, чтоб к Аграфене Александровне за худым этим делом прийти; старик один только тут у меня, связана я ему и продана, сатана нас венчал, зато из других — никто. Но, на тебя глядя, положила: его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты сестрой своею назвал! Вот теперь приехал этот обидчик мой, сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? Пять лет тому как завез меня сюда Кузьма — так я сижу, бывало, от людей хоронюсь, чтоб меня не видали и не слыхали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю — думаю: «И уж где ж он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной, и уж я ж его, думаю, только бы увидеть его, встретить когда: то уж я ж ему отплачу, уж я ж ему отплачу!» Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумаю, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю: «Уж я ж ему, уж я ж ему отплачу!» Так, бывало, и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мной смеется теперь, а может, и совсем забыл и не помнит, так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильною слезой и трясусь-трясусь до рассвета. Поутру встану злее собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь: стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела — по-

умнела, ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: «Уж я ж ему, да уж я ж ему» — думаю! Слышал ты это всё? Ну так как же ты теперь понимаешь меня: месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо: едет он, овдовел, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, господи, да вдруг и подумала: а придет да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?» И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем пять лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная, всю тебе правду выразила! Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, Ракитка, не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала, думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алеша, скажи своей барышне, чтоб она за третьеводнишнее не сердилась!.. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать... Потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму, я еще того не решила...

И, вымолвив это «жалкое» слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала как малое дитя. Алеша встал с места и подошел к Ракитину.

— Миша, — проговорил он, — не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать, надо быть милосерднее...

Алеша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один. Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алеша вдруг остановился.

— Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, Божий человечек, — с ненавистною улыбкой проговорил Ракитин.

— Не смейся, Ракитин, не усмехайся, не говори про покойника: он выше всех, кто был на земле! — с плачем в голосе прокричал Алеша. — Я не как судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых. Кто я пред нею? Я шел сюда, чтобы погибнуть, и говорил: «Пусть, пусть!» — и это из-за моего малодушия, а она, через пять лет муки, только что кто-то первый пришел и ей искреннее слово сказал, — все простила, все забыла и плачет! Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает

ему, и спешит к нему в радости, и не возьмет ножа, не возьмет! Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков! Я сегодня, сейчас этот урок получил... Она выше любовью, чем мы... Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал; если бы слышал, то давно бы все понял... и другая, обиженная третьего дня, и та пусть простит ее! И простит, коль узнает... и узнает... Эта душа еще не примиренная, надо щадить ее... в душе этой, может быть, соковище...

Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, не смотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады.

— Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился, победила! — прокричал он с наглым смехом.

Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленною улыбкой, засиявшею на ее как-то вдруг распушем от сейчасных слез лице.

— Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой, видишь он какой, нашел кому говорить. Я, Михаил Осипович, — обратилась она к Ракитину, — хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя, да теперь опять не хочу. Алеша, поди ко мне, сядь сюда, — манила она его с радостною улыбкой, — вот так, вот садись сюда, скажи ты мне (она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь, в лицо), — скажи ты мне: люблю я того или нет? Обидчика-то моего, люблю или нет? Лежала я до вас здесь в темноте, все допрашивала сердце: люблю я того или нет? Разреши ты меня, Алеша, время пришло, что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?

— Да ведь уж простила, — улыбаясь, проговорил Алеша.

— А и впрямь простила, — вдумчиво произнесла Грушенька. — Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! — схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке. — А ведь, может, еще и не простила, — как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. — Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила... Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе!

— Ну не хотел бы я быть в его коже! — прошипел Ракитин.

— И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка, вот я тебя на какое дело употреб-

лю, а такой, как я, тебе никогда не видать... Да и ему, может, не увидать...

— Ему-то? А нарядилась-то зачем? — ехидно поддразнил Ракитин.

— Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего сердца! Захочу и сорву наряд, сейчас сорву, сию минуту, — звонко прокричала она. — Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка! Может, выйду к нему и скажу: «Видал ты меня такую аль нет еще? Ведь он меня семнадцатилетнюю, тоненькую, чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да оболещу, да разожду его: «Видал ты, какова я теперь, скажу, ну так и оставайся при том, милостивый государь, по усам текло, а в рот не попало!» — вот ведь к чему, может, этот наряд, Ракитка, — закончила Грушенька со злобным смешком. — Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу и не пойду я теперь никуда и ни к кому, захочу — завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей поденной пойду!.. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка, не посмею сделать? Сделаю, сделаю, сейчас могу сделать, не раздражайте только меня... а того прогоню, тому шиш покажу, тому меня не видать!

Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала опять, закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места.

— Пора, — сказал он, — поздно, в монастырь не пропустят.

Грушенька так и вскочила с места.

— Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь! — воскликнула она в горестном изумлении. — Да что ж ты надо мной теперь делаешь: всю воззвал, истерзал, и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться!

— Не ночевать же ему у тебя? А коли хочет — пусть! Я и один уйду! — язвительно подшутил Ракитин.

— Молчи, злая душа, — яростно крикнула ему Грушенька, — никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать.

— Что он такое тебе сказал? — раздражительно проворчал Ракитин.

— Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалося, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, — упала вдруг она пред ним на колени как бы в исступлении. — Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то та-

кой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!..

— Что я тебе такого сделал? — умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки, — луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..

И, проговорив, сам заплакал. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю; Грушенька вскочила как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня.

— Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал! — восклицала она весело и запыхавшись. — Тарантас из Мокрого за вами. Тимофей-ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат... Письмо, письмо, барыня, вот письмо!

Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк, в один миг она прочла ее.

— Кликнул! — прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом, — свистнул! Ползи, собачонка!

Но только миг один простояла как бы в нерешимости; вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.

— Еду! — воскликнула она вдруг. — Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба... Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!.. Полетела Грушенька в новую жизнь... Не поминай меня лихом и ты; Ракитка. Может, на смерть иду! Ух! Словно пьяная!

Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню.

— Ну, ей теперь не до нас! — проворчал Ракитин. — Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет, надоели уж мне эти слезные крики...

Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алеше:

— Алешечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня, злодейку свою, лихом. Да передай ему тоже моими словами: «Подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному!» Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени, только один часок всего и любила, — так чтоб он этот часок всю жизнь свою отселева помнил, так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!..

Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.

— Гм, гм! — промычал Ракитин, смеясь, — зарезала братца Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие!

Алеша ничего не ответил, точно и не слышал; он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша; он был как бы в забытьи, шел машинально. Ракитина вдруг чего-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей; совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось.

— Поляк он, ее офицер этот, — заговорил он опять, сдерживаясь, — да и не офицер он вовсе теперь, он в таможене чиновником в Сибири служил где-то там на китайской границе, должно быть, какой полячонок мозглявенький. Место, говорят, потерял. Прослышал теперь, что у Грушеньки капитал завелся, вот и вернулся — в том и все чудеса.

Алеша опять точно не слышал. Ракитин не выдержал:

— Что ж, обратил грешницу? — злобно засмеялся он Алеше. — Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!

— Перестань, Ракитин, — со страданием в душе отозвался Алеша.

— Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних «презираешь»? Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда.

— Ах, Ракитин, уверяю тебя, я и забыл об этом, — воскликнул Алеша, — сам ты сейчас напомнил...

Но Ракитин озлился уже окончательно.

— Да черт вас дерит всех и каждого! — завопил он вдруг, — и зачем я, черт, с тобою связался! Знать я тебя не хочу больше отселева. Пошел один, вон твоя дорога!

И он круто повернул в другую улицу, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю.

#### IV

#### КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ

Было уже очень поздно по-монастырскому, когда Алеша пришел в скит; его пропустил привратник особым путем. Пробыло уже девять часов — час общего отдыха и покоя после столь тревожного для всех дня. Алеша робко отворил дверь и вступил в келью старца, в которой теперь стоял гроб его. Кроме отца Паисия, уединенно читавшего над гробом Евангелие, и юноши послушника

Порфирия, утомленного вчерашнею ночью беседой и сегодняшней суетой и спавшего в другой комнате на полу своим крепким молодым сном, в келье никого не было. Отец Паисий, хоть и слышал, что вошел Алеша, но даже и не посмотрел в его сторону. Алеша повернул вправо от двери в угол, стал на колени и начал молиться. Душа его была переполнена, но как-то смутно, и ни одно ощущение не выделялось, слишком сказываясь, напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном коловращении. Но сердцу было сладко, и, странно, Алеша не удивлялся тому. Опять видел он пред собою этот гроб, этого закрытого кругом драгоценного ему мертвеца, но плачущей, ноющей, мучительной жалости не было в душе его, как давеча утром. Пред гробом, сейчас войдя, он пал, как пред святыней, но радость, радость сияла в уме его и в сердце его. Одно окно кельи было отперто, воздух стоял свежий и холодноватый — «значит, дух стал еще сильнее, коли решились отворить окно», — подумал Алеша. Но и эта мысль о тлетворном духе, казавшаяся ему еще только давеча столь ужасною и бесславною, не подняла теперь в нем давешней тоски и давешнего негодования. Он тихо начал молиться, но вскоре сам почувствовал, что молится почти машинально. Обрывки мыслей мелькали в душе его, загорались, как звездочки, и тут же гасли, сменяясь другими, но зато царило в душе что-то целое, твердое, утешающее, и он сознавал это сам. Иногда он пламенно начинал молитву, ему так хотелось благодарить и любить... Но, начав молитву, переходил вдруг на что-нибудь другое, задумывался, забывал и молитву и то, чем прервал ее. Стал было слушать, что читал отец Паисий, но, утомленный очень, мало-помалу начал дремать...

*«И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, — читал отец Паисий, — и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы его на брак».*

«Брак? Что это... брак... — неслось, как вихрь, в уме Алеши, — у ней тоже счастье... поехала на пир... Нет, она не взяла ножа, не взяла ножа... Это было только “жалкое” слово... Ну... жалкие слова надо прощать, непременно. Жалкие слова тешат душу... без них горе было бы слишком гяжело у людей. Ракитин ушел в переулоч. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулоч... А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее... А?.. что читают?»

*«...И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к нему: вина не имут...»* — слышалось Алеше.

«Ах да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю: это Кана Галилейская, первое чудо... Ах, это чудо, ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый

раз сотворяя чудо, радости людской помог... “Кто любит людей, тот и радость их любит...” Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была... Без радости жить нельзя, говорит Митя... Да, Митя... Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения, — это опять-таки он говорил...»

*«...Глагола ей Иисус: что есть Мне и тебе жено; не у прииде час Мой. Глагола Мати Его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите».*

«Сотворите... Радость, радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей... Уж конечно, бедных, коли даже на свадьбу вина не достало... Вон пишут историки, что около озера Генисаретского и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить... И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери Его, что не для одного лишь великого страшного подвига Своего сошел Он тогда, а что доступно сердцу Его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак их. “Не пришел еще час Мой”, — Он говорит с тихой улыбкой (непреренно улыбнулся ей кротко)... В самом деле, неужто для того, чтоб умножать вино на бедных свадьбах, сошел Он на землю? А вот пошел же и сделал же по ее просьбе... Ах, он опять читает».

*«...Глагола им Иисус: наполните водоносы воды, и наполниша их до верха.*

*И глагола им: почерпите ныне и принесите архитриклинови, и принесоша.*

*Якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведяше, откуда есть: слуги же ведяху почерпишии воду: пригласи жениха архитриклин.*

*И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда худшее: ты же соблюл есе доброе вино доселе».*

«Но что это, что это? Почему раздвигается комната... Ах да... ведь это брак, свадьба... да, конечно. Вот и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа и... где же премудрый архитриклин? Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната... Кто встает там из-за большого стола? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе... Но он и здесь... встал, увидал меня, идет сюда... Господи!..

Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской...



— Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, — раздается над ним тихий голос. — Зачем сюда схоронился, что не видать тебя... пойдём и ты к нам.

Голос его, голос старца Зосимы... Да и как же не он, коль зовет? Старец приподнял Алешу рукой, тот поднялся с колен.

— Веселимся, — продолжает сухенький старичок, — пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!.. А видишь ли солнце наше, видишь ли ты Его?

— Боюсь... не смею глядеть... — прошептал Алеша.

— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых непрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут...»

Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его... Он простер руки, вскрикнул и проснулся...

Опять гроб, отворенное окно и тихое, важное, отдельное чтение Евангелия. Но Алеша уже не слушал, что читают. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах и вдруг, точно сорвавшись с места, тремя твердыми скорыми шагами подошел вплоть к гробу. Даже задел плечом отца Паисия и не заметил того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от книги, но тотчас же отвел их опять, поняв, что с юношей что-то случилось странное. Алеша глядел с полминуты на гроб, на закрытого, недвижимого, протянутого в гробу мертвеца, с иконой на груди и с куколом с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас только он слышал голос его, и голос этот еще раздавался в его ушах. Он еще прислушивался, он ждал еще звуков... но вдруг, круто повернувшись, вышел из кельи.

Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра.

Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоя и люби сии слезы твои...» — прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился иступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», — прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердою верой в слова свои...

Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему «пребывать в миру».



## Книга осьмая МИТЯ

### I

#### КУЗЬМА САМСОНОВ

А Дмитрий Федорович, которому Грушенька, улетая в новую жизнь, «велела» передать свой последний привет и заказала помянуть навеки часок ее любви, был в эту минуту, ничего не ведая о происшедшем с нею, тоже в страшном смятении и хлопотах. В последние два дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу, как сам потом говорил. Алеша накануне не мог разыскать его утром, а брат Иван в тот же день не мог устроить с ним свидания в трактире. Хозяева квартирки, в которой он квартировал, скрыли по его приказу следы его. Он же в эти два дня буквально метался во все стороны, «борясь со своею судьбой и спасая себя», как он сам потом выразился, и даже на несколько часов слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря на то что страшно было ему уезжать, оставляя Грушеньку хоть на минутку без глаза над нею. Все это впоследствии выяснилось в самом подробном и документальном виде, но теперь мы наметим фактически лишь самое необходимое из истории этих ужасных двух дней в его жизни, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его.

Грушенька хоть и любила его часочек истинно и искренно, это правда, но и мучила же его в то же время иной раз действительно жестоко и беспощадно. Главное в том, что ничего-то он не мог разгадать из ее намерений; выманить же лаской или силой не было тоже возможности: не далась бы ни за что, а только бы рассердилась и отвернулась от него вовсе, это он ясно тогда понимал. Он подозревал тогда весьма верно, что она и сама находится в какой-то борьбе, в какой-то необычайной нерешительности, на что-то решается и все решиться не может, а потому и не без основания предполагал, замирая сердцем, что минутами она должна была

просто ненавидеть его с его страстью. Так, может быть, и было, но об чем именно тосковала Грушенька, того он все-таки не понимал. Собственно для него весь вопрос, его мучивший, складывался лишь в два определения: «Или он, Митя, или Федор Павлович». Тут, кстати, нужно обозначить один твердый факт: он вполне был уверен, что Федор Павлович непременно предложит (если уж не предложил) Грушеньке законный брак, и не верил ни минуты, что старый сластолюбец надеется отделаться лишь тремя тысячами. Это вывел Митя, зная Грушеньку и ее характер. Вот почему ему и могло казаться временами, что вся мука Грушеньки и вся нерешимость происходит тоже лишь от того, что она не знает, кого из них выбрать и кто из них будет ей выгоднее. О близком же возвращении «офицера», то есть того рокового человека в жизни Грушеньки, прибытия которого она ждала с таким волнением и страхом, он, странно это, в те дни даже и не думал думать. Правда, что Грушенька с ним об этом в самые последние дни очень молчала. Однако ему было вполне известно от нее же самой о письме, полученном тою месяц назад от этого бывшего ее обольстителя, было известно отчасти и содержание письма. Тогда, в одну злую минутку, Грушенька ему это письмо показала, но, к ее удивлению, письму этому он не придал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить почему: может быть, просто потому, что сам, угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере, в то время. Жениху же, вдруг выскочившему откуда-то после пятилетнего исчезновения, он просто даже не верил, и особенно тому, что тот скоро приедет. Да и в самом в этом первом письме «офицера», которое показали Митеньке, говорилось о приезде этого нового соперника весьма неопределенно: письмо было очень туманное, очень высокопарное и наполнено лишь чувствительностью. Надо заметить, что Грушенька в тот раз скрыла от него последние строчки письма, в которых говорилось несколько определеннее о возвращении. К тому же Митенька вспоминал потом, что в ту минуту уловил как бы некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию из Сибири в лице самой Грушеньки. Затем Грушенька о всех дальнейших сношениях с этим новым соперником Митеньке уже ничего не сообщала. Таким образом и мало-помалу он совсем даже забыл об офицере. Он думал только о том, что что бы там ни вышло и как бы дело ни обернулось, а надвигающаяся окончательная ошибка его с Федором Павловичем слишком близка и должна разрешиться раньше всего другого. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушеньки и все верил, что оно произойдет как бы

внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», — и все кончится: он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О, тотчас же увезет как можно, как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России, женится там на ней и поселится с ней *incognito*, так чтоб уж никто не знал об них вовсе, ни здесь, ни там и нигде. Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновленной и уже «добродетельной» жизни («непременно, непременно добродетельной») он мечтал поминутно и иступленно. Он жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своею волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и — все возродится, пойдет по-новому! Вот во что он верил и по чем томился.

Но это было лишь в случае первого, *счастливого* решения вопроса. Было и другое решение, представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: «Ступай, я порешила сейчас с Федором Павловичем и выхожу за него замуж, а тебя не надо» — и тогда... но тогда... Митя, впрочем, не знал, что будет тогда, до самого последнего часу не знал, в этом надо его оправдать. Намерений определенных у него не было, преступление обдуманно не было. Он только следил, шпионил и мучился, но готовился все-таки лишь к первому, счастливому исходу судьбы своей. Даже отгонял всякую другую мысль. Но здесь уже начиналась совсем другая мука, вставало одно совсем новое и постороннее, но тоже роковое и неразрешимое обстоятельство.

Именно, в случае, если она скажет ему: «Я твоя, увези меня», то как он ее увезет? Где у него на то средства, деньги? У него как раз к этому сроку иссякли все до сих пор не прерывавшиеся в продолжение стольких лет его доходы от подачек Федора Павловича. Конечно, у Грушеньки были деньги, но в Мите на этот счет вдруг оказалась страшная гордость: он хотел увезти ее сам и начать с ней новую жизнь на свои средства, а не на ее; он вообразить даже не мог, что возьмет у нее ее деньги, и страдал от этой мысли до мучительного отвращения. Не распространяюсь здесь об этом факте, не анализирую его, а лишь отмечаю: таков был склад души его в ту минуту. Могло все это происходить косвенно и как бы бессознательно даже от тайных мук его совести за воровски присвоенные им деньги Катерины Ивановны. «Пред одной подлец и пред другой тотчас же выйду опять подлец, — думал он тогда, как сам потом признавался, — да Грушенька коли узнает, так и сама не захочет такого подлеца». Итак, где же взять средства, где взять эти

роковые деньги? Иначе все пропадет и ничего не состоится, «и единственно потому, что не хватило денег, о позор!».

Забегая вперед: то-то и есть, что он, может быть, и знал, где достать эти деньги, знал, может быть, где и лежат они. Подробнее на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится; но вот в чем состояла главная для него беда, и хотя неясно, но я это выскажу; чтобы взять эти лежащие где-то средства, чтобы *иметь право* взять их, надо было предварительно возвратить три тысячи Катерине Ивановне — иначе «я карманный вор, я подлец, а новую жизнь я не хочу начинать подлецом», решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если надо, но непременно эти три тысячи отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и *прежде всего*. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей, два дня тому назад вечером, на дороге, после того как Грушенька оскорбила Катерину Ивановну, а Митя, выслушав рассказ о том от Алеши, сознался, что он подлец, и велел передать это Катерине Ивановне, «если это может сколько-нибудь ее облегчить». Тогда же, в ту ночь, расставшись с братом, почувствовал он в исступлении своем, что лучше даже «убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кате возвратить». «Пусть уж лучше я пред тем, убитым и ограбленным, убийцей и воров выйду и пред всеми людьми, и в Сибирь пойду, чем если Катя вправе будет сказать, что я ей изменил, и у нее же деньги украл, и на ее же деньги с Грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать! Этого не могу!» Так со скрежетом зубов изрек Митя и действительно мог представлять себе временами, что кончит воспалением в мозгу. Но пока боролся...

Странное дело: казалось бы, что тут при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже более для него не оставалось; ибо где взять вдруг такие деньги, да еще такому голышу, как он? А между тем он до конца все то время надеялся, что достанет эти три тысячи, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба. Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Федорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия. Самый фантастический вихрь поднялся в голове его сейчас после того, как он третьего дня расстался с Алешей, и спутал все его мысли. Таким образом вышло, что начал он с самого дикого предприятия. Да, может быть, именно в этих условиях у таких людей самые невозможные и фантастические предприятия представляются первыми возможнейшими. Он вдруг пошел к купцу Самсонову, покровителю Грушеньки, и

предложить ему один «план», достать от него под этот «план» разом всю искомую сумму; в плане своем с коммерческой стороны он не сомневался нисколько, а сомневался лишь в том, как посмотрит на его выходку сам Самсонов, если захочет взглянуть не с одной только коммерческой стороны. Митя хоть и знал этого купца в лицо, но знаком с ним не был и даже ни разу не говорил с ним. Но почему-то в нем, и даже уже давно, основалось убеждение, что этот старый развратитель, дышащий теперь на ладан, может быть, вовсе не будет в настоящую минуту противиться, если Грушенька устроит как-нибудь свою жизнь честно и выйдет за «благонадежного человека» замуж. И что не только не будет противиться, но что и сам желает того и, навернись только случай, сам будет способствовать. По слухам ли каким или из каких-нибудь слов Грушеньки, но он заключил тоже, что старик, может быть, предпочел бы его для Грушеньки Федору Павловичу. Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя слишком уж грубым и небрежливим со стороны Дмитрия Федоровича. Могу заметить лишь то, что прошлое Грушеньки представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил со всем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идет, то тотчас же и начнется совсем новая Грушенька, а вместе с нею и совсем новый Дмитрий Федорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями: оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому. Что же до Кузьмы Самсонова, то считал он его, в этом прежнем провалившемся прошлом Грушеньки, за человека в жизни ее рокового, которого она, однако, никогда не любила и который, это главное, уже тоже «прошел», кончился, так что и его уже нет теперь вовсе. Да к тому же Митя его даже и за человека теперь считать не мог, ибо известно было всем и каждому в городе, что это лишь больная развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь отеческие, а совсем не на тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так, уже почти год как так. Во всяком случае, тут было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих это был очень простодушный человек. Вследствие этого-то простодушия своего он, между прочим, был серьезно убежден, что старый Кузьма, собираясь отходить в другой мир, чувствует искреннее раскаяние за свое прошлое с Грушенькой, и что нет теперь у нее покровителя и друга более преданного, как этот безвредный уже старик.

На другой же день после разговора своего с Алешей в поле, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсо-

нова около десяти часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный, двухэтажный, с надворными строениями и с флигелем. В нижнем этаже проживали два женатые сына Самсонова со своими семействами, престарелая сестра его и одна незамужняя дочь. Во флигеле же помещались два его приказчика, из которых один был тоже многосемейный. И дети и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома занимал старик один и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним и которая в определенные часы и в неопределенные зовы его должна была каждый раз взбегать к нему наверх снизу, несмотря на давнишнюю одышку свою. Этот «верх» состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спальне, где прислуживала ему старуха служанка, с волосами в платочке, да «малый», пребывавший на залавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог и только изредка поднимался со своих кожаных кресел, и старуха, придерживая его под руки, проводила его раз-другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этою старухой. Когда доложили ему о приходе «капитана», он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложил еще раз. Кузьма Кузьмич опросил подробно малого: что, дескать, каков с виду, не пьян ли? Не буйнит ли? И получил в ответ, что «тверез, но уходить не хочет». Старик опять велел отказать. Тогда Митя, все это предвидевший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги одну строчку: «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны» — и послал это старику. Подумав несколько, старик велел малому ввести посетителя в залу, а старуху послал вниз с приказанием к младшему сыну сейчас же явиться к нему наверх. Этот младший сын, мужчина вершков двенадцати и силы непомерной, бривший лицо и одевавшийся по-немецки (сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой), явился немедленно и безмолвно. Все они пред отцом трепетали. Пригласил отец этого молодца не то чтоб из страха пред капитаном, характера он был весьма неробкого, а так лишь, на всякий случай, более чтоб иметь свидетеля. В сопровождении сына, взявшего его под руку, и малого он выплыл наконец в залу. Надо думать, что ощущал он и некоторое довольно сильное любопытство. Зала эта, в которой ждал Митя, была



огромная, угрюмая, убивавшая тоской душу комната, в два света, с хорами, со стенами «под мрамор» и с тремя огромными хрустальными люстрами в чехлах. Митя сидел на стульчике у входной двери и в нервном нетерпении ждал своей участи. Когда старик появился у противоположного входа, сажен за десять от стула Мити, то тот вдруг вскочил и своими твердыми, фронтовыми, аршинными шагами пошел к нему навстречу. Одет был Митя прилично, в застегнутом сюртуке, с круглою шляпой в руках и в черных перчатках, точь-в-точь как был дня три тому назад в монастыре, у старца, на семейном свидании с Федором Павловичем и с братьями. Старик важно и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что, пока он подходил, тот его всего рассмотрел. Поразило тоже Митю чрезвычайно опухшее за последнее время лицо Кузьмы Кузьмича: нижняя и без того толстая губа его казалась теперь какою-то отвисшею лепешкой. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресла подле дивана, а сам медленно, опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван, так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своем раскаяние и деликатный стыд за свое теперешнее ничтожество пред столь важным им обеспокоенным лицом.

— Что вам, сударь, от меня угодно? — проговорил, усевшись наконец, старик, медленно, отдельно, строго, но вежливо.

Митя вздрогнул, вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, с жестами и в решительном исступлении. Видно было, что человек дошел до черты, погиб и ищет последнего выхода, а не удастся, то хоть сейчас и в воду. Все это в один миг, вероятно, понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у истукана.

«Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слышал уже не раз о моих контрах с отцом моим, Федором Павловичем Карамазовым, ограбившим меня по наследству после родной моей матери... так как весь город уже трещит об этом... потому что здесь все трещат об том, чего не надо... А кроме того, могло дойти и от Грушеньки... виноват: от Аграфены Александровны... от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александровны...» — так начал и оборвался с первого слова Митя. Но мы не будем приводить дословно всю его речь, а представим лишь изложение. Дело, дескать, заключается в том, что он, Митя, еще три месяца назад, нарочито советовался (он именно проговорил «нарочито», а не «нарочно») с адвокатом в губернском городе, «со знаменитым адвокатом, Кузьма Кузьмич, Павлом Павловичем Корнеплодовым, изволили, вероятно, слышать? Лоб обширный, почти государственный ум... вас тоже знает... отзывался в лучшем виде...» — оборвался в дру-

гой раз Митя. Но обрывы его не останавливали, он тотчас же через них перескакивал и устремлялся все далее и далее. Этот-де самый Корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, какие Митя мог представить ему (о документах Митя выразился неясно и особенно спеша в этом месте), отнесся, что насчет деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему, Мите, по матери, действительно можно бы было начать иск и тем старика безобразника огорошить... «потому что не все же двери заперты, а юстиция уж знает, куда пролезть». Одним словом, можно бы было надеяться даже-де тысяч на шесть додачи от Федора Павловича, на семь даже, так как Чермашня все же стоит не менее двадцати пяти тысяч, то есть наверно двадцати восьми, — «тридцати, тридцати, Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, и семнадцати от этого жестокого человека не выбрал!..». Так вот я, дескать, Митя, тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией, а, приехав сюда, поставлен был в столбняк встречным иском (здесь Митя опять запутался и опять круто перескочил): так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте три только тысячи... Вы ни в каком случае проиграть ведь не можете, в этом честию, честью клянусь, а, совсем напротив, можете нажать тысяч шесть или семь вместо трех... А главное дело, чтоб это кончить «даже сегодня же». «Я там вам у нотариуса, что ли, или как там... Одним словом, я готов на все, выдам все документы, какие потребуете, все подпишу... и мы эту бумагу сейчас же и совершили бы, и если бы можно, если бы только можно, то сегодня же бы утром... Вы бы мне эти три тысячи выдали... так как кто же против вас капиталист в этом городишке... и тем спасли бы меня от... одним словом, спасли бы мою бедную голову для благороднейшего дела, для возвышеннейшего дела, можно сказать... ибо питаю благороднейшие чувства к известной особе, которую слишком знаете и о которой печетесь отечески. Иначе бы и не пришел, если бы не отечески. И, если хотите, тут трое состукнулись лбами, ибо судьба — это страшилище, Кузьма Кузьмич! Реализм, Кузьма Кузьмич, реализм! А так как вас давно уже надо исключить, то останутся два лба, как я выразился, может быть, неловко, но я нелитератор. То есть один лоб мой, а другой — этого изверга. Итак, выбирайте: или я, или изверг? Всё теперь в ваших руках — три судьбы и два жребия... Извините, я сбился, но вы понимаете... я вижу по вашим почтенным глазам, что вы поняли... А если не поняли, то сегодня же в воду, вот!»

Митя оборвал свою нелепую речь этим «вот» и, вскочив с места, ждал ответа на свое глупое предложение. С последнюю фра-

зой он вдруг и безнадежно почувствовал, что все лопнуло, а главное, что он нагородил страшной ахинеи. «Странное дело, пока шел сюда, все казалось хорошо, а теперь вот и ахинея!» — вдруг пронеслось в его безнадежной голове. Все время, пока он говорил, старик сидел неподвижно и с ледяным выражением во взоре следил за ним. Выдержав его, однако, с минутку в ожидании, Кузьма Кузьмич изрек наконец самым решительным и безотрадным тоном:

— Извините-с, мы эдакими делами не занимаемся.

Митя вдруг почувствовал, что под ним слабеют ноги.

— Как же я теперь, Кузьма Кузьмич, — пробормотал он, бледно улыбаясь. — Ведь я теперь пропал, как вы думаете?

— Извините-с...

Митя все стоял и все смотрел неподвижно в упор и вдруг заметил, что что-то двинулось в лице старика. Он вздрогнул.

— Видите, сударь, нам такие дела несподручны, — медленно промолвил старик, — суды пойдут, адвокаты, сущая беда! А если хотите, тут есть один человек, вот к нему обратитесь...

— Боже мой, кто же это!.. Вы воскрешаете меня, Кузьма Кузьмич, — залепетал вдруг Митя.

— Нездешний он, этот человек, да и здесь его теперь не находится. Он по крестьянству, лесом торгует, прозвищем Лягавый. У Федора Павловича вот уже год как торгует в Чермашне этой вашей рошу, да за ценой расходятся, может, слышали. Теперь он как раз приехал опять и стоит теперь у батюшки Ильинского, от Волосьей станции верст двенадцать, что ли, будет, в селе Ильинском. Писал он сюда и ко мне по этому самому делу, то есть насчет этой роши, совета просил. Федор Павлович к нему сам хочет ехать. Так если бы вы Федора Павловича предупредили да Лягавому предложили вот то самое, что мне говорили, то он, может статься...

— Гениальная мысль! — восторженно перебил Митя. — Именно он, именно ему в руку! Он торгует, с него дорого просят, а тут ему именно документ на самое владение, ха-ха-ха! — И Митя вдруг захохотал своим коротким деревянным смехом, совсем неожиданным, так что даже Самсонов дрогнул головой.

— Как благодарить мне вас, Кузьма Кузьмич, — кипел Митя.

— Ничего-с, — склонил голову Самсонов.

— Но вы не знаете, вы спасли меня, о, меня влекло к вам предчувствие... Итак, к этому попу!

— Не стоит благодарности-с.

— Спешу и лечу. Злоупотребил вашим здоровьем. Век не забуду, русский человек говорит вам это, Кузьма Кузьмич, р-русский человек!

— Тэ-экс.

Митя схватил было старика за руку, чтобы потрясть ее, но что-то злобное промелькнуло в глазах того. Митя отнял руку, но тотчас же упрекнул себя во мнительности. «Это он устал...» — мелькнуло в уме его.

— Для нее! Для нее, Кузьма Кузьмич! Вы понимаете, что это для нее! — рывкнул он вдруг на всю залу, поклонился, круто повернулся и теми же скорыми, аршинными шагами, не оборачиваясь, устремился к выходу. Он трепетал от восторга. «Все ведь уж погибало, и вот ангел-хранитель спас, — неслось в уме его. — И уж если такой делец, как этот старик (благороднейший старик, и какая осанка!), указал этот путь, то... то, уж конечно, выигран путь. Сейчас и лететь. До ночи вернусь, ночью вернусь, но дело побеждено. Неужели же старик мог надо мной насмеяться?» — так восклицал Митя, шагая в свою квартиру, и, уж конечно, иначе и не могло представляться уму его, то есть: или дельный совет (от такого-то дельца) — со знанием дела, со знанием этого Лягавого (странная фамилия!), или — или старик над ним посмеялся! Увы! последняя-то мысль и была единственно верною. Потом, уже долго спустя, когда уже совершилась вся катастрофа, старик Самсонов сам сознавался, смеясь, что тогда осмеял «капитана». Это был злобный, холодный и насмешливый человек, к тому же с болезненными антипатиями. Восторженный ли вид капитана, глупое ли убеждение этого «мота и расточителя», что он, Самсонов, может поддаться на такую дичь, как его «план», ревнивое ли чувство насчет Грушеньки, во имя которой «этот сорванец» пришел к нему с какою-то дичью за деньгами, — не знаю, что именно побудило тогда старика, но в ту минуту, когда Митя стоял пред ним, чувствуя, что слабеют его ноги, и бессмысленно восклицал, что он пропал, — в ту минуту старик посмотрел на него с бесконечною злобой и придумал над ним посмеяться. Когда Митя вышел, Кузьма Кузьмич, бледный от злобы, обратился к сыну и велел распорядиться, чтобы впредь этого оборванца и духу не было, и на двор не впускать, не то...

Он не договорил того, чем угрожал, но даже сын, часто выдававший его во гневе, вздрогнул от страха. Целый час спустя старик даже весь трясся от злобы, а к вечеру заболел и послал за «лекарем».

## II

### ЛЯГАВЫЙ

Итак, надо было «скакать», а денег на лошадей все-таки не было ни копейки, то есть были два двугривенных, и это все, — все, что оставалось от стольких лет прежнего благосостояния! Но у

него лежали дома старые серебряные часы, давно уже переставшие ходить. Он схватил их и снес к еврею-часовщику, помещавшемуся в своей лавчонке на базаре. Тот дал за них шесть рублей. «И того не ожидал!» — вскричал восхищенный Митя (он все продолжал быть в восхищении), схватил свои шесть рублей и побежал домой. Дома он дополнил сумму, взяв займы три рубля от хозяев, которые дали ему с удовольствием, несмотря на то что отдавали последние свои деньги, до того любили его. Митя в восторженном состоянии своем открыл им тут же, что решается судьба его, и рассказал им, ужасно спеша, разумеется, почти весь свой «план», который только что представил Самсонову, затем решение Самсонова, будущие надежды свои и проч. и проч. Хозяева и допрежь сего были посвящены во многие его тайны, потому-то и смотрели на него, как на *своего* человека, совсем не гордого барина. Совокупив таким образом девять рублей, Митя послал за почтовыми лошадьми до Воловьей станции. Но, таким образом, запомнился и обозначился факт, что «накануне некоторого события, в полдень, у Мити не было ни копейки и что он, чтобы достать денег, продал часы и занял три рубля у хозяев, и всё при свидетелях».

Отмечаю этот факт заранее, потом разъяснится, для чего так делаю.

Поскакав на Воловью станцию, Митя хоть и сиял от радостного предчувствия, что наконец-то кончит и развяжет «все эти дела», тем не менее трепетал и от страха: что станет теперь с Грушенькой в его отсутствие? Ну как раз сегодня-то и решится наконец пойти к Федору Павловичу? Вот почему он и уехал ей не сказавшись и заказав хозяевам отнюдь не открывать, куда он делся, если откуда-нибудь придут его спрашивать. «Непременно, непременно сегодня к вечеру надо вернуться, — повторял он, трясясь в телеге, — а этого Лягавого, пожалуй, и сюда притащить... для совершения этого акта...» — так, замирая душою, мечтал Митя, но увы, мечтаниям его слишком не суждено было совершиться по его «плану».

Во-первых, он опоздал, отправившись с Воловьей станции проселком. Проселок оказался не в двенадцать, а в восемнадцать верст. Во-вторых, Ильинского батюшки он не застал дома, тот отлучился в соседнюю деревню. Пока разыскал там его Митя, отправившись в эту соседнюю деревню все на тех же, уже измученных лошадях, наступила почти уже ночь. Батюшка, робкий и ласковый на вид человек, разъяснил ему немедленно, что этот Лягавый хоть и остановился было у него спервоначалу, но теперь находится в Сухом Поселке, там у лесного сторожа в избе сегодня ночует, потому что и там тоже лес торгует. На усиленные просьбы

Митя сводить его к Лягавому сейчас же и «тем, так сказать, спасти его», батюшка хоть и заколебался вначале, но согласился, однако, проводить его в Сухой Поселок, видимо почувствовав любопытство; но, на грех, посоветовал дойти «пешочком», так как тут всего какая-нибудь верста «с небольшим излишком» будет. Митя, разумеется, согласился и зашагал своими аршинными шагами, так что бедный батюшка почти побежал за ним. Это был еще не старый и очень осторожный человек. Митя и с ним тотчас же заговорил о своих планах, горячо, нервно требовал советов насчет Лягавого и проговорил всю дорогу. Батюшка слушал внимательно, но посоветовал мало. На вопросы Митя отвечал уклончиво: «Не знаю, ох не знаю, где же мне это знать» и т. д. Когда Митя заговорил о своих контрах с отцом насчет наследства, то батюшка даже испугался, потому что состоял с Федором Павловичем в каких-то зависимых к нему отношениях. С удивлением, впрочем, осведомился, почему он называет этого торгующего крестьянина Горсткина Лягавым, и разъяснил обязательно Мите, что хоть тот и впрямь Лягавый, но что он и не Лягавый, потому что именем этим жестоко обижается, и что называть его надо непременно Горсткимым, «иначе ничего с ним не совершите, да и слушать не станет», — заключил батюшка. Митя несколько и наскоро удивился и объяснил, что так называл его сам Самсонов. Услышав про это обстоятельство, батюшка тотчас же этот разговор замял, хотя и хорошо бы сделал, если бы разъяснил тогда же Дмитрию Федоровичу догадку свою: что если сам Самсонов послал его к этому мужичку, как к Лягавому, то не сделал ли сего почему-либо на смех и что нет ли чего тут неладного? Но Мите некогда было останавливаться «на таких мелочах». Он спешил, шагал и, только придя в Сухой Поселок, догадался, что прошли они не версту и не полторы, а наверное три; это его раздосадовало, но он стерпел. Вошли в избу. Лесник, знакомый батюшки, помещался в одной половине избы, а в другой, чистой половине, через сени, расположился Горсткин. Вошли в эту чистую избу и засветили сальную свечку. Изба была сильно натоплена. На сосновом столе стоял потухший самовар, тут же поднос с чашками, допитая бутылка рому, не совсем допитый штоф водки и объедки пшеничного хлеба. Сам же приезжий лежал протянувшись на скамье, со скомканною верхнею одежкой под головами вместо подушки, и грузно храпел. Митя стал в недоумении. «Конечно, надо будить: мое дело слишком важное, я так спешил, я спешу сегодня же воротиться», — затревожился Митя; но батюшка и сторож стояли молча, не высказывая своего мнения. Митя подошел и принялся будить сам, принялся энергически, но спящий не пробуждался. «Он пьян, — решил

Митя, — но что же мне делать, господи, что же мне делать!» И вдруг в страшном нетерпении принялся дергать спящего за руки, за ноги, раскачивать его за голову, приподымать и садить на лавку и все-таки после весьма долгих усилий добился лишь того, что тот начал нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться.

— Нет, уж вы лучше повремените, — изрек наконец батюшка, — потому он, видимо, не в состоянии.

— Весь день пил, — отозвался сторож.

— Боже! — вскрикивал Митя, — если бы вы только знали, как мне необходимо и в каком я теперь отчаянии!

— Нет, уж лучше бы вам повременить до утра, — повторил батюшка.

— До утра? Помилосердуйте, это невозможно! — И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен.

— Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! — проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица.

Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору, «а у вас дело важное, так уж вернее бы оставить до утра...». Митя развел руками и согласился.

— Я, батюшка, останусь здесь со свечой и буду ловить мгновение. Пробудится, и тогда я начну... За свечку я тебе заплачу, — обратился он к сторожу, — за постой тоже, будешь помнить Дмитрия Карамазова. Вот только с вами, батюшка, не знаю теперь как быть: где же вы ляжете?

— Нет, я уж к себе-с. Я вот на его кобылке и доеду, — показал он на сторожа. — Засим прощайте-с, желаю вам полное удовольствие получить.

Так и порешили. Батюшка отправился на кобылке, обрадованный, что наконец отвязался, но все же смятенно покачивая головой и раздумывая: не надо ли будет завтра заблаговременно уведомить о сем любопытном случае благодетеля Федора Павловича, «а то, не ровён час, узнает, осердится и милости прекратит». Сторож, почесавшись, молча отправился в свою избу, а Митя сел на лавку ловить, как он выразился, мгновение. Глубокая тоска облегла, как тяжелый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска! Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог. Свечка нагорала, затрещал сверчок, в натопленной комнате становилось нестерпимо душно. Ему вдруг представился сад, ход за садом, у отца в доме таинственно отворяется дверь, а в дверь пробегает Грушенька... Он вскочил с лавки.

— Трагедия! — проговорил он, скрежеща зубами, машинально подошел к спящему и стал смотреть на его лицо. Это был сухопарый, еще не старый мужик, с весьма продолговатым лицом, в русых кудрях и с длинною тоненькою рыжеватою бородкой, в ситцевой рубахе и в черном жилете, из кармана которого выглядывала цепочка от серебряных часов. Митя рассматривал эту физиономию со страшною ненавистью, и ему почему-то особенно ненавистно было, что он в кудрях. Главное то было нестерпимо обидно, что вот он, Митя, стоит над ним со своим неотложным делом, столько пожертвовав, столько бросив, весь измученный, а этот тунеядец, «от которого зависит теперь вся судьба моя, храпит как ни в чем не бывало, точно с другой планеты». «О, ирония судьбы!» — воскликнул Митя и вдруг, совсем потеряв голову, бросился опять будить пьяного мужика. Он будил его с каким-то остервенением, рвал его, толкал, даже бил, но, провозившись минут пять и опять ничего не добившись, в бессильном отчаянии воротился на свою лавку и сел.

— Глупо, глупо! — восклицал Митя, — и... как это все бесчестно! — прибавил он вдруг почему-то. У него страшно начала болеть голова. «Бросить разве? Уехать совсем, -- мелькнуло в уме его. — Нет уж, до утра. Вот нарочно же останусь, нарочно! Зачем же я и приехал после того? Да и уехать не на чем, как теперь отсюда уедешь, о, бессмыслица!»

Голова его, однако, разбалчивалась все больше и больше. неподвижно сидел он и уже не помнил, как задремал и вдруг сидя заснул. По-видимому, он спал часа два или больше. Очнувшись же от нестерпимой головной боли, нестерпимой до крику. В висках его стучало, темя болело; очнувшись, он долго еще не мог войти в себя совершенно и осмыслить, что с ним такое произошло. Наконец-то догадался, что в натопленной комнате страшный угар и что он, может быть, мог умереть. А пьяный мужик все лежал и храпел; свечка оплыла и готова была погаснуть. Митя закричал и бросился, шатаясь, через сени в избу сторожа. Тот скоро проснулся, но, услышав, что в другой избе угар, хотя и пошел распорядиться, но принял факт до странности равнодушно, что обидно удивило Митю.

— Но он умер, он умер, и тогда... что тогда? — восклицал пред ним в испуге Митя.

Двери растворили, отворили окно, открыли трубу, Митя притащил из сеней ведро с водой, сперва намочил голову себе, а затем, найдя какую-то тряпку, окунул ее в воду и приложил к голове Лягавого. Сторож же продолжал относиться ко всему событию как-то даже презрительно и, отворив окно, произнес угрюмо: «Ладно и так» — и пошел опять спать, оставив Мите зажженный



железный фонарь. Митя провозился с угоревшим пьяницей с полчаса, все намачивая ему голову, и серьезно уже намеревался не спать всю ночь, но, измучившись, присел как-то на одну минутку, чтобы перевести дух, и мгновенно закрыл глаза, затем тотчас же бессознательно протянулся на лавке и заснул как убитый.

Проснулся он ужасно поздно. Было примерно уже часов девять утра. Солнце ярко сияло в два оконца избушки. Вчерашний кудрявый мужик сидел на лавке, уже одетый в поддевку. Пред ним стоял новый самовар и новый штоф. Старый вчерашний был уже допит, а новый опорожнен более чем наполовину. Митя вскочил и мигом догадался, что проклятый мужик пьян опять, пьян глубоко и невозвратно. Он глядел на него с минуту, выпучив глаза. Мужик же поглядывал на него молча и лукаво, с каким-то обидным спокойствием, даже с презрительным каким-то высокомерием, как показалось Мите. Он бросился к нему.

— Позвольте, видите... я... вы, вероятно, слышали от здешнего сторожа в той избе: я поручик Дмитрий Карамазов, сын старика Карамазова, у которого вы изволите рошу торговать...

— Это ты врешь! — вдруг твердо и спокойно отчеканил мужик.

— Как вру? Федора Павловича изволите знать?

— Никакого твоего Федора Павловича не изволю знать, — как-то грузно ворочая языком, проговорил мужик.

— Рошу, рошу вы у него торгуете; да проснитесь, опомнитесь. Отец Павел Ильинский меня проводил сюда... Вы к Самсонову писали, и он меня к вам прислал... — задыхался Митя.

— В-врешь! — отчеканил опять Лягавый.

У Мити похолодели ноги.

— Помилосердуйте, ведь это не шутка! Вы, может быть, хмельны. Вы можете же наконец говорить, понимать... иначе... иначе я ничего не понимаю!

— Ты красильщик!

— Помилосердуйте, я Карамазов, Дмитрий Карамазов, имею к вам предложение... выгодное предложение... весьма выгодное... именно по поводу роши.

Мужик важно поглаживал бороду.

— Нет, ты подряд снимал и подлец вышел. Ты подлец!

— Уверяю же вас, что вы ошибаетесь! — в отчаянии ломал руки Митя. Мужик все гладил бороду и вдруг лукаво прищурил глаза.

— Нет, ты мне вот что укажи: укажи ты мне такой закон, чтобы позволено было пакости строить, слышишь ты! Ты подлец, понимаешь ты это?

Митя мрачно отступил, и вдруг его как бы «что-то ударило по лбу», как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-

то озарение в уме его, «загорелся светоч, и я все постиг». В столбенении стоял он, недоумевая, как мог он, человек все же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в этакое приключение и продолжать все это почти целые сутки, возиться с этим Лягавым, мочить ему голову... «Ну, пьян человек, пьян до чертиков и будет пить запоем еще неделю — чего же тут ждать? А что, если Самсонов меня нарочно прислал сюда? А что, если она... О боже, что я наделал!...»

Мужик сидел, глядел на него и посмеивался. Будь другой случай, и Митя, может быть, убил бы этого дурака со злости, но теперь он весь сам ослабел как ребенок. Тихо подошел он к лавке, взял свое пальто, молча надел его и вышел из избы. В другой избе сторожа он не нашел, никого не было. Он вынул из кармана мелочью пятьдесят копеек и положил на стол, за ночлег, за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидел, что кругом только лес, и ничего больше. Он пошел наугад, даже не помня, куда повернуть из избы — направо или налево; вчера ночью, спеша сюда с батюшкой, он дороги не заметил. Никакой мести ни к кому не было в душе его, даже к Самсонову. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с «потерянною идеей» и совсем не заботясь о том, куда идет. Его мог побороть встречный ребенок, до того он вдруг обессилел душой и телом. Кое-как он, однако, из лесу выбрался: предстали вдруг сжатые обнаженные поля на необозримом пространстве. «Какое отчаяние, какая смерть кругом!» — повторял он, все шагая вперед и вперед.

Его спасли проезжие: извозчик вез по проселку какого-то старичка купца. Когда поравнялись, Митя спросил про дорогу, и оказалось, что те тоже едут на Воловьё. Вступили в переговоры и посадили Митю попутчиком. Часа через три доехали. На Воловьёй станции Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до невозможности голоден. Пока впрягали лошадей, ему смастерили яичницу. Он мигом съел ее всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся колбасу и выпил три рюмки водки. Подкрепившись, он ободрился, и на душе его опять прояснело. Он летел по дороге, погонял ямщика и вдруг составил новый и уже «непреложный» план, как достать еще сегодня же до вечера «эти проклятые деньги». «И подумать, только подумать, что из-за этих ничтожных трех тысяч пропадает судьба человеческая! — воскликнул он презрительно. — Сегодня же порешу!» И если бы только не непрерывная мысль о Грушеньке и о том, не случилось ли с ней чего, то он стал бы, может быть, опять совсем весел. Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно как острый нож. Наконец приехали, и Митя тотчас же побежал к Грушеньке.

## III

## ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ

Это было именно то посещение Мити, про которое Грушенька с таким страхом рассказывала Раkitину. Она тогда ожидала своей «эстафеты» и очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил, надеялась, что авось бог даст не придет до ее отъезда, а он вдруг и нагрязнул. Дальнейшее нам известно: чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить ее к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти «деньги считать», и когда Митя ее тотчас же проводил, то, прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за нею в двенадцатом часу, чтобы проводить ее обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад: «Просидит у Кузьмы, значит, не пойдет к Федору Павловичу... если только не лжет», — прибавил он тотчас же. Но на его глаз, кажется, не лгала. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимую женщиной тотчас же навывдумывал бог знает каких ужасов о том, что с нею делается и как она ему там «изменяет», но, прибежав к ней опять, потрясенный, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела-таки ему изменить, с первого же взгляда на ее лицо, на смеющееся, веселое и ласковое лицо этой женщины, — тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бранил себя сам за ревность. Проводив Грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько еще надо было успеть сегодня сделать! Но, по крайней мере, от сердца отлегло. «Вот только надо бы поскорее узнать от Смердякова, не было ли чего там вчера вечером, не приходила ли она, чего доброго, к Федору Павловичу, ух!» — пронеслось в его голове. Так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его.

Ревность! «Отелло не ревнив, он доверчив», — заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто разможжена душа и помутилось все мировоззрение его, потому что *погиб его идеал*. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтоб он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то чтоб это были все пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистою, полною самопожертвования,

можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. Отелло не мог бы ни за что примириться с изменой, — не простить не мог бы, а примириться, — хотя душа его незлобива и невинна, как душа младенца. Не то с настоящим ревнивцем: трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро (разумеется, после страшной сцены вначале) может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было «в последний раз» и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезет ее куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придет этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдет лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретет другого, нового и приревнует к новому. И казалось бы, что в той любви, за которою надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить? Но вот этого-то никогда и не поймет настоящий ревнивец, а между тем между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно еще то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно «высокими сердцами своими» весь срам, в который они сами добровольно залезли, но, однако, в ту минуту, по крайней мере пока стоят в этой каморке, никогда не чувствуют угрызений совести. У Мити при виде Грушеньки пропадала ревность, и на мгновение он становился доверчив и благороден, даже сам презирал себя за дурные чувства. Но это значило только, что в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь «изгиб тела», о котором он толковал Алеше. Но зато, когда исчезала Грушенька, Митя тотчас же начинал опять подозревать в ней все низости и коварства измены. Угрызений же совести никаких при этом не чувствовал.

Итак, ревность закипела в нем снова. Во всяком случае, надо было спешить. Первым делом надо было достать хоть капельку денег на перехватку. Вчерашние девять рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег, известно, никуда шагу ступить нельзя. Но он вместе с новым планом своим обдумал, где достать и на перехватку еще давеча на телеге. У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он ее не заложил, то потому, что любил эту вещь больше всего, что имел. В трактире

«Столичный город» он уже давно слегка познакомился с одним молодым чиновником и как-то узнал в трактире же, что этот холостой и весьма достаточный чиновник до страсти любит оружие, покупает пистолеты, револьверы, кинжалы, развешивает у себя по стенам, показывает знакомым, хвалится, мастер растолковать систему револьвера, как его зарядить, как выстрелить и проч. Долго не думая, Митя тотчас к нему отправился и предложил ему взять в заклад пистолеты за десять рублей. Чиновник с радостью стал уговаривать его совсем продать, но Митя не согласился, и тот выдал ему десять рублей, заявив, что процентов не возьмет ни за что. Расстались приятелями. Митя спешил, он устремился к Федору Павловичу на зады, в свою беседку, чтобы вызвать поскорее Смердякова. Но таким образом опять получился факт, что всего за три, за четыре часа до некоторого приключения, о котором будет мною говорено ниже, у Мити не было ни копейки денег, и он за десять рублей заложил любимую вещь, тогда как вдруг, через три часа, оказались в руках его тысячи... Но я забегаю вперед.

У Марьи Кондратьевны (соседки Федора Павловича) его ожидало чрезвычайно поразившее и смутившее его известие о болезни Смердякова. Он выслушал историю о падении в погреб, затем о падучей, приезде доктора, заботах Федора Павловича; с любопытством узнал и о том, что брат Иван Федорович уже укатил давеча утром в Москву. «Должно быть, раньше меня проехал через Воловью, — подумал Дмитрий Федорович, но Смердяков его беспокоил ужасно. — Как же теперь, кто сторожить будет, кто мне передаст?» С жадностью начал он расспрашивать этих женщин, не заметили ль они чего вчера вечером? Те очень хорошо понимали, о чем он разузнает, и разуверили его вполне: никого не было, ночевал Иван Федорович, «все было в совершенном порядке». Митя задумался. Без сомнения, надо и сегодня караулить, но где: здесь или у ворот Самсонова? Он решил, что и здесь и там, все по усмотрению, а пока, пока... Дело в том, что теперь стоял пред ним этот «план», давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге и откладывая исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на это час: «В час все порешу, все узнаю, и тогда, тогда, во-первых, в дом к Самсонову, справлюсь, там ли Грушенька, и мигом обратно сюда, и до одиннадцати часов здесь, а потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой». Вот как он решил.

Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, «план» его был тут. Он решился занять три тысячи у этой дамы. И главное, у него вдруг, как-то внезапно, явилась необыкновенная уверенность, что она ему не откажет. Может быть, подивятся тому, что если была та-

кая уверенность, то почему же он заранее не пошел сюда, так сказать, в свое общество, а направился к Самсонову, человеку склада чужого, с которым он даже и не знал, как говорить. Но дело в том, что с Хохлаковой он в последний месяц совсем почти разнакомился, да и прежде знаком был мало и, сверх того, очень знал, что и сама она его терпеть не может. Эта дама возненавидела его с самого начала просто за то, что он жених Катерины Ивановны, тогда как ей почему-то вдруг захотелось, чтобы Катерина Ивановна его бросила и вышла замуж за «милого, рыцарски образованного Ивана Федоровича, у которого такие прекрасные манеры». Манеры же Мити она ненавидела. Митя даже смеялся над ней и раз как-то выразился про нее, что эта дама «настолько жива и развязна, насколько необразованна». И вот давеча утром, на телеге, его озарила самая яркая мысль: «Да если уж она так не хочет, чтобы я женился на Катерине Ивановне, и не хочет до такой степени (он знал, что почти до истерики), то почему бы ей отказать мне теперь в этих трех тысячах, именно для того, чтоб я на эти деньги мог, оставив Катю, укатить навеки отсюда? Эти избалованные высшие дамы если уж захотят чего до капризу, то уж ничего не щадят, чтобы вышло по-ихнему. Она же к тому так богата», — рассуждал Митя. Что же касается собственно до «плана», то было все то же самое, что и прежде, то есть предложение прав своих на Чермашню, но уже не с коммерческой целью, как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонова, возможностью стяпать вместо трех тысяч куш вдвое, тысяч в шесть или семь, а просто как благородную гарантию за долг. Развивая эту новую свою мысль, Митя доходил до восторга, но так с ним и всегда случалось при всех его начинаниях, при всех его внезапных решениях. Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти. Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой, вдруг почувствовал на спине своей озноб ужаса: в эту только секунду он сознал вполне и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остается в мире, если тут оборвется, «разве зарезать и ограбить кого-нибудь из-за трех тысяч, а более ничего...». Было часов семь с половиною, когда он позвонил в колокольчик.

Сначала дело как бы улыбнулось: только что он доложил, его тотчас же приняли с необыкновенною быстротой. «Точно ведь ждала меня», — мелькнуло в уме Мити, а затем вдруг, только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила ему, что ждала его...

— Ждала, ждала! Ведь я не могла даже и думать, что вы ко мне придете, согласитесь сами, и, однако, я вас ждала, подивитесь мо-

ему инстинкту, Дмитрий Федорович, я все утро была уверена, что вы сегодня придете.

— Это действительно, сударыня, удивительно, — произнес Митя, мешковато усаживаясь, — но... я пришел по чрезвычайно важному делу... наиважнейшему из важнейших, для меня то есть, сударыня, для меня одного, и спешу...

— Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса (слышали про старца Зосиму?), тут, тут математика: вы не могли на прийти, после того как произошло все это с Катериной Ивановной, вы не могли, не могли, это математика.

— Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое! Но позвольте, однако ж, изложить...

— Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм, я слишком проучена на счет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?

— Нет, сударыня, в первый раз слышу, — удивился немного Митя. В уме его мелькнул образ Алеши.

— Сегодня в ночь, и представьте себе...

— Сударыня, — прервал Митя, — я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении и что если вы мне не поможет, то все провалится, и я провалюсь первый. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке...

— Знаю, знаю, что вы в горячке, все знаю, вы и не можете быть в другом состоянии духа, и что бы вы ни сказали, я все знаю наперед. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Федорович, я слежу за нею и изучаю ее... О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Федорович.

— Сударыня, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной, — слубезничал через силу Митя, — и предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моею, то и поможете ей в ее гибели, но для этого позвольте мне наконец изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться... и то, чего от вас ожидаю... Я пришел, сударыня...

— Не излагайте, это второстепенность. А насчет помощи я не первому вам помогаю, Дмитрий Федорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой, ее муж погибал, провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Федорович, и что же, я указала ему на коннозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о коннозаводстве, Дмитрий Федорович?

— Ни малейшего, сударыня, — ох, сударыня, ни малейшего! — вскричал в нервном нетерпении Митя и даже поднялся было с места. — Я только умоляю вас, сударыня, меня выслушать, дайте мне

только две минуты свободного разговора, чтоб я мог сперва изложить вам все, весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время, я ужасно спешу!.. — прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить, и в надежде перекричать ее. — Я пришел в отчаянии... в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас займы денег три тысячи, займы, но под верный, под вернейший залог, сударыня, под вернейшее обеспечение! Позвольте только изложить...

— Это вы все потом, потом! — замахала на него рукой в свою очередь госпожа Хохлакова, — да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед, я уже говорила вам это. Вы просите какой-то суммы, вам нужны три тысячи, но я вам дам больше, безмерно больше, я вас спасу, Дмитрий Федорович, но надо, чтобы вы меня послушались!

Митя так и прынул опять с места.

— Сударыня, неужто вы так добры! — вскричал он с чрезвычайным чувством. — Господи, вы спасли меня. Вы спасаете человека, сударыня, от насильственной смерти, от пистолета... Вечная благодарность моя...

— Я вам дам бесконечно, бесконечно больше, чем три тысячи! — прокричала госпожа Хохлакова, с сияющею улыбкой смотря на восторг Мити.

— Бесконечно? Но столько и не надо. Необходимы только эти роковые для меня три тысячи, а я со своей стороны пришел гарантировать вам эту сумму с бесконечною благодарностью и предлагаю вам план, который...

— Довольно, Дмитрий Федорович, сказано и сделано, — отрезала госпожа Хохлакова с целомудренным торжеством благодетельницы. — Я обещала вас спасти и спасу. Я вас спасу, как и Бельмесова. Что думаете вы о золотых приисках, Дмитрий Федорович?

— О золотых приисках, сударыня! Я никогда ничего о них не думал.

— А зато я за вас думала! Думала и передумала! Я уже целый месяц слежу за вами с этою целью. Я сто раз смотрела на вас, когда вы проходили, и повторяла себе: вот энергический человек, которому надо на прииски. Я изучила даже походку вашу и решила: этот человек найдет много приисков.

— По походке, сударыня? — улыбнулся Митя.

— А что ж, и по походке. Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер, Дмитрий Федорович? Естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитрий Федорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная



реалистка и хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена. Довольно! как сказал Тургенев.

— Но, сударыня, эти три тысячи, которыми вы так великодушно меня обещали ссудить...

— Вас не минуют, Дмитрий Федорович, — тотчас же перерезала госпожа Хохлакова, — эти три тысячи все равно что у вас в кармане, и не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время! Я вам скажу вашу идею: вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же всё предоставить жидам? Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович. Вы станете известны и необходимы министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович, с этой стороны меня мало знают...

— Сударыня, сударыня! — в каком-то беспокойном предчувствии прервал опять Дмитрий Федорович, — я весьма и весьма, может быть, последую вашему совету, умному совету вашему, сударыня, и отправлюсь, может быть, туда... на эти прииски... и еще раз приду к вам говорить об этом... даже много раз... но теперь эти три тысячи, которые вы так великодушно... О, они бы развязали меня, и если можно сегодня... То есть, видите ли, у меня теперь ни часу, ни часу времени...

— Довольно, Дмитрий Федорович, довольно! — настойчиво прервала госпожа Хохлакова. — Вопрос: едете вы на прииски или нет, решились ли вы вполне, отвечайте математически.

— Еду, сударыня, потом... Я поеду, куда хотите, сударыня... но теперь...

— Подождите же! — крикнула госпожа Хохлакова, вскочила и бросилась к своему великолепному бюро с бесчисленными ящичками и начала выдвигать один ящик за другим, что-то отыскивая и ужасно торопясь.

«Три тысячи! — подумал, замирая, Митя, — и это сейчас, безо всяких бумаг, без акта... о, это по-джентльменски! Великолепная женщина, и если бы только не так разговорчива...»

— Вот! — вскрикнула в радости госпожа Хохлакова, возвращаясь к Мите, — вот что я искала!

Это был крошечный серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят иногда вместе с нательным крестом.

— Это из Киева, Дмитрий Федорович, — с благоговением продолжала она, — от мощей Варвары-великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги.

И она действительно накинула ему образок на шею и стала было вправлять его. Митя в большом смущении принагнул и стал ей помогать и, наконец, вправил себе образок чрез галстук и ворот рубашки на грудь.

— Вот теперь вы можете ехать! — произнесла госпожа Хохлакова, торжественно садясь опять на место.

— Сударыня, я так тронут... и не знаю, как даже благодарить... за такие чувства, но... если бы вы знали, как мне дорого теперь время!.. Эта сумма, которую я столь жду от вашего великодушия... О сударыня, если уж вы так добры, так трогательно великодушны ко мне, — воскликнул вдруг во вдохновении Митя, — то позвольте мне вам открыть... что, впрочем, вы давно уже знаете... что я люблю здесь одно существо... Я изменил Кате... Катерине Ивановне, я хочу сказать. О, я был бесчеловечен и бесчестен пред нею, но я здесь полюбил другую... одну женщину, сударыня, может быть, презираемую вами, потому что вы всё уже знаете, но которую я никак не могу оставить, никак, а потому теперь, эти три тысячи...

— Оставьте все, Дмитрий Федорович! — самым решительным тоном перебила госпожа Хохлакова. — Оставьте, и особенно женщин. Ваша цель — прииски, а женщин туда незачем везти. Потом, когда вы возвратитесь в богатстве и славе, вы найдете себе подругу сердца в самом высшем обществе. Это будет девушка современная, с познаниями и без предрассудков. К тому времени как раз созреет теперь начавшийся женский вопрос, и явится новая женщина...

— Сударыня, это не то, не то... — сложил было, умоляя, руки Дмитрий Федорович.

— То самое, Дмитрий Федорович, именно то, что вам надо, чего вы жаждете, сами не зная того. Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться «современная мать» и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово «современная» напомнило бы им «Современник», — воспоминание для них горькое в виду нынешней цензуры... Ах, боже мой, что с вами?

— Сударыня, — вскочил наконец Митя, складывая пред ней руки ладонями в бессильной мольбе, — вы меня заставите заплакать, сударыня, если будете откладывать то, что так великодушно...

— И поплачьте, Дмитрий Федорович, поплачьте! Это прекрасные чувства... вам предстоит такой путь! Слезы облегчат вас, потом возвратитесь и будете радоваться. Нарочно прискачете ко мне из Сибири, чтоб со мной порадоваться...

— Но позвольте же и мне, — завопил вдруг Митя, — в последний раз умоляю вас, скажите, могу я получить от вас сегодня эту обещанную сумму? Если же нет, то когда именно мне явиться за ней?

— Какую сумму, Дмитрий Федорович?

— Обещанные вами три тысячи... которые вы так великодушно...

— Три тысячи? Это рублей? Ох нет, у меня нет трех тысяч, — с каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова.

Митя обомлел...

— Как же вы... сейчас... вы сказали... вы выразились даже, что они все равно как у меня в кармане...

— Ох нет, вы меня не так поняли, Дмитрий Федорович. Если так, то вы не поняли меня. Я говорила про прииски... Правда, я вам обещала больше, бесконечно больше, чем три тысячи, я теперь все припоминаю, но я имела в виду одни прииски.

— А деньги? А три тысячи? — нелепо воскликнул Дмитрий Федорович.

— О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович, я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла пятьсот рублей у Миусова. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать займы значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас, не дала бы, чтобы спасти вас, не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!..

— О, чтобы черт!.. — взревел вдруг Митя и изо всех сил ударил кулаком по столу.

— А-ай! — закричала Хохлакова в испуге и отлетела в другой конец гостиной.

Митя плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты, из дому, на улицу, в темноту! Он шел как помешанный, ударяя себя по груди, по тому самому месту груди, по которому ударял себя два дня тому назад пред Алешей, когда виделся с ним в последний раз вечером, в темноте, на дороге. Что означало это битье себя по груди *по этому месту* и на что он тем хотел указать — это была пока еще тайна, которую не знал никто в мире, которую он не открыл тогда даже Алеше, но в тайне этой заключался для него более чем позор, заключались гибель и самоубийство, он так уж решил, если не достанет тех трех тысяч, чтоб уплатить Катерине Ивановне и

тем снять с своей груди, «с того места груди» позор, который он носил на ней и который так давил его совесть. Все это вполне объяснится читателю впоследствии, но теперь, после того как исчезла последняя надежда его, этот, столь сильный физически человек, только что прошел несколько шагов от дому Хохлаковой, вдруг залился слезами, как малый ребенок. Он шел и в забытии утирал кулаком слезы. Так вышел он на площадь и вдруг почувствовал, что наткнулся на что-то всем телом. Раздался пискливый вой какой-то старушонки, которую он чуть не опрокинул.

— Господи, чуть не убил! Чего зря шагаешь, сорванец!

— Как, это вы? — вскричал Митя, разглядев в темноте старушонку. Это была та самая старая служанка, которая прислуживала Кузьме Самсонову и которую слишком заметил вчера Митя.

— А вы сами кто таковы, батюшка? — совсем другим голосом проговорила старушка, — не признать мне вас в темноте-то.

— Вы у Кузьмы Кузьмича живете, ему прислуживаете?

— Точно так, батюшка, сейчас только к Прохорычу сбегала... Да чтой-то я вас все признать не могу?

— Скажите, матушка, Аграфена Александровна у вас теперь? — вне себя от ожидания произнес Митя. — Давеча я ее сам проводил.

— Была, батюшка, приходила, посидела время и ушла.

— Как? Ушла? — вскричал Митя. — Когда ушла?

— Да в ту пору и ушла же, минутку только и побыла у нас, Кузьме Кузьмичу сказку одну рассказала, рассмешила его, да и убежала.

— Врешь, проклятая! — завопил Митя.

— А-ай! — закричала старушонка, но Мити и след простыл; он побежал что было силы в дом Морозовой. Это именно было то время, когда Грушенька укатила в Мокрое, прошло не более четверти часа после ее отъезда. Феня сидела со своею бабушкой, кухаркой Матреной, в кухне, когда вдруг вбежал «капитан». Увидав его, Феня закричала благим матом.

— Кричишь? — завопил Митя. — Где она? — Но не дав ответить еще слова обомлевшей от страху Фене, он вдруг повалился ей в ноги: — Феня, ради Господа Христа нашего, скажи, где она?

— Батюшка, ничего не знаю, голубчик Дмитрий Федорович, ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю, — заклалась-забожилась Феня, — сами вы давеча с ней пошли...

— Она назад пришла!..

— Голубчик, не приходила, Богом клянусь, не приходила!

— Врешь, — вскричал Митя, — уж по одному твоему испугу знаю, где она!..

Он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отдалась, но очень хорошо поняла, что ему было только некогда, а то бы ей, может, недобровать. Но, убегая, он все же удивил и Феню, и старуху Матрену одною самою неожиданною выходкой: на столе стояла медная ступка, а в ней пестик, небольшой медный пестик в четверть аршина всего длиною. Митя, выбегая и уже отворив одною рукой дверь, другою вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман, с ним и был таков.

— Ах господи, он убить кого хочет! — всплеснула руками Феня.

#### IV

##### В ТЕМНОТЕ

Куда побежал он? Известно: «Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему, теперь-то уж это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны...» Все это летело как вихрь в голове его. На двор к Марье Кондратьевне он не забежал: «Туда не надо, отнюдь не надо... чтобы ни малейшей тревоги... тотчас передадут и предадут... Марья Кондратьевна, очевидно, в заговоре, Смердяков тоже, тоже, все подкуплены!» У него создалось другое намерение: он обежал большим крюком, чрез переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой — крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича. Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по преданию, ему известному, Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор. «Если уж та смогла перелезть, — бог знает почему мелькнуло в его голове, — то как же бы я-то не перелез?» И действительно, он подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора, затем энергически приподнялся, разом влез и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька, но с забора видны были и освещенные окна дома. «Так и есть, у старика в спальне освещено, она там!» — и он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, а может быть, и Смердяков в самом деле болен и что услышать его некому, но инстинктивно притаился, замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание и, как нарочно, полное затишье, ни малейшего ветерка.

«“И только шепчет тишина”, — мелькнуло почему-то этот стихок в голове его, — вот только не услышал бы кто, как я перескочил; кажется, нет». Постояв минутку, он тихонько пошел по

саду, по траве; обходя деревья и кусты, шел долго, скрадывая каждый шаг к каждому шагу своему, сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад в левой стороне фасада была заперта, и он это нарочно и тщательно высмотрел проходя. Наконец достиг и кустов и притаился за ними. Он не дышал. «Переждать теперь надобно, — подумал он, — если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились... как бы только не кашлянуть, не чихнуть...»

Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение, — подумал он, — не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени; передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды, какие красные!» — прошептал он, не зная зачем. Тихо, раздельными неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спальня Федора Павловича предстала пред ним как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, «китайскими», как называл их Федор Павлович. «Китайские, — пронеслось в уме Мити, — а за ширмами Грушенька». Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. «Разоделся», — подумал Митя. Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости, вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услышав, подошел к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всею грудью, опять постоял, рассеянно подошел к зеркалу в простенке, правую рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли. «Он один, — подумал Митя, — по всем вероятностям один». Федор Павлович отошел от зеркала, вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень.

«Она, может быть, у него за ширмами, может быть, уже спит», — кольнуло его в сердце. Федор Павлович от окна отошел. «Это он в окошко ее высматривал, стало быть, ее нет: чего ему в темноту смотреть?... нетерпение, значит, пожирает...» Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старик уже сидел пред столиком, видимо пригорюнившись. Наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался.

«Один, один! — твердил он опять. — Если б она была тут, у него было бы другое лицо». Странное дело: в его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет. «Не на то, что ее тут нет, — осмыслил и сам ответил Митя себе тотчас же, — а на то, что никак наверно узнать не могу, тут она или нет». Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно и соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерною. «Здесь она, наконец, или не здесь?» — злобно закипело у него в сердце. И он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым: два первые раза потише, а потом три раза поскорее: тук-тук-тук — знак, обозначающий, что «Грушенька пришла». Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову.

— Грушенька, ты? Ты, что ли? — проговорил он каким-то дрожащим полусшепотом. — Где ты, маточка, ангелочек, где ты? — Он был в страшном волнении, он задышался.

«Один!» — решил Митя.

— Где же ты? — крикнул опять старик и высунул еще больше голову, высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево, — иди сюда; я гостинчику приготовил, иди, покажу!..

«Это он про пакет с тремя тысячами», — мелькнуло у Мити.

— Да где же?.. Али у дверей? Сейчас отворю!..

И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо, в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити: «Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни!» Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке четыре дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?»

«Я ведь не знаю, не знаю, — сказал он тогда, — может, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет *своим лицом в ту самую минуту*. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь, вот и не удержусь...»

Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана...

.....

«Бог, — как сам Митя говорил потом, — сторожил меня тогда: как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собою известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу, то есть вытерся весь с помощью супруги водкой с каким-то секретным крепчайшим настоем, а остальное выпил с «некоторою молитвой», прошептанною над ним супругой, и залег спать. Марфа Игнатьевна вкусила тоже и, как непьющая, заснула подле супруга мертвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи, сообразил минутку и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, но поднялся на постели. Затем опять что-то обдумал, встал и наскоро оделся. Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа «в такое опасное время». Разбитый падучею Смердяков лежал в другой каморке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. «Ослабела баба», — подумал, глянув на нее, Григорий Васильевич и кряхтя вышел на крылечко. Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах, боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад он с вечера на замок не запер. Это был человек аккуратнейший и точнейший, человек раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошел он с крылечка и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настезь. Машинально ступил он в сад: может быть, ему что померещилось, может, услышал какой-нибудь звук, но, глянув налево, увидал отворенное окно у барина, пустое уже окошко, никто уже из него не выглядывал. «Почему отворено, теперь не лето!» — подумал Григорий, и вдруг, как раз в то самое мгновение, прямо пред ним в саду замелькало что-то необычайное. Шагах в сорока пред ним как бы пробежал в темноте человек, очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи!» — проговорил Григорий и, не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился наперерез бегущему. Он взял короче, сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущему; тот же направлялся к бане, пробежал за баню, бросился к стене... Григорий следил его, не теряя из виду, и бежал не помня себя. Он добежал до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелезал забор. Вне себя завопил Григорий, кинулся и вцепился обеими руками в его ногу.

Так и есть, предчувствие не обмануло его; он узнал его, это был он, «изверг-отцеубивец»!



— Отцеубивец! — прокричал старик на всю окрестность, но только это и успел прокричать; он вдруг упал как пораженный громом. Митя соскочил опять в сад и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный пестик, и он машинально отбросил его в траву. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не в траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего пред ним. Голова старика была вся в крови; Митя протянул руку и стал ее ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в ту минуту «вполне убедиться», проломил он череп старику или только «огорошил» его пестиком по темени? Но кровь лилась, лилась ужасно и мигом облила горячею струей дрожащие пальцы Мити. Он помнил, что выхватил из кармана свой белый новый платок, которым запасся, идя к Хохлаковой, и приложил к голове старика, бессмысленно стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но и платок мигом весь намок кровью. «Господи, да для чего это я? — очнулся вдруг Митя, — коли уж проломил, то как теперь узнать... Да и не все ли теперь равно! — прибавил он вдруг безнадежно, — убил так убил... Попался старик и лежи!» — громко проговорил он и вдруг кинулся на забор, перепрыгнул в переулок и пустился бежать. Намокший кровью платок был скомкан у него в правом кулаке, и он на бегу сунул его в задний карман сюртука. Он бежал сломя голову, и несколько редких прохожих, повстречавшихся ему в темноте, на улицах города, запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека. Летел он опять в дом Морозовой. Давеча Феня, тотчас по уходе его, бросилась к старшему дворнику Назару Ивановичу и «Христом-богом» начала молить его, чтоб он «не впускал уж больше капитана ни сегодня, ни завтра». Назар Иванович, выслушав, согласился, но, на грех, отлучился наверх к барыне, куда его внезапно позвали, и на ходу, встретив своего племянника, парня лет двадцати, недавно только прибывшего из деревни, приказал ему побыть на дворе, но забыл приказать о капитане. Добежав до ворот, Митя постучался. Парень мигом узнал его: Митя не раз уже давал ему на чай. Тотчас же отворил ему калитку, впустил и, весело улыбаясь, предупредительно поспешил уведомить, что «ведь Аграфены Александровны теперь дома-то и нет-с».

— Где же она, Прохор? — вдруг остановился Митя.

— Давеча уехала, часа с два тому, с Тимофеем, в Мокрое.

— Зачем? — крикнул Митя.

— Этого знать не могу-с, к офицеру какому-то, кто-то их позвал оттудова и лошадей прислали...

Митя бросил его и как полоумный вбежал к Фене.

## V

## ВНЕЗАПНОЕ РЕШЕНИЕ

Та сидела в кухне с бабушкой, обе собирались ложиться спать. Надеясь на Назара Ивановича, они изнутри опять-таки не заперлись. Митя вбежал, кинулся на Феню и крепко схватил ее за горло.

— Говори сейчас, где она, с кем теперь в Мокром? — завопил он в иступлении.

Обе женщины взвизгнули.

— Ай скажу, ай, голубчик Дмитрий Федорович, сейчас все скажу, ничего не потаю, — прокричала скороговоркой насмерть испуганная Феня. — Она в Мокрое к офицеру поехала.

— К какому офицеру? — вопил Митя.

— К прежнему офицеру, к тому самому, к прежнему своему, пять лет тому который был, бросил и уехал, — тою же скороговоркой протрещала Феня.

Дмитрий Федорович отнял руки, которыми сжимал ей горло. Он стоял перед нею бледный как мертвец и безгласный, но по глазам его было видно, что он все разом понял, все, все разом с полслова понял до последней черточки и обо всем догадался. Не бедной Фене, конечно, было наблюдать в ту секунду, понял он или нет. Она как была, сидя на сундуке, когда он вбежал, так и осталась теперь, вся трепещущая и, выставив перед собою руки, как бы желая защититься, так и замерла в этом положении. Испуганными, расширенными от страха зрачками глаз впилась она в него неподвижно. А у того как раз к тому обе руки были запачканы в крови. Дорогой, когда бежал, он, должно быть, дотрогивался ими до своего лба, вытирая с лица пот, так что и на лбу, и на правой щеке остались красные пятна размазанной крови. С Феней могла сейчас начаться истерика, старуха же кухарка вскочила и глядела как сумасшедшая, почти потеряв сознание. Дмитрий Федорович простоял с минуту и вдруг машинально опустился возле Фени на стул.

Он сидел и не то чтобы соображал, а был как бы в испуге, точно в каком-то столбняке. Но все было ясно как день: этот офицер — он знал про него, знал ведь отлично все, знал от самой же Грушеньки, знал, что месяц назад он письмо прислал. Значит, месяц, целый месяц это дело велось в глубокой от него тайне до самого теперешнего приезда этого нового человека, а он-то и не думал о нем! Но как мог, как мог он не думать о нем? Почему он так-таки и забыл тогда про этого офицера, забыл тотчас же, как узнал про него? Вот вопрос, который стоял перед ним как какое-то

чудище. И он созерцал это чудище действительно в испуге, похолодев от испуга.

Но вдруг он тихо и кротко, как тихий и ласковый ребенок, заговорил с Феней, совсем точно и забыв, что сейчас ее так перепугал, обидел и измучил. Он вдруг с чрезвычайною и даже удивительною в его положении точностью принялся расспрашивать Феню. А Феня хоть и дико смотрела на окровавленные руки его, но тоже с удивительною готовностью и поспешностью принялась отвечать ему на каждый вопрос, даже как бы спеша выложить ему всю «правду правдинскую». Мало-помалу, даже с какою-то радостью начала излагать все подробности, и вовсе не желая мучить, а как бы спеша изо всех сил от сердца услужить ему. До последней подробности рассказала она ему и весь сегодняшний день, посещение Ракитина и Алеши, как она, Феня, стояла на сторожах, как барыня поехала и что она прокричала в окошко Алеше поклон ему, Митеньке, и чтобы «вечно помнил, как любила она его часочек». Выслушав о поклоне, Митя вдруг усмехнулся, и на бледных щеках его вспыхнул румянец. Феня в ту же минуту сказала ему, уже ни крошечки не боясь за свое любопытство:

— Руки-то какие у вас, Дмитрий Федорович, все-то в крови!

— Да, — ответил машинально Митя, рассеянно посмотрел на свои руки и тотчас забыл про них и про вопрос Фени. Он опять погрузился в молчание. С тех пор как вбежал он, прошло уже минут двадцать. Давешний испуг его прошел, но, видимо, им уже овладела вполне какая-то новая непреклонная решимость. Он вдруг встал с места и задумчиво улыбнулся.

— Барин, что с вами это такое было? — проговорила Феня, опять показывая ему на его руки, — проговорила с сожалением, точно самое близкое теперь к нему в горе его существо.

Митя опять посмотрел себе на руки.

— Это кровь, Феня, — проговорил он, со странным выражением смотря на нее, — это кровь человеческая, и, боже, зачем она пролилась! Но... Феня... тут один забор (он глядел на нее, как бы загадывая ей загадку), один высокий забор и страшный на вид, но... завтра на рассвете, когда «взлетит солнце», Митенька через этот забор перескочит... Не понимаешь, Феня, какой забор, ну да ничего... все равно, завтра услышишь и все поймешь... а теперь прощай! Не помешаю и устранюсь, сумею устраниться. Живи, моя радость... любила меня часок, так и помни навеки Митеньку Карамазова... Ведь она меня все называла Митенькой, помнишь?

И с этими словами вдруг вышел из кухни. А Феня выхода этого испугалась чуть не больше еще, чем когда он давеча вбежал и бросился на нее.

Ровно десять минут спустя Дмитрий Федорович вошел к тому молодому чиновнику, Петру Ильичу Перхотину, которому давеча заложил пистолеты. Было уже половина девятого, и Петр Ильич, напившись дома чаю, только что облекся снова в сюртук, чтоб отправиться в трактир «Столичный город» поиграть на бильярде. Митя захватил его на выходе. Тот, увидев его и его запачканное кровью лицо, так и вскрикнул:

— Господи! Да что это с вами?

— А вот, — быстро проговорил Митя, — за пистолетами моими пришел и вам деньги принес. С благодарностию. Тороплюсь, Петр Ильич, пожалуйста, поскорее.

Петр Ильич все больше и больше удивлялся: в руках Мити он вдруг рассмотрел кучу денег, а главное, он держал эту кучу и вошел с нею, как никто деньги не держит и никто с ними не входит: все кредитки нес в правой руке, точно напоказ, прямо держа руку пред собою. Мальчик, слуга чиновника, встретивший Митю в передней, сказывал потом, что он так и в переднюю вошел с деньгами в руках, стало быть, и по улице все так же нес их пред собою в правой руке. Бумажки были все сторублевые, радужные, придерживал он их окровавленными пальцами. Петр Ильич потом на позднейшие вопросы интересовавшихся лиц: сколько было денег? — заявлял, что тогда сосчитать на глаз трудно было, может быть, две тысячи, может быть, три, но пачка была большая, «плотненькая». Сам же Дмитрий Федорович, как показывал он тоже потом, «был как бы тоже совсем не в себе, но не пьян, а точно в каком-то восторге, очень рассеян, а в то же время как будто и сосредоточен, точно об чем-то думал и добивался и решить не мог. Очень торопился, отвечал резко, очень странно, мгновениями же был как будто вовсе не в горе, а даже весел».

— Да с вами-то что, с вами-то что теперь? — прокричал опять Петр Ильич, дико рассматривая гостя. — Как это вы так раскровенились, упали, что ли, посмотрите!

Он схватил его за локоть и поставил к зеркалу. Митя, увидав свое запачканное кровью лицо, вздрогнул и гневно нахмурился.

— Э, черт! Этого не доставало, — пробормотал он со злобой, быстро переложил из правой руки кредитки в левую и судорожно выдернул из кармана платок. Но и платок оказался весь в крови (этим самым платком он вытирал голову и лицо Григорию): ни одного почти местечка не было белого, и не то что начал засыхать, а как-то заскоруж в комке и не хотел развернуться. Митя злобно шваркнул его об пол.

— Э, черт! Нет ли у вас какой тряпки... обтереться бы...

— Так вы только запачкались, а не ранены? Так уж лучше вымойтесь, — ответил Петр Ильич. — Вот рукомойник, я вам подам.

— Рукомойник? Это хорошо... только куда же я это дену? — в каком-то совсем уж странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку сторублевых, вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги.

— В карман суньте али на стол вот здесь положите, не пропадут.

— В карман? Да, в карман. Это хорошо... Нет, видите ли, это все вздор! — вскричал он, как бы вдруг выходя из рассеянности. — Видите: мы сперва это дело кончим, pistolеты-то, вы мне их отдайте, а вот ваши деньги... потому что мне очень, очень нужно... и времени, времени ни капли...

И, сняв с пачки верхнюю сторублевую, он протянул ее чиновнику.

— Да у меня и сдачи не будет, — заметил тот, — у вас мельче нет?

— Нет, — сказал Митя, поглядев опять на пачку и, как бы неуверенный в словах своих, попробовал пальцами две-три бумажки сверху, — нет, всё такие же, — прибавил он и опять вопросительно поглядел на Петра Ильича.

— Да откуда вы так разбогатели? — спросил тот. — Пойдите, я мальчишку своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно — вот не разменяют ли. Эй, Миша! — крикнул он в переднюю.

— В лавку к Плотниковым — великолепнейшее дело! — крикнул и Митя, как бы осененный какою-то мыслью. — Миша, — обернулся он к вошедшему мальчику, — видишь, беги к Плотниковым и скажи, что Дмитрий Федорович велел кланяться и сейчас сам будет... Да слушай, слушай: чтобы к его приходу приготовили шампанского, этак дюжинки три, да уложили как тогда, когда в Мокрое ездил... Я тогда четыре дюжины у них взял, — вдруг обратился он к Петру Ильичу, — они уж знают, не беспокойся, Миша, — повернулся он опять к мальчику. — Да слушай: чтобы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, как прежде было... Да слушай: гостинцев чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль четыре, — ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоколату, леденцов, монпансье, тягушек — ну всего, что тогда со мной в Мокрое уложили, с шампанским рублей на триста чтобы было... Ну, вот и теперь чтобы так же точно. Да вспомни ты, Миша, если ты, Миша... Ведь его Мишей зовут? — опять обратился он к Петру Ильичу.

— Да пойдите, — перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая, — вы лучше сами пойдете, тогда и скажете, а он переверт.

— Переверт, вижу, что переверт! Эх, Миша, а я было тебя поцеловать хотел за комиссию... Коли не перевернешь, десять рублей тебе, скажи скорей... Шампанское, главное, шампанское чтобы выкатили, да и коньячку, да и красного, и белого, и всего этого как тогда. Они уж знают, как тогда было.

— Да слушайте вы! — с нетерпением уже перебил Петр Ильич. — Я говорю: пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете... Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут! — Петр Ильич, кажется, нарочно поскорей прогнал Мишу, потому что тот как стал пред гостем, выпуча глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожавших пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха, и, вероятно, мало понял из всего того, что ему наказывал Митя.

— Ну, теперь пойдете мыться, — сурово сказал Петр Ильич. — Положите деньги на стол али суньте в карман... Вот так, идем. Да снимите сюртук.

И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул:

— Смотрите, у вас и сюртук в крови!

— Это... это не сюртук. Только немного тут у рукава... А это вот только здесь, где платок лежал. Из кармана просочилось. Я на платок-то у Фени сел, кровь-то и просочилась, — с какою-то удивительною доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал нахмурившись.

— Угораздило же вас; подрались, должно быть, с кем, — проворкотал он.

Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. (Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич.) Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту, чем дальше, тем больше. Заметим кстати: молодой человек был характера неробкого.

— Смотрите, не отмыли под ногтями; ну, теперь трите лицо, вот тут: на висках, у уха... Вы в этой рубашке и поедете? Куда это вы едете? Смотрите, весь обшлаг правого рукава в крови.

— Да, в крови, — заметил Митя, рассматривая обшлаг рубашки.

— Так перемените белье.

— Некогда. А я вот, вот видите... — продолжал с тою же доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки и надевая сюртук, — я вот здесь край рукава загну, его и не видно будет под сюртуком... Видите!

— Говорите теперь, где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять ли с капита-

ном, как тогда, били его и таскали? — как бы с укоризною припомнил Петр Ильич. — Кого еще прибили... али убили, пожалуй?

— Вздор! — проговорил Митя.

— Как вздор?

— Не надо, — сказал Митя и вдруг усмехнулся. — Это я старушонку одну на площади сейчас раздавил.

— Раздавили? Старушонку?

— Старика! — крикнул Митя, смотря Петру Ильичу прямо в лицо, смеясь и крича ему как глухому.

— Э, черт возьми, старика, старушонку... Убили, что ли, кого?

— Помирились. Сцепились — и помирились. В одном месте. Разошлись приятельски. Один дурак... он мне простил... теперь уж наверно простил... Если бы встал, так не простил бы, — подмигнул вдруг Митя, — только знаете, к черту его, слышите, Петр Ильич, к черту, не надо! В сию минуту не хочу! — решительно отрезал Митя.

— Я ведь к тому, что охота же вам со всяким связываться... как тогда из пустяков с этим штабс-капитаном... Подрались и кутить теперь мчитесь — весь ваш характер. Три дюжины шампанского — это куда же столько?

— Bravo! Давайте теперь пистолеты. Ей-богу, нет времени. И хотел бы с тобой поговорить, голубчик, да времени нет. Да и не надо вовсе, поздно говорить. А! где же деньги, куда я их дел? — вскрикнул он и принялся совать по карманам руки.

— На стол положили... сами... вон они лежат. Забыли? Подлинно деньги у вас точно сор аль вода. Вот ваши пистолеты. Странно, в шестом часу давеча заложил их за десять рублей, а теперь эвона у вас, тысяч-то. Две или три небось?

— Три небось, — засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман панталон.

— Потеряете этак-то. Золотые прииски у вас, что ли?

— Прииски? Золотые прииски! — изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. — Хотите, Перхотин, на прииски? Тотчас вам одна дама здесь три тысячи отсыплет, чтобы только ехали. Мне отсыпала, уж так она прииски любит! Хохлакову знаете?

— Незнаком, а слыхал и видал. Неужто это она вам три тысячи дала? Так и отсыпала? — недоверчиво глядел Петр Ильич.

— А вы завтра, как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя Бога, вы завтра пойдите к ней, к Хохлаковой-то, и спросите у ней сами: отсыпала она мне три тысячи али нет? Справьтесь-ка.

— Я не знаю ваших отношений... коли вы так утвердительно говорите, значит, дала... А вы денежки-то в лапки, да вместо Сибири-то, по всем по трем... Да куда вы в самом деле теперь, а?

— В Мокрое.

— В Мокрое? Да ведь ночь!

— Был Матрюк во всем, стал Матрюк ни в чем! — проговорил вдруг Митя.

— Как ни в чем? Это с такими-то тысячами, да ни в чем?

— Я не про тысячи, к черту тысячи! Я про женский нрав говорю:

Легковерен женский нрав,

И изменчив, и порочен.

Я с Улиссом согласен, это он говорит.

— Не понимаю я вас!

— Пьян, что ли?

— Не пьян, а хуже того.

— Я духом пьян, Петр Ильич, духом пьян, и довольно, довольно...

— Что это вы, пистолет заряжаете?

— Пистолет заряжаю.

Митя действительно, раскрыв ящик с пистолетами, отомкнул рожок с порохом и тщательно всыпал и забил заряд. Затем взял пулю и, пред тем как вкатить ее, поднял ее в двух пальцах пред собою над свечкой.

— Чего это вы на пулю смотрите? — с беспокойным любопытством следил Петр Ильич.

— Так. Воображение. Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет?

— Зачем на нее смотреть?

— В мой мозг войдет, так интересно на нее взглянуть, какова она есть... А впрочем, вздор, минутный вздор. Вот и кончено, — прибавил он, вкатив пулю и заколотив ее паклей. — Петр Ильич, милый, вздор, все вздор, и если бы ты знал, до какой степени вздор! Дай-ка мне теперь бумажки кусочек.

— Вот бумажка.

— Нет, гладкой, чистой, на которой пишут. Вот так. — И Митя, схватив со стола перо, быстро написал на бумажке две строки, сложил вчетверо бумажку и сунул в жилетный карман. Пистолеты вложил в ящик, запер ключиком и взял ящик в руки. Затем посмотрел на Петра Ильича и длинно, вдумчиво улыбнулся. — Теперь идем, — сказал он.

— Куда идем? Нет, постойте... Это вы, пожалуй, себе в мозг ее хотите послать, пулю-то... — с беспокойством произнес Петр Ильич.

— Пуля вздор! Я жить хочу, я жизнь люблю! Знай ты это. Я злокудрого Феба и свет его горячий люблю... Милый Петр Ильич, умешь ты устраниться?



— Как это устранился?

— Дорогу дать. Милому существу и ненавистному дать дорогу. И чтоб и ненавистное милым стало, — вот как дать дорогу! И сказать им: бог с вами, идите, проходите мимо, а я...

— А вы?

— Довольно, идем.

— Ей-богу, скажу кому-нибудь, — глядел на него Петр Ильич, — чтобы вас не пустить туда. Зачем вам теперь в Мокрое?

— Женщина там, женщина, и довольно с тебя, Петр Ильич, и шабаш!

— Послушайте, вы хоть и дики, но вы мне всегда как-то нравились... я вот и беспокоюсь.

— Спасибо тебе, брат. Я дикий, говоришь ты. Дикари, дикари! Я одно только и твержу: дикари! А, да, вот Миша, а я-то его и забыл.

Вошел впопыхах Миша с пачкой размененных денег и отрапортовал, что у Плотниковых «все заходили» и бутылки волокут, и рыбу, и чай — сейчас все готово будет. Митя схватил десятирублевую и подал Петру Ильичу, а другую десятирублевую кинул Мише.

— Не смей! — вскричал Петр Ильич. — У меня дома нельзя, да и дурное баловство это. Спрячьте ваши деньги, вот сюда положите, чего их сорить-то? Завтра же пригодятся, ко мне же ведь и придете десять рублей просить. Что это вы в боковой карман все суете? Эй, потеряете!

— Слушай, милый человек, поедем в Мокрое вместе?

— Мне-то зачем туда?

— Слушай, хочешь сейчас бутылку откупорю, выпьем за жизнь! Мне хочется выпить, а пуще всего с тобою выпить. Никогда я с тобою не пил, а?

— Пожалуй, в трактире можно, пойдем, я туда сам сейчас отправляюсь.

— Некогда в трактире, а у Плотниковых в лавке, в задней комнате. Хочешь, я тебе одну загадку загадаю сейчас.

— Загадай.

Митя вынул из жилета свою бумажку, развернул ее и показал. Четким и крупным почерком было на ней написано:

«Казню себя за всю жизнь, всю жизнь мою наказую!»

— Право, скажу кому-нибудь, пойду сейчас и скажу, — проговорил, прочитав бумажку, Петр Ильич.

— Не успеешь, голубчик, идем и выпьем, марш!

Лавка Плотниковых приходилась почти через один только дом от Петра Ильича, на углу улицы. Это был самый главный бакалейный магазин в нашем городе, богатых торговцев, и сам по себе весьма недурной. Было все, что и в любом магазине в столице,

всякая бакалея: вина «разлива братьев Елисеевых», фрукты, сигары, чай, сахар, кофе и проч. Всегда сидели три приказчика и бегали два рассыльных мальчика. Хотя край наш и обеднел, помещики разъехались, торговля затихла, а бакалея процветала по-прежнему и даже все лучше и лучше с каждым годом: на эти предметы не переводились покупатели. Митю ждали в лавке с нетерпением. Слишком помнили, как он недели три-четыре назад забрал точно так же разом всякого товару и вин на несколько сот рублей чистыми деньгами (в кредит-то бы ему ничего, конечно, не поверили), помнили, что так же, как и теперь, в руках его торчала целая пачка радужных и он разбрасывал их зря, не торгуясь, не соображая и не желая соображать, на что ему столько товару, вина и проч.? Во всем городе потом говорили, что он тогда, укатив с Грушенькой в Мокрое, «просадил в одну ночь и следующий за тем день три тысячи разом и воротился с кутежа без гроша, в чем мать родила». Поднял тогда цыган целый табор (в то время у нас заковавший), которые в два дня вытащили-де у него у пьяного без счету денег и выпили без счету дорогого вина. Рассказывали, смеясь над Митей, что в Мокром он запоил шампанским сиволапых мужиков, деревенских девок и баб закармливал конфетами и страсбургскими пирогами. Смеялись тоже у нас, в трактире особенно, над собственным откровенным и публичным тогдашним признанием Мити (не в глаза ему, конечно, смеялись, в глаза ему смеяться было несколько опасно), что от Грушеньки он за всю ту «эскападу» только и получил, что «позволила ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволила».

Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю. В лавке почти совсем успели «сладить» один ящик с товаром и ждали только появления Мити, чтобы заколотить и уложить его на телегу. Петр Ильич удивился.

— Да откуда поспела у тебя тройка? — спросил он Митю.

— К тебе бежал, вот его, Андрея, встретил и велел ему прямо сюда к лавке и подъезжать. Времени терять нечего! В прошлый раз с Тимофеем ездил, да Тимофей теперь тю-тю-тю, вперед меня с волшебницей одной укатил. Андрей, опоздаем очень?

— Часом только разве прежде нашего придут, да и того не будет, часом всего упредят! — поспешно отозвался Андрей. — Я Тимофея и снарядил, знаю, как поедут. Их езда не наша езда, Дмитрий Федорович, где им до нашего. Часом не потрафят раньше! — с жаром перебил Андрей, еще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддевке и с армяком на левой руке.

— Пятьдесят рублей на водку, коли только часом отстанешь.

— За час времени ручаемся, Дмитрий Федорович, эх, получасом не упредят, не то что часом!

Митя хоть и засуетился, распоряжаясь, но говорил и приказывал как-то странно, вразбивку, а не по порядку. Начинал одно и забывал окончание. Петр Ильич нашел необходимым ввязаться и помочь делу.

— На четыреста рублей, не менее как на четыреста, чтобы точь-в-точь по-тогдашнему, — командовал Митя. — Четыре дюжины шампанского, ни одной бутылки меньше.

— Зачем тебе столько, к чему это? Стой! — завопил Петр Ильич. — Это что за ящик? С чем? Неужели тут на четыреста рублей?

Ему тотчас же объяснили суетившиеся приказчики со слащавою речью, что в этом первом ящике всего лишь полдюжины шампанского и «всякие необходимые на первый случай предметы» из закусок, конфет, монпансье и проч. Но что главное «потребление» уложится и отправится сей же час особо, как и в тогдашний раз, в особой телеге и тоже тройкой и потрафит к сроку, «разве всего только часом позже Дмитрия Федоровича к месту прибудет».

— Не более часу, чтоб не более часу, и как можно больше монпансье и тягушек положите; это там девки любят, — с жаром настаивал Митя.

— Тягушек — пусть. Да четыре-то дюжины к чему тебе? Одной довольно, — почти осердился уже Петр Ильич. Он стал торговаться, он потребовал счет, он не хотел успокоиться. Спас, однако, всего одну сотню рублей. Остановились на том, чтобы всего товару доставлено было не более как на триста рублей.

— А, черт вас подери! — вскричал Петр Ильич, как бы вдруг одумавшись, — да мне-то тут что? Бросай свои деньги, коли даром нажил!

— Сюда, эконом, сюда, не сердись, — потащил его Митя в заднюю комнату лавки, — вот здесь нам бутылку сейчас подадут, мы и хлебнем. Эх, Петр Ильич, поедем вместе, потому что ты человек милый, таких люблю.

Митя уселся на плетеный стульчик пред крошечным столиком, накрытым грязнейшею салфеткой. Петр Ильич примостился напротив него, и мигом явилось шампанское. Предложили, не пожелают ли господа устриц, «первейших устриц, самого последнего получения».

— К черту устриц, я не ем, да и ничего не надо, — почти злобно огрызнулся Петр Ильич.

— Некогда устриц, — заметил Митя, — да и аппетита нет. Знаешь, друг, — проговорил он вдруг с чувством, — не любил я никогда всего этого беспорядка.

— Да кто ж его любит! Три дюжины, помилуй, на мужиков, это хоть кого взорвет.

— Я не про это. Я про высший порядок. Порядку во мне нет, высшего порядка... Но... все это закончено, горевать нечего. Поздно, и к черту! Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок. Каламбурю, а?

— Бредишь, а не каламбуришь.

— Слава Высшему на свете,  
Слава Высшему во мне!

Этот стишок у меня из души вырвался когда-то, не стих, а слеза... сам сочинил... не тогда, однако, когда штабс-капитана за бороденку тащил...

— Чего это ты вдруг о нем?

— Чего я вдруг о нем? Вздор! Все кончается, все равняется, черта — и итог.

— Право, мне всё твои пистолеты мерещатся.

— И пистолеты вздор! Пей и не фантазируй. Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко. Довольно! За жизнь, голубчик, за жизнь выпьем, за жизнь предлагаю тост! Почему я доволен собой? Я подл, но доволен собой. И, однако ж, я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение, сейчас готов Бога благословить и Его творение, но... надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило... Выпьем за жизнь, милый брат! Что, может быть, дороже жизни! Ничего, ничего! За жизнь и за одну царицу из цариц.

— Выпьем за жизнь, а пожалуй, и за твою царицу.

Выпили по стакану. Митя был хотя и восторжен, и раскидчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая и тяжелая забота стояла за ним.

— Миша... это твой Миша вошел? Миша, голубчик, Миша, поди сюда, выпей ты мне этот стакан, за Феба златокудрого, завтрашнего...

— Да зачем ты ему! — крикнул Петр Ильич раздражительно.

— Ну позволь, ну так, ну я хочу.

— Э-эх!

Миша выпил стакан, поклонился и убежал.

— Запомнит дольше, — заметил Митя. — Женщину я люблю, женщину! Что есть женщина? Царица земли! Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бедный Иорик!» Это я, может быть, Иорик и есть. Именно теперь я Иорик, а череп потом.

Петр Ильич слушал и молчал, помолчал и Митя.

— Это какая у вас собачка? — спросил он вдруг рассеянно приказчика, заметив в углу маленькую хорошенькую болоночку с черными глазками.

— Это Варвары Алексеевны, хозяйки нашей, болоночка, — ответил приказчик, — сами занесли давеча, да и забыли у нас. Отнести надо будет обратно.

— Я одну такую же видел... в полку... — вдумчиво произнес Митя, — только у той задняя ножка была сломана... Петр Ильич, хотел я тебя спросить кстати: крал ты когда что в своей жизни аль нет?

— Это что за вопрос?

— Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь, чужое? Я не про казну говорю, казну все дерут, и ты, конечно, тоже...

— Убирайся к черту.

— Я про чужое: прямо из кармана, из кошелька, а?

— Украл один раз у матери двугривенный, девяти лет был, со стола. Взял тихонько и зажал в руку.

— Ну и что же?

— Ну и ничего. Три дня хранил, стыдно стало, признался и отдал.

— Ну и что же?

— Естественно, высекли. Да ты чего уж, ты сам не украл ли?

— Украл, — хитро подмигнул Митя.

— Что украл? — залюбопытствовал Петр Ильич.

— У матери двугривенный, девяти лет был, через три дня отдал. — Сказав это, Митя вдруг встал с места.

— Дмитрий Федорович, не поспешить ли? — крикнул вдруг у дверей лавки Андрей.

— Готово? Идем! — всполохнулся Митя. — Еще последнее сказанье и... Андрею стакан водки на дорогу сейчас! Да коньяку ему, кроме водки, рюмку! Этот ящик (с pistolетами) мне под сиденье. Прощай, Петр Ильич, не поминай лихом.

— Да ведь завтра воротишься?

— Непременно.

— Расчетец теперь изволите покончить? — подскочил приказчик.

— А, да, расчет! Непременно!

Он опять выхватил из кармана свою пачку кредиток, снял три радужных, бросил на прилавок и спеша вышел из лавки. Все за ним последовали и, кланяясь, провожали с приветствиями и пожеланиями. Андрей крикнул от только что выпитого коньяку и вскочил на сиденье. Но едва только Митя начал садиться, как вдруг пред ним совсем неожиданно очутилась Феня. Она прибежала вся запыхавшись, с криком сложила пред ним руки и бухнулась ему в ноги:

— Батюшка, Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню! А я-то вам все рассказала!.. И его не погубите, прежний ведь он, ихний! Замуж теперь Аграфену Александровну возьмет, с тем и из Сибири вернулся... Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!

— Те-те-те, вот оно что! Ну, наделаешь ты теперь там дел! — пробормотал про себя Петр Ильич. — Теперь все понятно, теперь как не понять. Дмитрий Федорович, отдай-ка мне пистолеты, если хочешь быть человеком, — воскликнул он громко Мите, — слышишь, Дмитрий!

— Пистолеты? Подожди, голубчик, я их дорогой в лужу выброшу, — ответил Митя. — Феня, встань, не лежи ты предо мной. Не погубит Митя, впредь никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня, — крикнул он ей, уже усевшись, — обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости подлеца... А не простишь, все равно! Потому что теперь уже все равно! Трогай, Андрей, живо улетай!

Андрей тронул; колокольчик зазвенел.

— Прощай, Петр Ильич! Тебе последняя слеза!..

«Не пьян ведь, а какую ахинею порет!» — подумал вслед ему Петр Ильич. Он расположился было остаться присмотреть за тем, как будут снаряжать воз (на тройке же) с остальными припасами и винами, предчувствуя, что надуют и обсчитают Митю, но вдруг, сам на себя рассердившись, плюнул и пошел в свой трактир играть на бильярде.

— Дурак, хоть и хороший малый... — бормотал он про себя дорогой. — Про этого какого-то офицера «прежнего» Грушенькинова я слыхал. Ну, если прибыл, то... Эх, пистолеты эти! А, черт, что я, его дядька, что ли? Пусть их! Да и ничего не будет. Горланы, и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся. Разве это люди дела? Что это за «устранюсь», «казню себя» — ничего не будет! Тысячу раз кричал этим слогом пьяный в трактире. Теперь-то не пьян. «Пьян духом» — слог любят подлецы. Дядька я ему, что ли? И не мог не подраться, вся харя в крови. С кем бы это? В трактире узнаю. И платок в крови... Фу, черт, у меня на полу остался... наплевать!

Пришел в трактир он в сквернейшем расположении духа и тотчас же начал партию. Партия развеселила его. Сыграл другую и вдруг заговорил с одним из партнеров о том, что у Дмитрия Карамазова опять деньги появились, тысяч до трех, сам видел, и что он опять укатил кутить в Мокрое с Грушенькой. Это было принято почти с неожиданным любопытством слушателями. И все они заговорили не смеясь, а как-то странно серьезно. Даже игру перервали.

— Три тысячи? Да откуда у него быть трем тысячам?

Стали расспрашивать дальше. Известие о Хохлаковой приняли сомнительно.

— А не ограбил ли старика, вот что?

— Три тысячи! Что-то неладно.

— Похвалялся же убить отца вслух, все здесь слышали. Именно про три тысячи говорил...

Петр Ильич слушал и вдруг стал отвечать на расспросы сухо и скупно. Про кровь, которая была на лице и на руках Мити, не упомянул ни слова, а когда шел сюда, хотел было рассказать. Начали третью партию, мало-помалу разговор о Мите затих; но, докончив третью партию, Петр Ильич больше играть не пожелал, положил кий и, не поужинав, как собирался, вышел из трактира. Выйдя на площадь, он стал в недоумении и даже дивясь на себя. Он вдруг сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Федора Павловича, узнать, не произошло ли чего. «Из-за вздора, который окажется, разбужу чужой дом и наделаю скандала. Фу, черт, дядька я им, что ли?»

В сквернейшем расположении духа направился он прямо к себе домой и вдруг вспомнил про Феню. «Э, черт, вот бы давеча расспросить ее, — подумал он в досаде, — все бы и знал». И до того вдруг загорелось в нем самое нетерпеливое и упрямое желание поговорить с нею и разузнать, что с полдороги он круто повернул к дому Морозовой, в котором квартировала Грушенька. Подойдя к воротам, он постучался, и раздавшийся в тишине ночи стук опять как бы вдруг отрезвил и обозлил его. К тому же никто не откликнулся, все в доме спали. «И тут скандалу наделаю!» — подумал он с каким-то уже страданием в душе, но вместо того, чтоб уйти окончательно, принялся вдруг стучать снова и изо всей уже силы. Поднялся гам на всю улицу. «Так вот нет же, достучусь, достучусь!» — бормотал он, с каждым звуком злясь на себя до остервенения, но с тем вместе и усугубляя удары в ворота.

## VI

### САМ ЕДУ!

А Дмитрий Федорович летел по дороге. До Мокрого было двадцать верст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли крупные звезды. Это была та самая ночь, а может, и тот самый час, когда Алеша, упав на землю, «исступленно клялся любить ее

во веки веков». Но смутно, очень смутно было в душе Мити, и хоть многое терзало теперь его душу, но в этот момент все существо его неотразимо устремилось лишь к ней, к его царице, к которой летел он, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Скажу лишь одно: даже и не спорило сердце его ни минуты. Не поверят мне, может быть, если скажу, что этот ревнивец не ощущал к этому новому человеку, новому сопернику, выскочившему из-под земли, к этому «офицеру» ни малейшей ревности. Ко всякому другому, явись такой, приревновал бы тотчас же и, может, вновь бы намочил свои страшные руки кровью, — а к этому, к этому «ее первому», не ощущал он теперь, летя на своей тройке, не только ревнивой ненависти, но даже враждебного чувства, — правда, еще не видал его. «Тут уж бесспорно, тут право ее и его; тут ее первая любовь, которую она в пять лет не забыла: значит, только его и любила в эти пять лет, а я-то, я зачем тут подвернулся? Что я-то тут и при чем? Отстранись, Митя, и дай дорогу! Да и что я теперь? Теперь уж и без офицера все кончено, хотя бы и не явился он вовсе, то все равно все было бы кончено...»

Вот в каких словах он бы мог приблизительно изложить свои ощущения, если бы только мог рассуждать. Но он уже не мог тогда рассуждать. Вся теперешняя решимость его родилась без рассуждений, в один миг, была сразу почувствована и принята целиком со всеми последствиями еще давеча, у Фени, с первых слов ее. И все-таки, несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания: не дала и решимость спокойствия. Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями: ведь уж написан был им самим себе приговор пером на бумаге: «казню себя и наказую»; и бумажка лежала тут, в кармане его, приготовленная; ведь уж заряжен пистолет, ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч «Феба златокудрого», а между тем с прежним, со всем стоявшим сзади и мучившим его, все-таки нельзя было рассчитаться, чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием. Было одно мгновение в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить все, не дождавшись и рассвета. Но мгновение это пролетело как искорка. Да и тройка летела, «пожирая пространство», и по мере приближения к цели опять-таки мысль о ней, о ней одной, все сильнее и сильнее захватывала ему дух и отгоняла все остальные страшные призраки от его сердца. О, ему так хотелось поглядеть на нее хоть мельком, хоть издали! «Она теперь с *ним*, ну вот и погляжу, как она теперь с *ним*, со своим прежним милым, и только этого мне и надо». И никогда еще не



подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, не испытанного им еще никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного до моления, до исчезновения пред ней. «И исчезну!» — проговорил он вдруг в припадке какого-то истерического восторга.

Скакали уже почти час. Митя молчал, а Андрей, хотя и словоохотливый был мужик, тоже не вымолвил еще ни слова, точно опасался заговорить, и только живо погонял своих «одров», свою гнедую, сухопарую, но резвую тройку. Как вдруг Митя в страшном беспокойстве воскликнул:

— Андрей! А что, если спят?

Ему это вдруг вспало на ум, а до сих пор он о том и не подумал.

— Надо думать, что уж легли, Дмитрий Федорович.

Митя болезненно нахмурился: что, в самом деле, он прилетит... с такими чувствами... а они спят... спит и она, может быть, тут же... Злое чувство закипело в его сердце.

— Погоняй, Андрей, катай, Андрей, живо! — закричал он в испуге.

— А может, еще и не легли, — рассудил, помолчав, Андрей. — Даве Тимофей сказывал, что там много их собралось...

— На станции?

— Не в станции, а у Пластуновых, на постоялом дворе, вольная, значит, станция.

— Знаю; так как же ты говоришь, что много? Где же много? Кто такие? — вскинулся Митя в страшной тревоге при неожиданном известии.

— Да сказывал Тимофей, всё господа: из города двое, кто таковы — не знаю, только сказывал Тимофей, двое из здешних господ, да тех двое, будто бы приезжих, а может, и еще кто есть, не спросил я его толково. В карты, говорил, стали играть.

— В карты?

— Так вот, может, и не спят, коли в карты зачали. Думать надо, теперь всего одиннадцатый час в исходе, не более того.

— Погоняй, Андрей, погоняй! — нервно вскричал опять Митя.

— Что это, я вас спрошу, сударь, — помолчав, начал снова Андрей, — вот только бы не осердить мне вас, боюсь, барин.

— Чего тебе?

— Давеча Федосья Марковна легла вам в ноги, молила, барыню чтобы вам не сгубить и еще кого... так вот, сударь, что везу-то я вас туда... Простите, сударь, меня, так, от совести, может, глупо что сказал.

Митя вдруг схватил его сзади за плечи.

— Ты ямщик? ямщик? — начал он испуганно.

— Ямщик...

— Знаешь ты, что надо дорогу давать. Что ямщик, так уж никому и дороги не дать, дави, дескать, я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь — наказуй себя... если только испортил, если только загубил кому жизнь — казни себя и уйди.

Все это вырвалось у Мити как бы в совершенной истерике. Андрей хоть и удивился на барина, но разговор поддержал:

— Правда это, батюшка Дмитрий Федорович, это вы правы, что не надо человека давить, тоже и мучить, равно как и всякую тварь, потому всякая тварь — она тварь созданная, вот хоть бы лошадь, потому другой ломит зря, хоша бы и наш ямщик... И удержу ему нет, так он и прет, прямо тебе так и прет.

— Во ад? — перебил вдруг Митя и захохотал своим неожиданным коротким смехом. — Андрей, простая душа, — схватил он опять его крепко за плечи, — говори: попадет Дмитрий Федорович Карамазов во ад али нет, как по-твоему?

— Не знаю, голубчик, от вас зависит, потому вы у нас... Видишь, сударь, когда Сын Божий на кресте был распят и помер, то сошел Он со креста прямо во ад и освободил всех грешников, которые мучились. И застонал ад об том, что уж больше, думал, к нему никто теперь не придет, грешников-то. И сказал тогда аду Господь: «Не стони, аде, ибо придут к тебе отселева всякие вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как был во веки веков, до того времени, пока снова приду». Это точно, это было такое слово...

— Народная легенда, великолепно! Стегни левую, Андрей!

— Так вот, сударь, для кого ад назначен, — стегнул Андрей левую, — а вы у нас, сударь, все одно как малый ребенок... так мы вас почитаем... И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Господь.

— А ты, ты простишь меня, Андрей?

— Мне что же вас прощать, вы мне ничего не сделали.

— Нет, за всех, за всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге, простишь меня за всех? Говори, душа простолюдина!

— Ох, сударь! Боязно вас и везти-то, странный какой-то ваш разговор...

Но Митя не расслышал. Он иступленно молился и дико шептал про себя:

— Господи, прими меня во всем моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда Твоего... Не суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать, что люблю Тебя во веки веков... Но дай и мне долюбить... здесь, теперь долюбить, всего пять часов до горячего луча Твое-

го... Ибо люблю царицу души моей. Люблю и не могу не любить. Сам видишь меня всего. Прискачу, паду пред нею: права ты, что мимо меня прошла... Прощай и забудь твою жертву, не тревожь себя никогда!

— Мокрое! — крикнул Андрей, указывая вперед кнутом.

Сквозь бледный мрак ночи зачернелась вдруг твердая масса строений, раскинутых на огромном пространстве. Село Мокрое было в две тысячи душ, но в этот час все оно уже спало, и лишь кое-где из мрака мелькали еще редкие огоньки.

— Гони, гони, Андрей, еду! — воскликнул как бы в горячке Митя.

— Не спят! — проговорил опять Андрей, указывая кнутом на постоянный двор Пластуновых, стоявший сейчас же на въезде и в котором все шесть окон на улицу были ярко освещены.

— Не спят! — радостно подхватил Митя, — греми, Андрей, гони вскачь, звени, подкати с треском. Чтобы знали все, кто приехал! Я еду! Сам еду! — иступленно восклицал Митя.

Андрей пустил измученную тройку вскачь и действительно с треском подкатил к высокому крылечку и осадил своих запаренных полузадохшихся коней. Митя соскочил с телеги, и как раз хозяин двора, правда уходящий уже спать, любопытствовал заглянуть с крылечка, кто это таков так подкатил.

— Трифон Борисыч, ты?

Хозяин нагнулся, взгляделся, стремглав сбежал с крылечка и в подобострастном восторге кинулся к гостю.

— Батюшка, Дмитрий Федорыч! Вас ли вновь видим?

Этот Трифон Борисыч был плотный и здоровый мужик, среднего роста, с несколько толстоватым лицом, виду строгого и непримиримого, с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изменять лицо свое на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду. Ходил по-русски, в рубахе с косым воротом и в поддевке, имел деньжонки значительные, но мечтал и о высшей роли неустанно. Половина с лишком мужиков была у него в когтях, все были ему должны кругом. Он арендовал у помещиков землю и сам покупал, а обрабатывали ему мужики эту землю за долг, из которого никогда не могли выйти. Был он вдов и имел четырех взрослых дочерей; одна была уже вдовой, жила у него с двумя малолетками, ему внучками, и работала на него как поденщица. Другая дочка-мужичка была замужем за чиновником, каким-то выслужившимся писаречком, и в одной из комнат постоялого двора на стенке можно было видеть в числе семейных фотографий, миниатюрнейшего размера, фотографию и этого чиновничка в мундире и в чиновных погонах. Две младшие доче-

ри, в храмовой праздник али отправляясь куда в гости, надевали голубые или зеленые платья, сшитые по-модному, с обтяжкой сзади и с аршинным хвостом, но на другой же день утром, как и во всякий день, подымались чем свет и с березовыми вениками в руках выметали горницы, выносили помои и убирали сор после постояльцев. Несмотря на приобретенные уже тысячки, Трифон Борисыч очень любил сорвать с постояльца кутящего и, помня, что еще месяца не прошло, как он в одни сутки поживился от Дмитрия Федоровича, во время кутежа его с Грушенькой, двумя сотнями рубликов с лишком, если не всеми тремя, встретил его теперь радостно и стремительно, уже по тому одному, как подкатил ко крыльцу его Митя, почувяв снова добычу.

— Батюшка, Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем?

— Стой, Трифон Борисыч, — начал Митя, — прежде всего самое главное: где она?

— Аграфена Александровна? — тотчас понял хозяин, зорко глядявываясь в лицо Мити, — да здесь и она... пребывает...

— С кем, с кем?

— Гости проезжие-с... Один-то чиновник, надоть быть из поляков, по разговору судя, он-то за ней и послал лошадей отсюда; а другой с ним товарищ его али попутчик, кто разберет; поштатски одеты...

— Что же, кутят? Богачи?

— Какое кутят! Небольшая величина, Дмитрий Федорович.

— Небольшая? Ну а другие?

— Из города эти, двое господ... Из Черней возвращались, да и остались. Один-то, молодой, надоть быть родственник господину Миусову, вот только как звать забыл... а другого, надо полагать, вы тоже знаете: помещик Максимов, на богомолье, говорит, захал в монастырь ваш там, да вот с родственником этим молодым господина Миусова и ездит...

— Только и всех?

— Только.

— Стой, молчи, Трифон Борисыч, говори теперь самое главное: что она, как она?

— Да вот давеча прибыла и сидит с ними.

— Весела? Смеется?

— Нет, кажись, не очень смеется... Даже скучная совсем сидит, молодому человеку волосы расчесывала.

— Это поляку, офицеру?

— Да какой же он молодой, да и не офицер он вовсе; нет, сударь, не ему, а миусовскому племяннику этому, молодому-то... вот только имя забыл.

— Калганов?

— Именно Калганов.

— Хорошо, сам решу. В карты играют?

— Играли, да перестали, чай отпили, наливки чиновник потребовал.

— Стой, Трифон Борисыч, стой, душа, сам решу. Теперь отвечай самое главное: нет цыган?

— Цыган теперь вовсе не слышно, Дмитрий Федорович, согнало начальство, а вот жида здесь есть, на цимбалах играют и на скрипках, в Рождественской, так это можно бы за ними хоша и теперь послать. Прибудут.

— Послать, непременно послать! — вскричал Митя. — А девок можно поднять как тогда, Марью особенно, Степаниду тоже, Арину. Двести рублей за хор!

— Да за этикие деньги я все село тебе подыму, хоть и полегли теперь дрыхнуть. Да и стоят ли, батюшка Дмитрий Федорович, здешние мужики такой ласки али вот девки? Этакой подлости да грубости такую сумму определять! Ему ли, нашему мужику, цигарки курить, а ты им давал. Ведь от него смердит, от разбойника. А девки все, сколько их ни есть, вшивые. Да я своих дочерей тебе даром подыму, не то что за такую сумму, полегли только спать теперь, так я их ногой в спину напинаю да для тебя петь заставлю. Мужиков наемни шампанским поили, э-эх!

Трифон Борисыч напрасно сожалел Митю: он тогда у него сам с полдюжины бутылок шампанского утаил, а под столом сторублевую бумажку поднял и зажал себе в кулак. Так и осталась она у него в кулаке.

— Трифон Борисыч, растряса я тогда не одну здесь тысячку. Помнишь?

— Растрясли, голубчик, как вас не вспомнить, три тысячки у нас небось оставили.

— Ну, так и теперь с тем приехал, видишь?

И он вынул и поднес к самому носу хозяина свою пачку кредиток.

— Теперь слушай и понимай: через час вино придет, закуски, пироги и конфеты — все тотчас же туда наверх. Этот ящик, что у Андрея, туда тоже сейчас наверх, раскрыть и тотчас же шампанское подавать... А главное — девок, девок, и Марью чтобы непременно...

Он повернулся к телеге и вытащил из-под сиденья свой ящик с пистолетами.

— Расчет, Андрей, принимай! Вот тебе пятнадцать рублей за тройку, а вот пятьдесят на водку... за готовность, за любовь твою... Помни барина Карамазова!

— Боюсь я, барин... — заколебался Андрей, — пять рублей на чай пожалуйста, а больше не приму. Трифон Борисыч свидетелем. Уж простите глупое слово мое...

— Чего боишься, — обмерил его взглядом Митя, — ну и черт с тобой, коли так! — крикнул он, бросая ему пять рублей. — Теперь, Трифон Борисыч, проводи меня тихо и дай мне на них на всех перво-наперво глазком глянуть, так чтоб они меня не заметили. Где они там, в голубой комнате?

Трифон Борисыч опасливо поглядел на Митю, но тотчас же послушно исполнил требуемое: осторожно провел его в сени, сам вошел в большую первую комнату, соседнюю с той, в которой сидели гости, и вынес из нее свечу. Затем потихоньку ввел Митю и поставил его в углу, в темноте, откуда бы он мог свободно разглядеть собеседников, ими не видимый. Но Митя недолго глядел, да и не мог разглядывать: он увидел ее, и сердце его застучало, в глазах помутилось. Она сидела за столом сбоку, в креслах, а рядом с нею, на диване, хорошенький собою и еще очень молодой Калганов; она держала его за руку и, кажется, смеялась, а тот, не глядя на нее, что-то громко говорил, как будто с досадой, сидевшему чрез стол напротив Грушеньки Максимову. Максимов же чему-то очень смеялся. На диване сидел *он*, а подле дивана, на стуле, у стены, какой-то другой незнакомец. Тот, который сидел на диване развальясь, курил трубку, и у Мити лишь промелькнуло, что это какой-то толстоватый и широколицый человек, ростом, должно быть, невысокий и как будто на что-то сердитый. Товарищ же его, другой незнакомец, показался Мите что-то уж чрезвычайно высокого роста; но более он ничего не мог разглядеть. Дух у него захватило. И минуты он не смог выстоять, поставил ящик на комод и прямо, холодея и замирая, направился в голубую комнату к собеседникам.

— Ай! — взвизгнула в испуге Грушенька, заметив его первая.

## VII

### ПРЕЖНИЙ И БЕССПОРНЫЙ

Митя скорыми и длинными своими шагами подступил вплоть к столу.

— Господа, — начал он громко, почти крича, но заикаясь на каждом слове, — я... я ничего! Не бойтесь, — воскликнул он, — я ведь ничего, ничего, — повернулся он вдруг к Грушеньке, которая отклонилась на кресле в сторону Калганова и крепко уцепилась за его руку. — Я... Я тоже еду. Я до утра. Господа, проезжему путешественнику... можно с вами до утра? Только до утра, в последний раз, в этой самой комнате?

Это уже он докончил, обращаясь к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот важно отнял от губ своих трубку и строго произнес:

— Пане, мы здесь приватно. Имеются иные покои.

— Да это вы, Дмитрий Федорович, да чего это вы? — отозвался вдруг Калганов, — да садитесь с нами, здравствуйте!

— Здравствуйте, дорогой человек... и бесценный! Я всегда уважал вас... — радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку.

— Ай, как вы крепко пожали! Совсем сломали пальцы, — засмеялся Калганов.

— Вот он так всегда жмет, всегда так! — весело отозвалась, еще робко улыбаясь, Грушенька, кажется вдруг убедившаяся по виду Мити, что тот не будет буянить, с ужасным любопытством и все еще с беспокойством в него вглядываясь. Было что-то в нем чрезвычайно ее поразившее, да и вовсе не ожидала она от него, что в такую минуту он так войдет и так заговорит.

— Здравствуйте-с, — сладко отозвался слева и помещик Максимов. Митя бросился и к нему.

— Здравствуйте, и вы тут, как я рад, что и вы тут! Господа, господа, я... — Он снова обратился к пану с трубкой, видимо принимая его за главного здесь человека. — Я летел... Я хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате, в этой самой комнате... где и я обожал... мою царицу!.. Прости, пане! — крикнул он исступленно, — я летел и дал клятву... О, не бойтесь, последняя ночь моя! Выпьем, пане, мировую! Сейчас подадут вино... Я привез вот это. — Он вдруг для чего-то вытащил свою пачку кредиток. — Позволь, пане! Я хочу музыки, грому, гаму, всего что прежде... Но червь, ненужный червь проползет по земле, и его не будет! День моей радости помяну в последнюю ночь мою!..

Он почти задохся; он многое, многое хотел сказать, но выскочили одни странные восклицания. Пан неподвижно смотрел на него, на пачку его кредиток, смотрел на Грушеньку и был в видимом недоумении.

— Ежели поволит моя крулева... — начал было он.

— Да что крулева, это королева, что ли? — перебила вдруг Грушенька. — И смешно мне на вас, как вы все говорите. Садись, Митя, и что это ты говоришь? Не пугай, пожалуйста. Не будешь пугать, не будешь? Коли не будешь, так я тебе рада...

— Мне, мне пугать? — вскричал вдруг Митя, вскинув вверх свои руки. — О, идите мимо, проходите, не помешаю!.. — И вдруг он совсем неожиданно для всех и, уж конечно, для себя самого бросился на стул и залился слезами, отвернув к противоположной стене свою голову, а руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая ее.

— Ну вот, ну вот, экой ты! — укоризненно воскликнула Грушенька. — Вот он такой точно ходил ко мне — вдруг заговорит, а я ничего не понимаю. А один раз так же заплакал, а теперь вот в другой — экой стыд! С чего ты плачешь-то? *Было бы еще с чего?* — прибавила она вдруг загадочно и с каким-то раздражением напирая на свое словечко.

— Я... я не плачу... Ну, здравствуйте! — повернулся он в один миг на стуле и вдруг засмеялся, но не деревянным своим отрывистым смехом, а каким-то неслышным длинным, нервным и сотрясающимся смехом.

— Ну, вот опять... Ну, развеселись, развеселись! — уговаривала его Грушенька. — Я очень рада, что ты приехал, очень рада, Митя, слышишь ты, что я очень рада? Я хочу, чтоб он сидел здесь с нами, — повелительно обратилась она как бы ко всем, хотя слова ее, видимо, относились к сидевшему на диване. — Хочу, хочу! А коли он уйдет, так и я уйду, вот что! — прибавила она с загоревшимися вдруг глазами.

— Что изволит моя царица — то закон! — произнес пан, галантно поцеловав ручку Грушеньки. — Прошу пана до нашей компании! — обратился он любезно к Мите. Митя опять привскочил было с видимым намерением снова разразиться тирадой, но вышло другое:

— Выпьем, пане! — оборвал он вдруг вместо речи. Все расмеялись.

— Господи! А я думала, он опять говорить хочет, — нервно воскликнула Грушенька. — Слышишь, Митя, — настойчиво прибавила она, — больше не вскакивай, а что шампанского привез, так это славно. Я сама пить буду, а наливки я терпеть не могу. А лучше всего, что сам прикатил, а то скучища... Да ты кутить, что ли, приехал опять? Да спрячь деньги-то в карман! Откуда столько достал?

Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки, очень всеми и особенно панами замеченные, быстро и конфузливо сунул их в карман. Он покраснел. В эту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил было бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него ее уже Калганов и разлил за него вино.

— Да еще, еще бутылку! — закричал Митя хозяину и, забыв чокнуться с паном, которого так торжественно приглашал выпить с ним мировую, вдруг выпил весь свой стакан один, никого не дождавшись. Все лицо его вдруг изменилось. Вместо торжественного и трагического выражения, с которым он вошел, в нем явилось как бы что-то младенческое. Он вдруг как бы весь смирился и при-



низился. Он смотрел на всех робко и радостно, часто и нервно хихикая, с благодарным видом виноватой собачонки, которую опять приласкали и опять выпустили. Он как будто все забыл и оглядывал всех с восхищением, с детской улыбкой. На Грушеньку смотрел, беспрерывно смеясь, и придвинул свой стул вплоть к самому ее креслу. Помаленьку разглядел и обоих панов, хотя еще мало осмыслив их. Пан на диване поражал его своею осанкой, польским акцентом, а главное — трубкой. «Ну что же такое, ну и хорошо, что он курит трубку», — созерцал Митя. Несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два претоненькие востренькие усика, нафабранные и нахальные, не возбудило в Мите тоже ни малейших пока вопросов. Даже очень дрянненький паричок пана, сделанный в Сибири, с преглупо зачесанными вперед височками, не поразил особенно Митю: «Значит, так и надо, коли парик», — блаженно продолжал он созерцать. Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. «Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати», — мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы «телохранитель его», и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким. Но и это все казалось Мите ужасно как хорошо и бесспорно. В маленькой собачке замерло всякое соперничество. В Грушеньке и в загадочном тоне нескольких фраз ее он еще ничего не понял; а понимал лишь, сотрясаясь всем сердцем своим, что она к нему ласкова, что она его «простила» и подле себя посадила. Он был вне себя от восхищения, увидев, как она хлебнула из стакана вино. Молчание компании как бы вдруг, однако, поразило его, и он стал обводить всех ожидающими чего-то глазами: «Что же мы, однако, сидим, что же вы ничего не начинаете, господа?» — как бы говорил ослабленный взор его.

— Да вот он всё врет, и мы тут всё смеялись, — начал вдруг Калганов, точно угадав его мысль и показывая на Максимова.

Митя стремительно уставился на Калганова и потом тотчас же на Максимова.

— Врет? — рассмеялся он своим коротким деревянным смехом, тотчас же чему-то обрадовавшись, — ха-ха!

— Да. Представьте, он утверждает, что будто бы вся наша кавалерия в двадцатых годах пережилась на польках; но это ужасный вздор, не правда ли?

— На польках? — подхватил опять Митя и уже в решительном восхищении.

Калганов очень хорошо понимал отношения Мити к Грушеньке, догадывался и о пане, но его все это не так занимало, даже, может быть, вовсе не занимало, а занимал его всего более Максимов. Попал он сюда с Максимовым случайно и панов встретил здесь на постоялом дворе в первый раз в жизни. Грушеньку же знал прежде и раз даже был у нее с кем-то; тогда он ей не понравился. Но здесь она очень ласково на него поглядывала; до приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался бесчувственным. Это был молодой человек, лет не более двадцати, щегольски одетый, с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами. Но на этом беленьком личике были прелестные светло-голубые глаза, с умным, а иногда и с глубоким выражением, не по возрасту даже, несмотря на то что молодой человек иногда говорил и смотрел совсем как дитя и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавая. Вообще он был очень своеобразен, даже капризен, хотя всегда ласков. Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины.

— Вообразите, я его уже четыре дня вожу с собою, — продолжал он, немного как бы растягивая лениво слова, но безо всякого фатовства, а совершенно натурально. — Помните, с тех пор, как ваш брат его тогда из коляски вытолкнул и он полетел. Тогда он меня очень этим заинтересовал, и я взял его в деревню, а он все теперь врет, так что с ним стыдно. Я его назад везу...

— Пан польской пани не видзел и муви, что быть не мógло, — заметил пан с трубкой Максиму.

Пан с трубкой говорил по-русски порядочно, по крайней мере, гораздо лучше, чем представлялся. Русские слова, если и употреблял их, коверкал на польский лад.

— Да ведь я и сам был женат на польской пани-с, — отхихикнулся в ответ Максимов.

— Ну, так вы разве служили в кавалерии? Ведь это вы про кавалерию говорили. Так разве вы кавалерист? — ввязался сейчас Калганов.

— Да, конечно, разве он кавалерист? ха-ха! — крикнул Митя, жадно слушавший и быстро переводивший свой вопросительный взгляд на каждого, кто заговорит, точно бог знает что ожидал от каждого услышать.

— Нет-с, видите-с, — повернулся к нему Максимов, — я про то-с, что эти там панёнки... хорошенькие-с... как оттанцуют с нашим уланом мазурку... как оттанцевала она с ним мазурку, так тот-

час и вскочит ему на колени, как кошечка-с... беленькая-с... а пан-ойц и пани-матка видят и позволяют... и позволяют-с... а улан-то назавтра пойдет и руку предложит... вот-с... и предложит руку, хи-хи! — хихикнул, закончив, Максимов.

— Пан — лайдак! — проворчал вдруг высокий пан на стуле и переложил ногу на ногу. Мите только бросился в глаза огромный смазной сапог его с толстою и грязною подошвой. Да и вообще оба пана были одеты довольно засаленно.

— Ну, вот и лайдак! Чего он бранится? — рассердилась вдруг Грушенька.

— Пани Агриппина, пан видзел в польском краю хлопок, а не шляхетных паней, — заметил пан с трубкой Грушеньке.

— Можешь нá то раховаць! — презрительно отрезал высокий пан на стуле.

— Вот еще! Дайте ему говорить-то! Люди говорят, чего мешать? С ними весело, — огрызнулась Грушенька.

— Я не мешаю, пани, — значительно заметил пан в паричке с продолжительным взглядом ко Грушеньке и, важно замолчав, снова начал сосать свою трубку.

— Да нет, нет, это пан теперь правду сказал, — загорячился опять Калганов, точно бог знает о чем шло дело. — Ведь он в Польше не был, как же он говорит про Польшу? Ведь вы же не в Польше женились, ведь нет?

— Нет-с, в Смоленской губернии-с. А только ее улан еще прежде того вывез-с, супругу-то мою-с, будущую-с, и с пани-маткой, и с тантой, и еще с одною родственницей со взрослым сыном, это уж из самой Польши, из самой... и мне уступил. Это один наш поручик, очень хороший молодой человек. Сначала он сам хотел жениться, да и не женился, потому что она оказалась хромая...

— Так вы на хромой женились? — воскликнул Калганов.

— На хромой-с. Это уж они меня оба тогда немножечко обманули и скрыли. Я думал, что она подпрыгивает... она все подпрыгивала, я и думал, что она это от веселости...

— От радости, что за вас идет? — завопил каким-то детски звонким голосом Калганов.

— Да-с, от радости-с. А вышло, что совсем от иной причины-с. Потом, когда мы обвенчались, она мне после венца в тот же вечер и призналась и очень чувствительно извинения просила, чрез лужу, говорит, в молодых годах однажды перескочила и ножку тем повредила, хи-хи!..

Калганов так и залился самым детским смехом и почти упал на диван. Рассмеялась и Грушенька. Митя же был наверху счастья.

— Знаете, знаете, это он теперь уже вправду, это он теперь не лжет! — восклицал, обращаясь к Мите, Калганов. — И знаете,

он ведь два раза был женат, — это он про первую жену говорит, — а вторая жена его, знаете, сбежала и жива до сих пор, знаете вы это?

— Неужто? — быстро повернулся к Максиму Митя, выразив необыкновенное изумление в лице.

— Да-с, сбежала-с, я имел эту неприятность, — скромно подтвердил Максимов. — С одним мусью-с. А главное, всю деревушку мою перво-наперво на одну себя предварительно отписала. Ты, говорит, человек образованный, ты и сам найдешь себе кусок. С тем и посадила. Мне раз один почтенный архиерей и заметил: у тебя одна супруга была хромая, а другая уж чресчур легконогая, хи-хи!

— Послушайте, послушайте! — так и кипел Калганов, — если он и лжет, — а он часто лжет, — то он лжет единственно, чтобы доставить всем удовольствие: это ведь не подло, не подло? Знаете, я люблю его иногда. Он очень подл, но он натурально подл, а? Как вы думаете? Другой подличает из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить, а он просто, он от природы... Вообразите, например, он претендует (вчера всю дорогу спорил), что Гоголь в «Мертвых душах» это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек Ноздрев и был предан суду: «за нанесение помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде» — ну помните? Так что ж, представьте, он претендует, что это он и был и что это его высекли! Ну может ли это быть? Чичиков ездил, самое позднее, в двадцатых годах, в начале, так что совсем годы не сходятся. Не могли его тогда высесть. Ведь не могли, не могли?

Трудно было представить, из-за чего так горячился Калганов, но горячился он искренно. Митя беззаветно входил в его интересы.

— Ну, да ведь коли высекли! — крикнул он, хохоча.

— Не то чтобы высекли-с, а так, — вставил вдруг Максимов.

— Как так? Или высекли, или нет?

— Ктура godzina, пане? (Который час?) — обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле. Тот вскинул в ответ плечами: часов у них у обоих не было.

— Отчего не поговорить? Дайте и другим говорить. Коли вам скучно, так другие и не говори, — вскинулась опять Грушенька, видимо нарочно привязываясь. У Мити как бы в первый раз что-то промелькнуло в уме. На этот раз пан ответил уже с видимою раздражительностью:

— Пани, я ниц не мувен против, ниц не поведзялем. (Я не противоречу, я ничего не сказал.)

— Ну да хорошо, а ты рассказывай, — крикнула Грушенька Максиму. — Что ж вы все замолчали?

— Да тут и рассказывать-то нечего-с, потому все это одни глупости, — подхватил тотчас Максимов с видимым удовольствием и капельку жеманясь, — да и у Гоголя все это только в виде аллегорическом, потому что все фамилии поставил аллегорические: Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников — это уже совсем даже и не похоже, потому что он был Шкворнев. А Фенарди действительно был Фенарди, только не итальянец, а русский, Петров-с, и мамзель Фенарди была хорошенькая-с, и ножки в трико, хорошенькие-с, юпочка коротенькая в блестках, и это она вертелась, да только не четыре часа, а всего только четыре минутки-с... и всех обольстила...

— Да за что высекли-то, высекли-то тебя за что? — вопил Калганов.

— За Пирона-с, — ответил Максимов.

— За какого Пирона? — крикнул Митя.

— За французского известного писателя, Пирона-с. Мы тогда все вино пили в большом обществе, в трактире, на этой самой ярмарке. Они меня и пригласили, а я перво-наперво стал эпитаграммы говорить: «Ты ль это, Буало, какой смешной наряд». А Буало-то отвечает, что он в маскарад собирается, то есть в баню-с, хи-хи, они и приняли на свой счет. А я поскорее другую сказал, очень известную всем образованным людям, едкую-с:

Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю,  
Но, к моему ты горю,  
Пути не знаешь к морю.

Они еще пуще обиделись и начали меня неприлично за это ругать, а я как раз, на беду себе, чтобы поправить обстоятельства, тут и рассказал очень образованный анекдот про Пирона, как его не приняли во французскую академию, а он, чтоб отмстить, написал свою эпитафию для надгробного камня:

Ci-git Piron qui ne fut rien  
Pas même académicien<sup>1</sup>.

Они взяли да меня и высекли.

— Да за что же, за что?

— За образование мое. Мало ли из-за чего люди могут человека высесть, — кротко и нравоучительно заключил Максимов.

— Э, полно, скверно все это, не хочу слушать, я думала, что веселое будет, — оборвала вдруг Грушенька.

<sup>1</sup> Здесь покоится Пирон, который был никем, даже не академиком (фр.).

Митя всполохнулся и тотчас же перестал смеяться. Высокий пан поднялся с места и с высокомерным видом скучающего не в своей компании человека начал шагать по комнате из угла в угол, заложив за спину руки.

— Ишь зашагал! — презрительно поглядела на него Грушенька. Митя забеспокоился, к тому же заметил, что пан на диване с раздражительным видом поглядывает на него.

— Пан, — крикнул Митя, — выпьем, пане! И с другим паном тоже: выпьем, панове! — Он мигом сдвинул три стакана и разлил в них шампанское.

— За Польшу, панове, пью за вашу Польшу, за польский край! — воскликнул Митя.

— Бардзо ми то мило, пане, выпьем (это мне очень приятно, пане, выпьем), — важно и благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан.

— И другой пан, как его, эй, ясневельможный, бери стакан! — хлопотал Митя.

— Пан Врублевский, — подсказал пан на диване.

Пан Врублевский, раскачиваясь, подошел к столу и стоя принял свой стакан.

— За Польшу, панове, ура! — прокричал Митя, подняв стакан.

Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.

— Теперь за Россию, панове, и побратаемся!

— Налей и нам, — сказала Грушенька, — за Россию и я хочу пить.

— И я, — сказал Калганов.

— Да и я бы тоже-с... за Россеюшку, старую бабусеньку, — подхихикнул Максимов.

— Все, все! — восклицал Митя. — Хозяин, еще бутылок!

Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил.

— За Россию, ура! — провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих. — Как же вы, панове? — воскликнул Митя. — Так вы так-то?

Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:

— За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!

— Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) — крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.

— Дурачы же вы, панове! — сорвалось вдруг у Мити.

— Па-не!! — прокричали оба пана с угрозой, наставившись на Митю, как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский.

— Але не можно не мець слабосьци до своего краю? — возгласил он. (Разве можно не любить своей стороны?)

— Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор! — крикнула повелительно Грушенька и стукнула ножкой об пол. Лицо ее загорелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. Митя страшно испугался.

— Панове, простите! Это я виноват, я не буду. Врублевский, пан Врублевский, я не буду!..

— Да молчи хоть ты-то, садись, экой глупый! — со злобною досадою огрызнулась на него Грушенька.

Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга.

— Господа, всему я причиной! — начал опять Митя, ничего не понимавший в возгласе Грушеньки. — Ну, чего же мы сидим? Ну, чем же нам заняться... чтобы было весело, опять весело?

— Ах, в самом деле ужасно невесело, — лениво проямлил Калганов.

— В банчик бы-с сыграть-с, как давеча... — хихикнул вдруг Максимов.

— Банк? Великолепно! — подхватил Митя, — если только панове...

— Пузьно, пане! — как бы нехотя отозвался пан на диване...

— То правда, — поддакнул и пан Врублевский.

— Пузьно? Это что такое пузьно? — спросила Грушенька.

— То значи поздно, пани, поздно, час поздний, — разъяснил пан на диване.

— И всё-то им поздно, и всё-то им нельзя! — почти взвизгнула в досаде Грушенька. — Сами скучные сидят, так и другим чтобы скучно было. Пред тобой, Митя, они всё вот этак молчали и надо мной фуфырились...

— Богиня моя! — крикнул пан на диване, — цо мувишь, то сень стане. Видзен неласкен, и естем смутны. (Вижу нерасположение, оттого я и печальный.) Естем готув (я готов), пане, — закончил он, обращаясь к Мите.

— Начинай, пане! — подхватил Митя, выхватывая из кармана свои кредитки и выкладывая из них две сторублевых на стол. — Я тебе много, пан, хочу проиграть. Бери карты, закладывай банк!

— Карты чтоб от хозяина, пане, — настойчиво и серьезно произнес маленький пан.

— То najlepши спосуб (самый лучший способ), — поддакнул пан Врублевский.

— От хозяина? Хорошо, понимаю, пусть от хозяина, это вы хорошо, панове! Карты! — скомандовал Митя хозяину.

Хозяин принес нераспечатанную игру карт и объявил Мите, что уж собираются девки, жидки с цимбалами придут тоже, вероятно, скоро, а что тройка с припасами еще не успела прибыть. Митя выскочил из-за стола и побежал в соседнюю комнату сейчас же распорядиться. Но девок всего пришло только три, да и Марьи еще не было. Да и сам он не знал, как ему распорядиться и зачем он выбежал: велел только достать из ящика гостинцев, леденцов и тягушек и оделить девок. «Да Андрею водки, водки Андрею! — приказал он наскоро, — я обидел Андрея!» Тут его вдруг тронул за плечо прибежавший вслед за ним Максимов.

— Дайте мне пять рублей, — прошептал он Мите, — я бы тоже в банчик рискнул, хи-хи!

— Прекрасно, великолепно! Берите десять, вот! — Он вытащил опять все кредитки из кармана и отыскал десять рублей. — А проиграешь, еще приходи, еще приходи...

— Хорошо-с, — радостно прошептал Максимов и побежал в залу. Воротился тотчас и Митя и извинился, что заставил ждать себя. Паны уже уселись и распечатали игру. Смотрели же гораздо приветливее, почти ласково. Пан на диване закурил новую трубку и приготовился метать; в лице его изобразилась даже некая торжественность.

— На мейсца, панове! — провозгласил пан Врублевский.

— Нет, я не стану больше играть, — отозвался Калганов, — я давеча уж им проиграл пятьдесят рублей.

— Пан был нещенсливый, пан может быть опять щенсливым, — заметил в его сторону пан на диване.

— Сколько в банке? Ответный? — горячился Митя.

— Слухам, пане, может сто, може двесьце, сколько ставить будешь.

— Миллион! — захохотал Митя.

— Пан капитан, может, слышал про пана Подвысоцкого?

— Какого Подвысоцкого?

— В Варшаве банк ответный ставит кто идет. Приходит Подвысоцкий, видит тысьенц золотых, ставит: ва-банк. Банкер муви: «Пане Подвысоцки, ставишь злото чи на го́нор?» — «На го́нор, пане», — муви Подвысоцкий. «Тем лепей, пане». Банкер мечет талью, Подвысоцкий берет тысьенц золотых. «Почекай, пане, — муви банкер, вынул ящик и дает миллион, — бери, пане, ото есть твой рахунок» (вот твой счет)! Банк был миллионным. «Я не знал того», — муви Подвысоцкий. «Пане Подвысоцки, — муви банкер, — ты ставилэсь на го́нор, и мы на го́нор». Подвысоцкий взял миллион.

— Это неправда, — сказал Калганов.

— Пане Калганов, в шляхетной компании так мувиць не пржистио (в порядочном обществе так не говорят).



— Так и отдаст тебе польский игрок миллион! — воскликнул Митя, но тотчас спохватился. — Прости, пане, виновен, вновь виновен, отдаст, отдаст миллион, на гонор, на польску честь! Видишь, как я говорю по-польски, ха-ха! Вот ставлю десять рублей, идет — валет.

— А я рублик на дамочку, на червонную, на хорошенькую, на паненочку, хи-хи! — прохихикал Максимов, выдвинув свою даму и как бы желая скрыть ото всех, придвинулся вплоть к столу и наско-ро перекрестился под столом. Митя выиграл. Выиграл и рублик.

— Угол! — крикнул Митя.

— А я опять рублик, я семпелчком, я маленьким, маленьким семпелчком, — блаженно бормотал Максимов в страшной радости, что выиграл рублик.

— Бита! — крикнул Митя. — Семерку на *пе!*

Убили и на *пе.*

— Перестаньте, — сказал вдруг Калганов.

— На *пе*, на *пе*, — удваивал ставки Митя, и что ни ставил на *пе* — все убивалось. А рублики выигрывали.

— На *пе!* — рявкнул в ярости Митя.

— Двесьце проиграл, пане. Еще ставишь двесьце? — осведомился пан на диване.

— Как, двести уж проиграл? Так еще двести! Все двести на *пе!* — И, выхватив из кармана деньги, Митя бросил было двести рублей на даму, как вдруг Калганов накрыл ее рукой.

— Довольно! — крикнул он своим звонким голосом.

— Что вы это? — уставился на него Митя.

— Довольно, не хочу! Не будете больше играть.

— Почему?

— А потому. Плюньте и уйдите, вот почему. Не дам больше играть!

Митя глядел на него в изумлении.

— Брось, Митя, он, может, правду говорит; и без того много проиграл, — со странною ноткой в голосе произнесла и Грушенька. Оба пана вдруг поднялись с места со страшно обиженным видом.

— Жартуешь (шутить), пане? — проговорил маленький пан, строго осматривая Калганова.

— Як сен поважашь то робиць, пане! (Как вы смеете это делать!) — рявкнул на Калганова и пан Врублевский.

— Не сметь, не сметь кричать! — крикнула Грушенька. — Ах, петухи индейские!

Митя смотрел на них на всех поочередно; но что-то вдруг поразило его в лице Грушеньки, и в тот же миг что-то совсем новое промелькнуло и в уме его — странная новая мысль!

— Пани Агриппина! — начал было маленький пан, весь красный от задора, как вдруг Митя, подойдя к нему, хлопнул его по плечу.

— Ясневельможный, на два слова.

— Чего хцешь, пане? (Что угодно?)

— В ту комнату, в тот покой, два словечка скажу тебе хороших, самых лучших, останешься доволен.

Маленький пан удивился и опасливо поглядел на Митю. Тотчас же, однако, согласился, но с неперменным условием, чтобы шел с ним и пан Врублевский.

— Телохранитель-то? Пусть и он, и его надо! Его даже непременно! — воскликнул Митя. — Марш, панове!

— Куда это вы? — тревожно спросила Грушенька.

— В один миг вернемся, — ответил Митя. Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его; совсем не с тем лицом вошел он час назад в эту комнату. Он провел панов в комнатку направо, не в ту, в большую, в которой собирался хор девок и накрывался стол, а в спальную, в которой помещались сундуки, укладки и две большие кровати с ситцевыми подушками горой на каждой. Тут на маленьком тесовом столике в самом углу горела свечка. Пан и Митя расположились у этого столика друг против друга, а огромный пан Врублевский сбоку их, заложив руки за спину. Паны смотрели строго, но с видимым любопытством.

— Чем моген служиць пану? — пролепетал маленький пан.

— А вот чем, пане, я много говорить не буду: вот тебе деньги, — он вытащил свои кредитки, — хочешь три тысячи, бери и уезжай куда знаешь.

Пан смотрел пытливо, во все глаза, так и впился взглядом в лицо Мити.

— Тржи тысёнцы, пане? — Он переглянулся с Врублевским.

— Тржи, панове, тржи! Слушай, пане, вижу, что ты человек разумный. Бери три тысячи и убирайся ко всем чертям, да и Врублевского с собой захвати — слышишь это? Но сейчас же, сию же минуту, и это навеки, понимаешь, пане, навеки вот в эту самую дверь и выйдешь. У тебя что там: пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду тройку тебе заложат и — до видзенья, пане! А?

Митя уверенно ждал ответа. Он не сомневался. Нечто чрезвычайно решительное мелькнуло в лице пана.

— А рубли, пане?

— Рубли-то, вот как, пане: пятьсот рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток, а две тысячи пятьсот завтра в городе — честью клянусь, будут, достану из-под земли! — крикнул Митя.

Поляки переглянулись опять. Лицо пана стало изменяться к худшему.

— Семьсот, семьсот, а не пятьсот, сейчас, сию минуту в руки! — надбавил Митя, почувствовав нечто нехорошее. — Чего ты, пан? Не веришь? Не все же три тысячи дать тебе сразу. Я дам, а ты и воротишься к ней завтра же... Да теперь и нет у меня всех трех тысяч, у меня в городе дома лежат, — лепетал Митя, труся и падая духом с каждым своим словом, — ей-богу, лежат, спрятаны...

В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького пана.

— Чи не потшебуешь еще чего? — спросил он иронически. — Пфе! А пфе! (стыд, срам!) — И он плюнул. Плюнул и пан Врублевский.

— Это ты оттого плюешься, пане, — проговорил Митя как отчаянный, поняв, что все кончилось, — оттого, что от Грушеньки думаешь больше тяпнуть. Каплуны вы оба, вот что!

— Естем до живого доткнентным! (Я оскорблен до последней степени!) — раскраснелся вдруг маленький пан как рак и живо, в страшном негодовании, как бы не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. За ним, раскачиваясь, последовал и Врублевский, а за ними уж и Митя, сконфуженный и опешенный. Он боялся Грушеньки, он предчувствовал, что пан сейчас раскричится. Так и случилось. Пан вошел в залу и театрально встал пред Грушенькой.

— Пани Агриппина, естем до живого доткнентным! — воскликнул было он, но Грушенька как бы вдруг потеряла всякое терпение, точно тронули ее по самому больному месту.

— По-русски, говори по-русски, чтобы ни одного слова польского не было! — закричала она на него. — Говорил же прежде по-русски, неужели забыл в пять лет! — Она вся покраснела от гнева.

— Пани Агриппина...

— Я Аграфена, я Грушенька, говори по-русски или слушать не хочу!

Пан запыхтел от гонора и, ломая русскую речь, быстро и напыщенно произнес:

— Пани Аграфена, я пшиехал забыть старое и простить его, забыть, что было допрежь сегодня...

— Как простить? Это меня-то ты приехал простить? — перебила Грушенька и вскочила с места.

— Так есть, пани (точно так, пани), я не малодушны, я великодушны. Но я быдем здзивёны (был удивлен), когда видел твоих любовников. Пан Митя в том покое давал мне тржи тысьёнцы, чтоб я отбыл. Я плюнул пану в физию.

— Как? Он тебе деньги за меня давал? — истерически вскричала Грушенька. — Правда, Митя? Да как ты смел! Разве я продажная?

— Пане, пане, — возопил Митя, — она чиста и сияет, и никогда я не был ее любовником! Это ты соврал...

— Как смеешь ты меня пред ним защищать. — вопила Грушенька, — не из добродетели я чиста была и не потому, что Кузьмы боялась, а чтобы пред ним гордой быть и чтобы право иметь ему подлеца сказать, когда встречу. Да неужто ж он с тебя денег не взял?

— Да брал же, брал! — воскликнул Митя, — да только все три тысячи разом захотел, а я всего семьсот задатку давал.

— Ну и понятно: прослышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться!

— Пани Агриппина, — закричал пан, — я рыцарь, я шляхтич, а не лайдак! Я пшибыл взять тебя в супругу, а вижу нову пани, не ту, что прежде, а упарту и без встыду (своенравную и бесстыдную).

— А и убирайся откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать, и прогонят! — крикнула в испугении Грушенька. — Дура, дура была я, что пять лет себя мучила! Да и не за него себя мучила вовсе, я со злобы себя мучила! Да и не он это вовсе! Разве он был такой? Это отец его какой-то! Это где ты парик-то себе заказал? Тот был сокол, а это селезень. Тот смеялся и мне песни пел... А я-то, я-то пять лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая!

Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собравшихся наконец мокринских девок — залихватская плясовая песня.

— То есть содом! — взревел вдруг пан Врублевский. — Хозяин, прогони бесстыжих!

Хозяин, который давно уже с любопытством заглядывал в дверь, слыша крик и чуя, что гости перессорились, тотчас явился в комнату.

— Ты чего кричишь, глотку рвешь? — обратился он к Врублевскому с какою-то непонятною даже невежливостью.

— Скотина! — заорал было пан Врублевский.

— Скотина? А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал! Ты в поддельные карты играл! Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать, знаешь ты это, потому оно все одно что бумажки поддельные... — И, подойдя к дивану, он засунул пальцы между спинкой и подушкой дивана и вытащил оттуда нераспечатанную колоду карт. — Вот она моя колода, не распечатана! — Он поднял ее и показал всем кругом. — Я ведь видел оттелева, как он мою колоду сунул в щель, а своей подменил, — шильник ты этакой, а не пан!

— А я видел, как тот пан два раза передернул, — крикнул Калганов.

— Ах, как стыдно, ах, как стыдно! — воскликнула Грушенька, сплеснув руками, и воистину покраснела от стыда. — Господи, экой, экой стал человек!

— И я это думал, — крикнул Митя. Но не успел он это выговорить, как пан Врублевский, сконфуженный и взбешенный, обратясь ко Грушеньке и грозя ей кулаком, закричал:

— Публична шельма! — Но не успел он и воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил их обоих.

— Я его там на пол положил! — возвестил он, тотчас же возвратившись и задыхаясь от волнения, — дерется, каналья, небось не придет оттуда!.. — Он запер одну половинку двери и, держа настежь другую, воскликнул к маленькому пану: — Ясневельможный, не угодно ли туда же? Пшепрашам!

— Батюшка, Митрий Федорович, — возгласил Трифон Борисыч, — да отбери ты у них деньги-то, то, что им проиграл! Ведь все равно что воровством с тебя взяли.

— Я свои пятьдесят рублей не хочу отбирать, — отозвался вдруг Калганов.

— И я свои двести, и я не хочу! — воскликнул Митя, — ни за что не отберу, пусть ему в утешенье останутся.

— Славно, Митя! Молодец, Митя! — крикнула Грушенька, и страшно злобная нотка прозвенела в ее восклицании. Маленький пан, багровый от ярости, но несколько не потерявший своей сновитости, направился было к двери, но остановился и вдруг проговорил, обращаясь ко Грушеньке:

— Пани, ежели хцешь исьць за мною, идзьмы, если не — бывай здрава! (Пани, если хочешь идти за мной — пойдем, а если нет — то прощай!)

И важно, пыхтя от негодования и амбиции, прошел в дверь. Человек был с характером: он еще после всего происшедшего не терял надежды, что пани пойдет за ним, — до того ценил себя. Митя прихлопнул за ним дверь.

— Заприте их на ключ, — сказал Калганов. Но замок щелкнул с их стороны, они заперлись сами.

— Славно! — злобно и беспощадно крикнула опять Грушенька. — Славно! Туда и дорога!

## VIII

### БРЕД

Началась почти оргия, пир на весь мир. Грушенька закричала первая, чтоб ей дали вина: «Пить хочу, совсем пьяная хочу напиться, чтобы как прежде, помнишь, Митя, помнишь, как мы здесь тогда спознавались!» Сам же Митя был как в бреду и предчувство-

вал «свое счастье». Грушенька его, впрочем, от себя беспрерывно отгоняла: «Ступай, веселись, скажи им, чтобы плясали, чтобы все веселились, “ходи изба, ходи печь”, как тогда, как тогда!» — продолжала она восклицать. Была она ужасно возбуждена. И Митя бросался распоряжаться. Хор собрался в соседней комнате. Та же комната, в которой до сих пор сидели, была к тому же и тесна, разгорожена надвое ситцевою занавеской, за которою опять-таки помещалась огромная кровать с пухлою периной и с такими же ситцевыми подушками горкой. Да и во всех четырех «чистых» комнатах этого дома везде были кровати. Грушенька расположилась в самых дверях, Митя ей принес сюда кресло: так же точно сидела она и «тогда», в день их первого здесь кутежа, и смотрела отсюда на хор и на пляску. Девки собрались все тогдашние же; жидки со скрипками и цитрами тоже прибыли, а наконец-то прибыл и столь ожидаемый воз на тройке с винами и припасами. Митя суетился. В комнату входили глядеть и посторонние, мужики и бабы, уже спавшие, но пробудившиеся и почуявшие небывалое угощение, как и месяц назад. Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки и наливал всем кому попало. На шампанское зарились очень только девки, мужикам же нравился больше ром и коньяк и особенно горячий пунш. Митя распорядился, чтобы был сварен шоколат на всех девок и чтобы не переводились всю ночь и кипели три самовара для чаю и пунша на всякого проходящего: кто хочет, пусть и угощается. Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое, но Митя был как бы в своем родном элементе, и чем нелепее все становилось, тем больше он оживлялся духом. Попроси у него какой-нибудь мужик в те минуты денег, он тотчас же вытащил бы всю свою пачку и стал бы раздавать направо и налево без счету. Вот почему, вероятно, чтоб уберечь Митю, сновал кругом его почти безотлучно хозяин, Трифон Борисыч, совсем уж кажется раздумавший ложиться спать в эту ночь, пивший, однако, мало (все-го только выкушал один стаканчик пунша) и зорко наблюдавший по-своему за интересами Мити. В нужные минуты он ласково и подобоострастно останавливал его и уговаривал, не давал ему оделять, как «тогда», мужиков «цигарками и ренским вином» и, боже сохрани, деньгами, и очень негодовал на то, что девки пьют ликер и едят конфеты. «Вшивость лишь одна, Митрий Федорович, — говорил он, — я их коленком всякую напинаю, да еще за честь почитать прикажу — вот они какие!» Митя еще раз вспомнул про Андрея и велел послать ему пуншу. «Я его давеча обидел», — повторял он ослабевшим и умиленным голосом. Калганов не хотел было пить, и хор девок ему сначала не понравился очень, но, вы-

пив еще бокала два шампанского, страшно развеселился, шагал по комнатам, смеялся и всё и всех хвалил, и песни и музыку. Максимов, блаженный и пьяненький, не покидал его. Грушенька, тоже начинавшая хмелеть, указывала на Калганова Мите: «Какой он миленький, какой чудесный мальчик!» И Митя с восторгом бежал целоваться с Калгановым и Максимовым. О, он многое предчувствовал: ничего еще она ему не сказала такого и даже видимо нарочно задерживала сказать, изредка только поглядывая на него ласковым, но горячим глазком. Наконец она вдруг схватила его крепко за руку и с силой притянула к себе. Сама она сидела тогда в креслах у дверей.

— Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то!.. я так испугалась. Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел?

— Счастья твоего губить не хотел! — в блаженстве лепетал ей Митя. Но ей и не надо было его ответа.

— Ну, ступай... веселись, — отгоняла она его опять, — да не плачь, опять позову.

И он убегал, а она принималась опять слушать песни и глядеть на пляску, следя за ним взглядом, где бы он ни был, но через четверть часа опять подзывала его, и он опять прибегал.

— Ну, садись теперь подле, рассказывай, как ты вчера обо мне услышал, что я сюда поехала; от кого от первого узнал?

И Митя начинал все рассказывать, бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно, однако же, рассказывал, часто вдруг хмурил брови и обрывался.

— Чего ты хмуришься-то? — спрашивала она.

— Ничего... одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет, десять бы лет сейчас моих отдал!

— Ну, бог с ним, коли больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя, экой глупый, да из за чего? Я вот этаких, как ты, безрассудных люблю, — лепетала она ему немного отяжелевшим языком. — Так ты для меня на все пойдешь? А? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться! Нет, погоди пока, завтра я тебе, может, одно словечко скажу... не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, я сегодня не хочу... Ну ступай, ступай теперь, веселись.

Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно.

— Чего тебе грустно? Я вижу, тебе грустно... Нет, уж я вижу, — прибавила она, зорко вглядываясь в его глаза. — Хоть ты там и целуешься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу. Нет, ты веселись, я весела, и ты веселись... Я кого-то здесь люблю, угадай кого?.. Ай, посмотри: мальчик-то мой заснул, охмелел, сердечный.

Она говорила про Калганова: тот действительно охмелел и заснул на мгновение, сидя на диване. И не от одного хмеля заснул,

ему стало вдруг отчего-то грустно или, как он говорил, «скучно». Сильно обескуражили его под конец и песни девок, начинавшие переходить, постепенно с попойкой, в нечто слишком уже скоромное и разнузданное. Да и пляски их тоже: две девки переоделись в медведей, а Степанида, бойкая девка с палкой в руке, представляя жожака, стала их «показывать». «Веселей, Марья, — кричала она, — не то палкой!» Медведи наконец повалились на пол как-то совсем уж неприлично, при громком хохоте набравшейся не в прорез всякой публики баб и мужиков. «Ну и пусть их, ну и пусть их, — говорила сентенциозно Грушенька с блаженным видом в лице, — кой-то денек выйдет им повеселиться, так и не радоваться людям?» Калганов же смотрел так, как будто чем запачкался. «Свинство это все, эта вся народность, — заметил он, отходя, — это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь». Но особенно не понравилась ему одна «новая» песенка с бойким плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал:

Барин девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но девкам показалось, что нельзя любить барина:

Барин будет больно бить,  
А я его не любить.

Ехал потом цыган (произносилось цыган), и этот тоже,

Цыган девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но и цыгана нельзя любить:

Цыган будет воровать,  
А я буду горевать.

И много проехало так людей, которые пытали девушек, даже солдат:

Солдат девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но солдата с презрением отвергли:

Солдат будет ранец несть,  
А я за ним...

Тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый совершенно откровенно и произведший фурор в слушавшей публике. Кончилось наконец дело на купце:



Купчик девушек пытал,  
Девки любят али нет?

И оказалось, что очень любят, потому, дескать, что

Купчик будет торговать,  
А я буду царевать.

Калганов даже озлился:

— Это совсем вчерашняя песня, — заметил он вслух, — и кто это им сочиняет! Недостает, чтобы железнодорожник аль жид проехали и девушек пытали: эти всех бы победили. — И, почти обидевшись, он тут же и объявил, что ему скучно, сел на диван и вдруг задремал. Хорошенькое личико его несколько побледнело и откинулось на подушку дивана.

— Посмотри, какой он хорошенький, — говорила Грушенька, подводя к нему Митю, — я ему давеча головку расчесывала; волоски точно лен и густые...

И, нагнувшись над ним в умилении, она поцеловала его лоб. Калганов в один миг открыл глаза, взглянул на нее, привстал и с самым озабоченным видом спросил: где Максимов?

— Вот ему кого надо, — засмеялась Грушенька, — да посиди со мной минутку. Митя, сбегай за его Максимовым.

Оказалось, что Максимов уж и не отходил от девок, изредка только отбегал налить себе ликерчику, шоколату же выпил две чашки. Личико его раскраснелось, а нос побагровел, глаза стали влажные, сладостные. Он подбежал и объявил, что сейчас «под один мотивчик» хочет протанцевать танец саботьеру.

— Меня ведь маленького всем этим благовоспитанным светским танцам обучали-с...

— Ну ступай, ступай с ним, Митя, а я отсюда посмотрю, как он там танцевать будет.

— Нет, и я, и я пойду смотреть, — воскликнул Калганов, самым наивным образом отвергая предложение Грушеньки посидеть с ним. И все направились смотреть. Максимов действительно свой танец протанцевал, но, кроме Мити, почти ни в ком не произвел особенного восхищения. Весь танец состоял в каких-то подпрыгиваниях с вывертыванием в стороны ног, подошвами кверху, и с каждым прыжком Максимов ударял ладонью по подошве. Калганову совсем не понравилось, а Митя даже облобызал танцора.

— Ну, спасибо, устал, может, что глядишь сюда: конфетку хочешь, а? Цигарочку, может, хочешь?

— Папирочку-с.

— Выпить не хочешь ли?

— Я тут ликерцу-с... А шоколатных конфеточек у вас нет-с?

— Да вот на столе целый воз, выбирай любую, голубиная ты душа!

— Нет с, я такую-с, чтобы с ванилью... для старичков-с... Хи-хи!

— Нет, брат, таких особенных нет.

— Послушайте! — нагнулся вдруг старичок к самому уху Мити, — эта вот девочка-с, Марьюшка-с, хи-хи, как бы мне, если бы можно, с нею познакомиться, по доброте вашей...

— Ишь ты чего захотел! Нет, брат, врешь.

— Я никому ведь зла не делаю-с, — уныло прошептал Максимов.

— Ну, хорошо, хорошо. Здесь, брат, только поют и пляшут, а впрочем, черт! Подожди... Кушай пока, ешь, пей, веселись. Денег не надо ли?

— Потом бы разве-с, — улыбнулся Максимов.

— Хорошо, хорошо...

Голова горела у Мити. Он вышел в сени на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри, со двора, часть всего строения. Свежий воздух оживил его. Он стоял один, в темноте, в углу, и вдруг схватил себя обеими руками за голову. Разбросанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воедино, и все дало свет. Страшный, ужасный свет! «Вот если застрелиться, так когда же, как не теперь? — пронеслось в уме его. — Сходить за пистолетом, принести его сюда и вот в этом самом, грязном и темном углу и покончить». Почти с минуту он стоял в нерешимости. Давеча, как летел сюда, сзади него стоял позор, совершенное, содеянное уже им воровство и эта кровь, кровь!.. Но тогда было легче, о, легче! Ведь уж все тогда было покончено: ее он потерял, уступил, она погибла для него, исчезла — о, приговор тогда был легче ему, по крайней мере, казался неминуемым, необходимым, ибо для чего же было оставаться на свете? А теперь! Теперь разве то, что тогда? Теперь с одним, по крайней мере, привидением, страшилищем, покончено: этот ее «прежний», ее бесспорный, фатальный человек этот исчез, не оставив следа. Страшное привидение обратилось вдруг во что-то такое маленькое, такое комическое; его снесли руками в спальню и заперли на ключ. Оно никогда не воротится. Ей стыдно, и из глаз ее он уже видит теперь ясно, кого она любит. Ну, вот теперь бы только и жить и... и нельзя жить, нельзя, о, проклятие! «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную чашу мимо меня! Ведь делал же ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я! Ну что, ну что, если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу, я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли... Следов позора

не останется, кроме как в сердце моем навеки! Но нет, нет, о, невозможные малодушные мечты! О, проклятие!»

Но все же как бы луч какой-то светлой надежды блеснул ему во тьме. Он сорвался с места и бросился в комнаты — к ней, к ней опять, к царице его навеки! «Да неужели один час, одна минута ее любви не стоят всей остальной жизни, хотя бы и в муках позора?» Этот дикий вопрос захватил его сердце. «К ней, к ней одной, ее видеть, слушать и ни о чем не думать, обо всем забыть, хотя бы только на эту ночь, на час, на мгновение!» Пред самым входом в сени, еще на галерейке, он столкнулся с хозяином Трифоном Борисычем. Тот что-то показался ему мрачным и озабоченным и, кажется, шел его разыскивать.

— Что ты, Борисыч, не меня ли искал?

— Нет-с, не вас, — как бы опешил вдруг хозяин, — зачем мне вас разыскивать? А вы... где были-с?

— Что ты такой скучный? Не сердись ли? Погоди, скоро спать пойдешь... Который час-то?

— Да уж три часа будет. Надо быть, даже четвертый.

— Кончим, кончим.

— Помилуйте, ничего-с. Даже сколько угодно-с...

«Что с ним?» — мельком подумал Митя и вбежал в комнату, где плясали девки. Но ее там не было. В голубой комнате тоже не было; один лишь Калганов дремал на диване. Митя глянул за занавесы — она была там. Она сидела в углу, на сундуке, и, склонившись с руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрадывая голос, чтобы не услышали. Увидав Митю, она поманила его к себе и, когда тот подбежал, крепко схватила его за руку.

— Митя, Митя, я ведь любила его! — начала она ему шепотом, — так любила его, все пять лет, все, все это время! Его ли любила али только злобу мою? Нет, его! ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его! Митя, ведь я была всего семнадцати лет тогда, он тогда был такой со мной ласковый, такой развеселый, мне песни пел... Или уж показался тогда таким дуре мне, девчонке... А теперь, господи, да это не тот, совсем и не он. Да и лицом не он, не он вовсе. Я и с лица его не узнала. Ехала я сюда с Тимофеем и все-то думала, всю дорогу думала: «Как встречу его, что-то скажу, как глядеть-то мы друг на друга будем?..» Вся душа замирала, и вот он меня тут точно из шайки помоями окатил. Точно учитель говорит: все такое ученое, важное, встретил так важно, так я и стала в тупик. Слова некуда вернуть. Я сначала думала, что он этого своего длинного поляка-то стыдится. Сижу смотрю на них и думаю: почему это я так ничего с ним говорить теперь не умею? Знаешь, это его жена испортила, вот на которой

он бросил меня тогда да женился... Это она его там переделала. Митя, стыд-то какой! Ох, стыдно мне, Митя, стыдно, ох, за всю жизнь мою стыдно! Прокляты, прокляты пусть будут эти пять лет, прокляты!

— И она опять залилась слезами, но Митину руку не выпускала, крепко держалась за нее.

— Митя, голубчик, постой, не уходи, я тебе одно словечко хочу сказать, — прошептала она и вдруг подняла к нему лицо. — Слушай, скажи ты мне, кого я люблю? Я здесь одного человека люблю. Который это человек? вот что скажи ты мне. — На распухшем от слез лице ее засветилась улыбка, глаза сияли в полутьме. — Вошел давеча один сокол, так сердце и упало во мне. «Дура ты, вот ведь кого ты любишь», — так сразу и шепнуло сердце. Вошел ты и все осветил. «Да чего он боится?» — думаю. А ведь ты забоялся, совсем забоялся, говорить не умел. Не их же, думаю, он боится, — разве ты кого испугаться можешь? Это меня он боится, думаю, только меня. Так ведь рассказала же тебе, дурачку, Феня, как я Алеше в окно прокричала, что любила часочек Митеньку, а теперь еду любить... другого. Митя, Митя, как это я могла, дура, подумать, что люблю другого после тебя! Прощаешь, Митя? Прощаешь меня или нет? Любишь? Любишь?

Она вскочила и схватила его обеими руками за плечи. Митя, немой от восторга, глядел ей в глаза, в лицо, на улыбку ее, и вдруг крепко обняв ее, бросился ее целовать.

— А простишь, что мучила? Я ведь со злобы всех вас измучила. Я ведь старикашку того нарочно со злобы с ума свела... Помнишь, как ты раз у меня пил и бокал разбил? Запомнила я это и сегодня тоже разбила бокал, за «подлое сердце мое» пила. Митя, сокол, что ж ты меня не целуешь? Раз поцеловал и оторвался, глядит, слушает... Что меня слушать! Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить так уж любить! Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь! Сладко рабой быть!.. Целуй! Прибей меня, мучай меня, сделай что надо мной... Ох, да и впрямь меня надо мучить... Стой! Подожди, потом, не хочу так... — оттолкнула она его вдруг. — Ступай прочь, Митька, пойду теперь вина напьюсь, пьяна хочу быть, сейчас пьяная плясать пойду, хочу, хочу!

Она вырвалась от него из-за занавесок. Митя вышел за ней как пьяный. «Да пусть же, пусть, что бы теперь ни случилось — за минуту одну весь мир отдам», — промелькнуло в его голове. Грушенька в самом деле выпила залпом еще стакан шампанского и очень вдруг охмелела. Она уселась в кресле, на прежнем месте, с блаженною улыбкой. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели, страстный взгляд манил. Даже Калганова как будто укусило что-то за сердце, и он подошел к ней.

— А ты слышал, как я тебя давеча поцеловала, когда ты спал? — пролепетала она ему. — Опьянела я теперь, вот что... А ты не опьянел? А Митя чего не пьет? Что ж ты не пьешь, Митя, я выпила, а ты не пьешь...

— Пьян! И так пьян... от тебя пьян, а теперь и от вина хочу. — Он выпил еще стакан и — странно это ему показалось самому — только от этого последнего стакана и охмелел, вдруг охмелел, а до тех пор все был трезв, сам помнил это. С этой минуты все завертелось кругом него как в бреду. Он ходил, смеялся, заговаривал со всеми, и все это как бы уж не помня себя. Одно лишь неподвижное и жгучее чувство сказывалось в нем поминутно, «точно горячий уголь в душе», — вспоминал он потом. Он подходил к ней, садился подле нее, глядел на нее, слушал ее... Она же стала ужасно как словоохотлива, всех к себе подзывала, манила вдруг к себе какую-нибудь девку из хора, та подходила, а она или целовала ее и отпускала, или иногда крестила ее рукой. Еще минутку, и она могла заплакать. Развеселял ее очень и «старикашка», как называла она Максимова. Он поминутно подбегал целовать у нее ручки «и всякий пальчик», а под конец проплясал еще один танец под одну старую песенку, которую сам же и пропел. В особенности с жаром подплясывал за припевом:

Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю,  
Телочка му-му, му-му,

Уточка ква-ква, ква-ква,  
Гусынька га-га, га-га.

Курочка по сенюшкам похаживала,  
Тюрю-рю, рю-рю, выговаривала,  
Ай, ай, выговаривала!

— Дай ему что-нибудь, Митя, — говорила Грушенька, — подай ему, ведь он бедный. Ах, бедные, обиженные!.. Знаешь, Митя, я в монастырь пойду. Нет, вправду, когда-нибудь пойду. Мне Алеша сегодня на всю жизнь слова сказал... Да... А сегодня уж пусть попляшем. Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила: «Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех». А я пойду прощения просить: «Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что». Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я, молиться хочется! Митя, пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие... Нет, скажите, и вас спрошу, все подойдите, и я спрошу: скажите вы мне все вот что:

почему я такая хорошая? Я ведь хорошая, я очень хорошая... Ну так вот: почему я такая хорошая? — Так лепетала Грушенька, хмелея все больше и больше, и наконец прямо объявила, что сейчас сама хочет плясать. Встала с кресел и пошатнулась. — Митя, не давай мне больше вина, просить буду — не давай. Вино спокойствия не дает. И все кружится, и печка, и все кружится. Плясать хочу. Пусть все смотрят, как я пляшу... как я хорошо и прекрасно пляшу...

Намерение было серьезное: она вынула из кармана беленький батистовый платочек и взяла его за кончик, в правую ручку, чтобы махать им в пляске. Митя захлопотал, девки затихли, приготовясь грянуть хором плясовую по первому мгновению. Максимов, узнав, что Грушенька хочет сама плясать, завизжал от восторга и пошел было пред ней подпрыгивать, припевая:

Ножки тонки, бока звонки,  
Хвостик закорючкой.

Но Грушенька махнула на него платочком и отогнала его:

— Ш-шь! Митя, что ж нейдут? Пусть все придут... смотреть. Позови и тех, запертых... За что ты их запер? Скажи им, что я пляшу, пусть и они смотрят, как я пляшу...

Митя с пьяным размахом подошел к запертой двери и начал стучать к панам кулаком.

— Эй, вы... Подвысоцкие! Выходите, она плясать хочет, вас зовет.

— Лайдак! — прокричал в ответ который-то из панов.

— А ты подлайдак! Мелкий ты подлечоночек; вот ты кто.

— Перестали бы вы над Польшей-то насмеяться, — сентенциозно заметил Калганов, тоже не под силу себе охмелевший.

— Молчи, мальчик! Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши. Молчи, хорошенький мальчик, конфетку кушай.

— Ах, какие! Точно они не люди. Чего они не хотят мириться? — сказала Грушенька и вышла плясать. Хор грянул: «Ах вы, сени мои, сени». Грушенька закинула было головку, полуоткрыла губки, улыбнулась, махнула было платочком и вдруг, сильно покачнувшись на месте, стала посреди комнаты в недоумении.

— Слаба... — проговорила она измученным каким-то голосом, — простите, слаба, не могу... Виновата...

Она поклонилась хору, затем принялась кланяться на все четыре стороны поочередно:

— Виновата... Простите...

— Подпила, барынька, подпила хорошенькая барынька, — раздавались голоса.

— Оне напились-с, — разъяснял, хихикая, девушкам Максимов.

— Митя, отведи меня... возьми меня, Митя, — в бессилии проговорила Грушенька. Митя кинулся к ней, схватил ее на руки и побежал со своею драгоценною добычей за занавески. «Ну, уж я теперь уйду», — подумал Калганов и, выйдя из голубой комнаты, притворил за собою обе половинки дверей. Но пир в зале гремел и продолжался, загремел еще пуше. Митя положил Грушеньку на кровать и впился в ее губы поцелуем.

— Не трогай меня... — молящим голосом пролепетала она ему, — не трогай, пока не твоя... Сказала, что твоя, а ты не трогай... пощади... При тех, подле тех нельзя. Он тут. Гнусно здесь...

— Послушен! Не мыслю... благоговею!.. — бормотал Митя. — Да, гнусно здесь, о, презренно. — И, не выпуская ее из объятий, он опустил ее подле кровати на пол, на колена.

— Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный, — тяжело выговаривала Грушенька, — надо, чтоб это честно... впредь будет честно... и чтоб и мы были честные, чтоб и мы были добрые, не звери, а добрые... Увези меня, увези далеко, слышишь... Я здесь не хочу, а чтобы далеко, далеко...

— О да, да, непременно! — сжимал ее в объятиях Митя, — увезу тебя, улетим... О, всю жизнь за один год отдам сейчас, чтобы только не знать про эту кровь!

— Какая кровь? — в недоумении переговорила Грушенька.

— Ничего! — проскрежетал Митя. — Груша, ты хочешь, чтобы честно, а я вор. Я у Катьки деньги украл... Позор, позор!

— У Катьки? Это у барышни? Нет, ты не украл. Отдай ей, у меня возьми... Что кричишь? Теперь все мое — твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим... Таковские чтобы не прокутили. А мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеша приказал. Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к барышне сходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси, а меня люби... А ее не люби. Больше ее не люби. А полюбишь, я ее задушу... Я ей оба глаза иголкой выколю...

— Тебя люблю, тебя одну, в Сибири буду любить...

— Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно... работать будем... в Сибири снег... Я по снегу люблю ехать... и чтобы колокольчик был... Слышишь, звенит колокольчик... Где это звенит колокольчик? Едут какие-то... вот и перестал звенеть.

Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головою к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил

и того, как вдруг перестали и песни, и на место песен и пьяного гама во всем доме воцарилась как бы внезапно мертвая тишина. Грушенька открыла глаза.

— Что это, я спала? Да... колокольчик... Я спала и сон видела: будто я еду, по снегу... колокольчик звенит, а я дремлю. С милым человеком, с тобою еду будто. И далеко-далеко... Обнимала-целовала тебя, прижималась к тебе, холодно будто мне, а снег-то блестит... Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где не на земле... Проснулась, а милый-то подле, как хорошо...

— Подле, — бормотал Митя, целуя ее платье, грудь, руки. И вдруг ему показалось что-то странное: показалось ему, что она глядит прямо перед собой, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг.

— Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам? — прошептала она вдруг. Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает. Да и не один как будто. Он вскочил и быстро ступил к смотревшему.

— Сюда, пожалуйста к нам сюда, — негромко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос.

Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий и дебелий старик, в пальто и с фуражкой с кокардой, — это исправник, Михаил Макарыч. А этот «чахоточный» опрятный щеголь, «всегда в таких вычищенных сапогах», — это товарищ прокурора. «У него хронометр в четыреста рублей есть, он показывал». А этот молодой, маленький, в очках... Митя вот только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел: это следовательно, судебный следователь, «из Правоведения», недавно приехал. А этот вот — становой, Маврикий Маврикич, этого-то уж он знает, знакомый человек. Ну а эти с бляхами, эти зачем же? И еще двое каких-то, мужики... А вот там в дверях Калганов и Трифон Борисыч...

— Господа... Что это вы, господа? — проговорил было Митя, но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам собой, воскликнул громко, во весь голос: — По-ни-маю!

Молодой человек в очках вдруг выдвинулся вперед и, подступив к Мите, начал хоть и осанисто, но немного как бы торопясь:

— Мы имеем к вам... одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда, к дивану... Существует настоятельная необходимость с вами объясниться.



— Старик! — вскричал Митя в исступлении, — старик и его кровь!.. По-ни-маю!

И как подкошенный сел, словно упал, на подле стоявший стул.

— Понимаешь? Понял! Отцеубийца и изверг, кровь старика отца твоего вопиет за тобою! — заревел внезапно, подступая к Мите, старик исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся.

— Но это невозможно! — вскричал маленький молодой человек. — Михаил Макарыч, Михаил Макарыч! Это не так, не так-с!.. Прошу позволить мне одному говорить... Я никак не мог предположить от вас подобного эпизода...

— Но ведь это же бред, господа, бред! — восклицал исправник, — посмотрите на него: ночью, пьяный, с беспутною девкой и в крови отца своего... Бред! бред!

— Я вас изо всех сил попрошу, голубчик Михаил Макарыч, на сей раз удержать ваши чувства, — зашептал было скороговоркой старику товарищ прокурора, — иначе я принужден буду принять...

Но маленький следователь не дал докончить; он обратился к Мите и твердо, громко и важно произнес:

— Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, Федора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь...

Он что-то и еще сказал, тоже и прокурор как будто что-то ввернул, но Митя хоть и слушал, но уже не понимал их. Он диким взглядом озирает их всех...



## Книга девятая

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

#### I

#### НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ЧИНОВНИКА ПЕРХОТИНА

Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие запертые ворота дома купчихи Морозовой, кончил, разумеется, тем, что наконец достучался. Заслышав такой неистовый стук в ворота, Феня, столь напуганная часа два назад и все еще от волнения и «думы» не решавшаяся лечь спать, была испугана теперь вновь почти до истерики: ей вообразилось, что стучится опять Дмитрий Федорович (несмотря на то, что сама же видела, как он уехал), потому что стучаться так «дерзко» никто не мог, кроме его. Она бросилась к проснувшемуся дворнику, уже шедшему на стук к воротам, и стала было молить его, чтобы не впускал. Но дворник опросил стучавшегося и, узнав, кто он и что хочет он видеть Федосью Марковну по весьма важному делу, отпереть ему наконец решился. Войдя к Федосье Марковне все в ту же кухню, причем «для сумления» она упросила Петра Ильича, чтобы позволил войти и дворнику, Петр Ильич начал ее расспрашивать и вмиг попал на самое главное: то есть что Дмитрий Федорович, убегая искать Грушеньку, захватил из ступки пестик, а воротился уже без пестика, но с руками окровавленными. «И кровь еще капала, так и каплет с них, так и каплет!» — восклицала Феня, очевидно сама создавшая этот ужасный факт в своем расстроенном воображении. Но окровавленные руки видел и сам Петр Ильич, хотя с них и не капало, и сам их помогал отмывать, да и не в том был вопрос, скоро ль они высохли, а в том, куда именно бегал с пестиком Дмитрий Федорович, то есть наверно ли к Федору Павловичу, и из чего это можно столь решительно заключить? На этом пункте Петр Ильич настаивал обстоятельно и хотя в результате твердо ничего не узнал, но все же вынес почти убеждение, что куда Дмитрий Федорович и бегать не мог, как в дом родителя, и

что, стало быть, там непременно должно было *нечто* произойти. «А когда он воротился, — с волнением прибавила Феня, — и я призналась ему во всем, то стала я его расспрашивать: отчего у вас, голубчик, Дмитрий Федорович, в крови обе руки», то он будто бы ей так и ответил, что это кровь человеческая и что он только что сейчас человека убил, — «так и признался, так мне во всем тут и покаялся, да вдруг и выбежал как сумасшедший. Я села да и стала думать: куда это он теперь как сумасшедший побежал? Поедет в Мокрое, думаю, и убьет там барыню. Выбежала я этта его молить, чтобы барыню не убивал, к нему на квартиру, да у Плотниковых лавки смотрю и вижу, что он уж отъезжает и что руки уж у него не в крови» (Феня это заметила и запомнила.) Старуха, бабушка Фени, сколько могла, подтвердила все показания своей внучки. Расспросив еще кой о чем, Петр Ильич вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве, чем как вошел в него.

Казалось бы, что всего прямее и ближе было бы ему теперь отправиться в дом Федора Павловича, узнать, не случилось ли там чего, а если случилось, то что именно, и, уже убедившись неоспоримо, тогда только идти к исправнику, как твердо уже положил Петр Ильич. Но ночь была темная, ворота у Федора Павловича крепкие, надо опять стучать, с Федором же Павловичем знаком он был отдаленно — и вот он достучится, ему отворят, и вдруг там ничего не случилось, а насмешливый Федор Павлович пойдет завтра рассказывать по городу анекдот, как в полночь ломился к нему незнакомый чиновник Перхотин, чтоб узнать, не убил ли его кто-нибудь. Скандал! Скандала же Петр Ильич боялся пуще всего на свете. Тем не менее чувство, увлекавшее его, было столь сильно, что он, злобно топнув ногой в землю и опять себя выбравив, немедленно бросился в новый путь, но уже не к Федору Павловичу, а к госпоже Хохлаковой. Если та, думал он, ответит на вопрос: она ли дала три тысячи давеча, в таком-то часу, Дмитрию Федоровичу, то в случае отрицательного ответа он тут же и пойдет к исправнику, не заходя к Федору Павловичу; в противном же случае отложит все до завтра и воротится к себе домой. Тут, конечно, прямо представляется, что в решении молодого человека идти ночью, почти в одиннадцать часов, в дом к совершенно незнакомой ему светской барыне, поднять ее, может быть, с постели, с тем чтобы задать ей удивительный по своей обстановке вопрос, заключалось, может быть, гораздо еще больше шансов произвести скандал, чем идти к Федору Павловичу. Но так случается иногда, особенно в подобных настоящему случаях, с решениями самых точнейших и флегматических людей. Петр же Ильич, в ту минуту, был уже совсем не флегматиком! Он всю жизнь потом вспоминал, как непре-

оборимое беспокойство, овладевшее им постепенно, дошло наконец в нем до муки и увлекало его даже против воли. Разумеется, он все-таки ругал себя всю дорогу за то, что идет к этой даме, но «доведу, доведу до конца!» — повторял он в десятый раз, скрежеща зубами, и исполнил свое намерение — довел.

Было ровно одиннадцать часов, когда он вступил в дом госпожи Хохлаковой. Впустили его во двор довольно скоро, но на вопрос: почивает ли уже барыня или еще не ложилась, — дворник не мог ответить в точности, кроме того, что в эту пору обыкновенно ложатся. «Там, наверху, доложите; захотят вас принять, то примут, а не захотят — не примут». Петр Ильич поднялся наверх, но тут пошло потруднее. Лакей докладывать не захотел, вызвал наконец девушку. Петр Ильич вежливо, но настоятельно попросил ее доложить барыне, что вот, дескать, пришел здешний один чиновник Перхотин, по особому делу, и если б не важное такое дело, то и не посмел бы прийти — «именно, именно в этих словах доложите», — попросил он девушку. Та ушла. Он остался ждать в передней. Сама госпожа Хохлакова хотя еще не започивала, но была уже в своей спальне. Была она расстроена с самого давешнего посещения Мити и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенного в таких случаях с нею мигренья. Выслушав доклад девушки и удивившись, она, однако, раздражительно велела отказать, несмотря на то что неожиданное посещение в такой час незнакомого ей «здешнего чиновника» чрезвычайно заинтересовало ее дамское любопытство. Но Петр Ильич на этот раз уперся как мул: выслушав отказ, он чрезвычайно настойчиво попросил еще раз доложить и передать именно «в этих самых словах», что он «по чрезвычайно важному делу, и они, может быть, сами будут потом сожалеть, если теперь не примут его». «Я точно с горы тогда летел», — рассказывал он потом сам. Горничная, удивленно оглядев его, пошла другой раз докладывать. Госпожа Хохлакова была поражена, подумала, расспросила, каков он с виду, и узнала, что «очень прилично одеты-с, молодые и такие вежливые». Заметим в скобках и мельком, что Петр Ильич был довольно-таки красивый молодой человек и сам это знал о себе. Госпожа Хохлакова решила выйти. Была она уже в своем домашнем шлафроке и в туфлях, но на плечи она накинула черную шаль. «Чиновника» попросили войти в гостиную, в ту самую, в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю со строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса: «Что угодно?»

— Я решился беспокоить вас, сударыня, по поводу общего знакомого нашего Дмитрия Федоровича Карамазова, — начал было Перхотин, но только что произнес это имя, как вдруг в лице

хозяйки изобразилось сильнейшее раздражение. Она чуть не взвизгнула и с яростью прервала его.

— Долго ли, долго ли будут меня мучить этим ужасным человеком? — вскричала она иступленно. — Как вы смели, милостивый государь, как вы решились беспокоить незнакомую вам даму в ее доме и в такой час... и явиться к ней говорить о человеке, который здесь же, в этой самой гостиной, всего три часа тому, приходил убить меня, стучал ногами и вышел, как никто не выходит из порядочного дома. Знайте, милостивый государь, что я на вас буду жаловаться, что я не спущу вам, извольте сей же час оставить меня... Я мать, я сейчас же... я... я...

— Убить! Так он и вас хотел убить?

— А разве он кого-нибудь уже убил? — стремительно спросила госпожа Хохлакова.

— Соболаговолите выслушать, сударыня, только полминуты, и я в двух словах разъясню вам все, — с твердостью ответил Перхотин. — Сегодня, в пять часов пополудни, господин Карамазов занял у меня, по-товарищески, десять рублей, и я положительно знаю, что у него денег не было, а сегодня же в девять часов он вошел ко мне, неся в руках на виду пачку сторублевых бумажек, примерно в две или даже в три тысячи рублей. Руки же у него и лицо были все окровавлены, сам же казался как бы помешанным. На вопрос мой, откуда взял столько денег, он с точностью ответил, что взял их сейчас пред тем от вас и что вы ссудили его суммою в три тысячи, чтоб ехать будто бы на золотые прииски...

В лице госпожи Хохлаковой вдруг выразилось необычайное и болезненное волнение.

— Боже! Это он старика отца своего убил! — вскричала она, всплеснув руками. — Никаких я ему денег не давала, никаких! О, бегите, бегите!.. Не говорите больше ни слова! Спасайте старика, бегите к отцу его, бегите!

— Позвольте, сударыня, итак, вы не давали ему денег? Вы твердо помните, что не давали ему никакой суммы?

— Не давала, не давала! Я ему отказала, потому что он не умел оценить. Он вышел в бешенстве и затопал ногами. Он на меня бросился, а я отскочила... И я вам скажу еще, как человеку, от которого теперь уж ничего скрывать не намерена, что он даже в меня плюнул, можете это себе представить? Но что же мы стоим? Ах, съядьте... Извините, я... Или лучше бегите, бегите, вам надо бежать и спасти несчастного старика от ужасной смерти!

— Но если уж он убил его?

— Ах, боже мой, в самом деле! Так что же мы теперь будем делать? Как вы думаете, что теперь надо делать?

Между тем она усадила Петра Ильича и села сама против него. Петр Ильич вкратце, но довольно ясно изложил ей историю дела, по крайней мере, ту часть истории, которой сам сегодня был свидетелем, рассказал и о сейчашнем своем посещении Фени и сообщил известие о пестике. Все эти подробности донельзя потрясли возбужденную даму, которая вскрикивала и закрывала глаза руками...

— Представьте, я все это предчувствовала! Я одарена этим свойством, все, что я себе ни представляю, то и случится. И сколько, сколько раз я смотрела на этого ужасного человека и всегда думала: вот человек, который кончит тем, что убьет меня. И вот так и случилось... То есть, если он убил теперь не меня, а только отца своего, то, наверное, потому, что тут видимый перст Божий, меня охранявший, да и сверх того сам он постыдился убить, потому что я ему сама, здесь, на этом месте, надела на шею образок с мошей Варвары-великомученицы... И как же я была близка в ту минуту от смерти, я ведь совсем подошла к нему, вплоть, и он всю свою шею мне вытянул! Знаете, Петр Ильич (извините, вас, кажется, вы сказали, зовут Петром Ильичом)... знаете, я не верю в чудеса, но этот образок и это явное чудо со мною теперь — это меня потрясает, и я начинаю опять верить во все что угодно. Слышали вы о старце Зосиме?... А впрочем, я не знаю, что говорю... И представьте, ведь он и с образком на шее в меня плюнул... конечно, только плюнул, а не убил, и... и вон куда поскакал! Но куда ж мы-то, нам-то теперь куда, как вы думаете?

Петр Ильич встал и объявил, что пойдет теперь прямо к исправнику и все ему расскажет, а там уж как тот сам знает.

— Ах, это прекрасный, прекрасный человек, я знакома с Михаилом Макаровичем. Непременно, именно к нему. Как вы находчивы, Петр Ильич, и как хорошо это вы все придумали; знаете, я бы никак на вашем месте этого не придумала!

— Тем более что я и сам хороший знакомый исправнику, — заметил Петр Ильич, все еще стоя и видимо желая как-нибудь поскорее вырваться от стремительной дамы, которая никак не давала ему проститься с ней и отправиться.

— И знаете, знаете, — лепетала она, — придите сказать мне, что там увидите и узнаете... и что обнаружится... и как его решат и куда осудят. Скажите, ведь у нас нет смертной казни? Но непременно придите, хоть в три часа ночи, хоть в четыре, даже в половине пятого... Велите меня разбудить, растолкать, если встать не буду... О боже, да я и не засну даже. Знаете, не поехать ли мне самой с вами?..

— Н-нет-с, а вот если бы вы написали вашей рукой сейчас три строки, на всякий случай, о том, что денег Дмитрию Федоровичу

никаких не давали, то было бы, может быть, не лишне... на всякий случай...

— Непременно! — восторженно прыгнула к своему бюро госпожа Хохлакова. — И знаете, вы меня поражаете, вы меня просто потрясаете вашею находчивостью и вашим умением в этих делах... Вы здесь служите? Как это приятно услышать, что вы здесь служите...

И, еще говоря это, она быстро начертала на полулисте почтовой бумаги три крупные следующие строчки:

«Никогда в жизни моей я не давала займы несчастному Дмитрию Федоровичу Карамазову (так как он все же теперь несчастен) трех тысяч рублей сегодня, да и никаких других денег никогда, никогда! В том клянусь всем, что есть святого в нашем мире.

*Хохлакова».*

— Вот эта записка! — быстро обернулась она к Петру Ильичу. — Идите же, спасайте. Это великий подвиг с вашей стороны.

И она три раза его перекрестила. Она выбежала провожать его даже до передней.

— Как я вам благодарна! Вы не поверите, как я вам теперь благодарна за то, что вы зашли ко мне к первой. Как это мы с вами не встречались? Мне очень лестно бы было вас принимать и впредь в моем доме. И как это приятно слышать, что вы здесь служите... и с такою точностью, с такой находчивостью... Но вас они должны ценить, вас должны наконец понять, и все, что я бы могла для вас сделать, то поверьте... О, я так люблю молодежь! Я влюблена в молодежь. Молодые люди — это основание всей теперешней страждущей нашей России, вся надежда ее... О, идите, идите!..

Но Петр Ильич уже выбежал, а то бы она его так скоро не выпустила, впрочем, госпожа Хохлакова произвела на него довольно приятное впечатление, даже несколько смягчившее тревогу его о том, что он втянулся в такое скверное дело. Вкусы бывают чрезвычайно многообразны, это известно. «И вовсе она не такая пожилая, — подумал он с приятностью, — напротив, я бы принял ее за ее дочь».

Что же до самой госпожи Хохлаковой, то она была просто очарована молодым человеком. «Столько уменья, столько аккуратности и в таком молодом человеке в наше время, и все это при таких манерах и наружности. Вот говорят про современных молодых людей, что они ничего не умеют, вот вам пример» и т. д. и т. д. Так что об «ужасном происшествии» она просто даже позабыла и, только уж ложась в постель и вдруг вновь вспомнив о том, «как близка была от смерти», она проговорила: «Ах, это ужасно, ужасно».

но!» Но тотчас же заснула самым крепким и сладким сном. Я бы, впрочем, и не стал распространяться о таких мелочных и эпизодических подробностях, если б эта сейчас лишь описанная мною эксцентрическая встреча молодого чиновника с вовсе не старою еще вдовицей не послужила впоследствии основанием всей жизненной карьеры этого точного и аккуратного молодого человека, о чем с изумлением вспоминают до сих пор в нашем городке и о чем, может быть, и мы скажем особое словечко, когда заключим наш длинный рассказ о братьях Карамазовых.

## II

### ТРЕВОГА

Исправник наш Михаил Макарович Макаров, отставной подполковник, переименованный в надворные советники, был человек вдовый и хороший. Пожаловал же к нам всего назад лишь три года, но уже заслужил общее сочувствие тем, главное, что «умел соединить общество». Гости у него не переводились, и, казалось, без них он бы и сам прожить не мог. Непременно кто-нибудь ежедневно у него обедал, хоть два, хоть один только гость, но без гостей и за стол не садились. Бывали и званые обеды, под всякими, иногда даже неожиданными предложениями. Кушанье подавалось хоть и не изысканное, но обильное, кулебяки готовились превосходные, а вина хоть и не блистали качеством, зато брали количеством. Во входной комнате стоял бильярд с весьма приличною обстановкой, то есть даже с изображениями скаковых английских лошадей в черных рамках по стенам, что, как известно, составляет необходимое украшение всякой бильярдной у холостого человека. Каждый вечер играли в карты, хоть бы на одном только столике. Но весьма часто собиралось и все лучшее общество нашего города, с маменьками и девицами, потанцевать. Михаил Макарович хотя и вдовствовал, но жил семейно, имея при себе свою давно уже овдовевшую дочь, в свою очередь мать двух девиц, внучек Михаилу Макаровичу. Девицы были уже взрослые и окончившие свое воспитание, наружности не неприятной, веселого нрава, и хотя все знали, что за ними ничего не дадут, все-таки привлекавшие в дом дедушки нашу светскую молодежь. В делах Михаил Макарович был не совсем далек, но должность свою исполнял не хуже многих других. Если прямо сказать, то был он человек довольно-таки необразованный и даже беспечный в ясном понимании пределов своей административной власти. Иных реформ современного царствования он не то что не мог вполне осмыслить, но понимал их с



некоторыми, иногда весьма заметными, ошибками и вовсе не по особенной какой-нибудь своей неспособности, а просто по беспечности своего характера, потому что все некогда было вникнуть. «Души я, господа, более военной, чем гражданской», — выражался он сам о себе. Даже о точных основаниях крестьянской реформы он все еще как бы не приобрел окончательного и твердого понятия и узнавал о них, так сказать, из года в год, приумножая свои знания практически и невольно, а между тем сам был помещиком. Петр Ильич с точностью знал, что в этот вечер он непременно у Михаила Макаровича встретит кого-нибудь из гостей, но лишь не знал, кого именно. А между тем как раз у него сидели в эту минуту за ералашем прокурор и наш земский врач, Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в Петербургской медицинской академии. Прокурор же, то есть товарищ прокурора, но которого у нас все звали прокурором, Ипполит Кириллович, был у нас человек особенный, нестарый, всего лишь лет тридцати пяти, но сильно наклонный к чахотке, при сем женатый на весьма толстой и бездетной даме, самолюбивый и раздражительный, при весьма солидном, однако, уме и даже доброй душе. Кажется, вся беда его характера заключалась в том, что думал он о себе несколько выше, чем позволяли его истинные достоинства. И вот почему он постоянно казался беспокойным. Были в нем к тому же некоторые высшие и художественные даже поползновения, например, на психологичность, на особенное знание души человеческой, на особенный дар познания преступника и его преступления. В этом смысле он считал себя несколько обиженным и обойденным по службе и всегда уверен был, что там, в высших сферах, его не сумели оценить и что у него есть враги. В мрачные минуты грозился даже перебежать в адвокаты по делам уголовным. Неожиданное дело Карамазовых об отцеубийстве как бы встряхнуло его всего: «Дело такое, что всей России могло стать известно». Но это уж я говорю, забегая вперед.

В соседней комнате, с барышнями, сидел и наш молодой судебный следователь Николай Парфенович Нелюдов, всего два месяца тому прибывший к нам из Петербурга. Потом у нас говорили и даже дивились тому, что все эти лица как будто нарочно соединились в вечер «преступления» вместе в доме исполнительной власти. А между тем дело было гораздо проще и произошло крайне естественно: у супруги Ипполита Кирилловича другой день как болели зубы, и ему надо же было куда-нибудь убежать от ее стоннов; врач же уже по существу своему не мог быть вечером нигде иначе как за картами. Николай же Парфенович Нелюдов даже еще

за три дня рассчитывал прибыть в этот вечер к Михаилу Макаровичу, так сказать, нечаянно, чтобы вдруг и коварно поразить его старшую девицу Ольгу Михайловну тем, что ему известен ее секрет, что он знает, что сегодня день ее рождения и что она нарочно пожелала скрыть его от нашего общества, с тем чтобы не созывать город на танцы. Предстояло много смеху и намеков на ее лета, что она будто бы боится их обнаружить, что теперь, так как он владетель ее секрета, то завтра же всем расскажет, и проч. и проч. Милый, молоденький человечек был на этот счет большой шалун, его так и прозвали у нас дамы шалуном, и ему, кажется, это очень нравилось. Впрочем, он был весьма хорошего общества, хорошей фамилии, хорошего воспитания и хороших чувств и хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный. С виду он был маленького роста, слабого и нежного сложения. На тоненьких и бледненьких пальчиках его всегда сверкали несколько чрезвычайно крупных перстней. Когда же исполнял свою должность, то становился необыкновенно важен, как бы до святости понимая свое значение и свои обязанности. Особенно умел он озадачивать при допросах убийц и прочих злодеев из простонародья и действительно возбуждал в них если не уважение к себе, то все же некоторое удивление.

Петр Ильич, войдя к исправнику, был просто ошеломлен: он вдруг увидал, что там всё уже знают. Действительно, карты бросили, все стояли и рассуждали, и даже Николай Парфенович прибежал от барышень и имел самый боевой и стремительный вид. Петра Ильича встретило ошеломляющее известие, что старик Федор Павлович действительно и в самом деле убит в этот вечер в своем доме, убит и ограблен. Узналось же это только сейчас пред тем следующим образом.

Марфа Игнатьевна, супруга поверженного у забора Григория, хотя и спала крепким сном на своей постеле и могла бы так проспать еще до утра, вдруг, однако же, пробудилась. Способствовал тому страшный эпилептический вопль Смердякова, лежавшего в соседней комнатке без сознания, — тот вопль, которым всегда начинались его припадки падучей и которые всегда, во всю жизнь, страшно пугали Марфу Игнатьевну и действовали на нее болезненно. Не могла она к ним никогда привыкнуть. Спросонья она вскочила и почти без памяти бросилась в каморку к Смердякову. Но там было темно, слышно было только, что больной начал страшно храпеть и биться. Тут Марфа Игнатьевна закричала сама и начала было звать мужа, но вдруг сообразила, что ведь Григория-то на кровати, когда она вставала, как бы и не было. Она подбежала к кровати и ощупала ее вновь, но кровать была в самом деле пуста. Стало быть, он ушел, куда же? Она выбежала на кры-

лечко и робко позвала его с крыльца. Ответа, конечно, не получила, но зато услышала среди ночной тишины откуда-то как бы далеко из сада какие-то стоны. Она прислушалась; стоны повторились опять, и ясно стало, что они в самом деле из сада. «Господи, словно как тогда Лизавета Смердящая!» — пронеслось в ее расстроенной голове. Робко сошла она со ступенек и разглядела, что калитка в сад отворена. «Верно, он, сердечный, там», — подумала она, подошла к калитке и вдруг явственно услышала, что ее зовет Григорий, кличет: «Марфа, Марфа!» — слабым, стонящим, страшным голосом. «Господи, сохрани нас от беды», — прошептала Марфа Игнатъевна и бросилась на зов и вот таким-то образом и нашла Григория. Но нашла не у забора, не на том месте, где он был повержен, а шагов уже за двадцать от забора. Потом оказалось, что, очнувшись, он пополз и, вероятно, полз долго, теряя по несколько раз сознание и вновь впадая в беспамятство. Она тотчас заметила, что он весь в крови, и тут уж закричала благим матом. Григорий же лепетал тихо и бессвязно: «Убил... отца убил... чего кричишь, дура... беги, зови...» Но Марфа Игнатъевна не унималась и все кричала и вдруг, завидев, что у барина отворено окно и в окне свет, побежала к нему и начала звать Федора Павловича. Но, заглянув в окно, увидела страшное зрелище: барин лежал навзничь на полу, без движения. Светлый халат и белая рубашка на груди были залиты кровью. Свечка на столе ярко освещала кровь и неподвижное мертвое лицо Федора Павловича. Тут уж в последней степени ужаса Марфа Игнатъевна бросилась от окна, выбежала из сада, отворила воротный запор и побежала сломя голову на зады к соседке Марье Кондратьевне. Обе соседки, мать и дочь, тогда уже започивали, но на усиленный и неистовый стук в ставни и крики Марфы Игнатъевны проснулись и подскочили к окну. Марфа Игнатъевна бессвязно, визжа и крича, передала, однако, главное и звала на помощь. Как раз в эту ночь заночевал у них скитающийся Фома. Мигом подняли его, и все трое побежали на место преступления. Дорогою Марья Кондратьевна успела припомнить, что давеча, в девятом часу, слышала страшный и пронзительный вопль на всю окрестность из их сада — и это именно был, конечно, тот самый крик Григория, когда он, вцепившись руками в ногу сидевшего уже на заборе Дмитрия Федоровича, прокричал: «Отцеубивец!» «Завопил кто-то один и вдруг перестал», — показывала бежа Марья Кондратьевна. Прибежав на место, где лежал Григорий, обе женщины с помощью Фомы перенесли его во флигель. Зажгли огонь и увидали, что Смердяков все еще не унимается и бьется в своей каморке, скосил глаза, а с губ его текла пена. Голову Григория обмыли водой с уксусом, и от воды он совсем уже опамятовался и тотчас спросил: «Убит аль нет барин?»

Обе женщины и Фома пошли тогда к барину и, войдя в сад, увидели на этот раз, что не только окно, но и дверь из дома в сад стояла настежь отпертою, тогда как барин накрепко запирался сам с вечера каждую ночь вот уже всю неделю и даже Григорию ни под каким видом не позволял стучать к себе. Увидав отворенную эту дверь, все они тотчас же, обе женщины и Фома, забоялись идти к барину, «чтобы не вышло чего потом». А Григорий, когда воротились они, велел тотчас же бежать к самому исправнику. Тут-то вот Марья Кондратьевна и побежала и всполошила всех у исправника. Прибытие же Петра Ильича упредила всего только пятью минутами, так что тот явился уже не с одними своими догадками и заключениями, а как очевидный свидетель, еще более рассказом своим подтвердивший общую догадку о том, кто преступник (чему, впрочем, он, в глубине души, до самой этой последней минуты, все еще отказывался верить).

Решили действовать энергически. Помощнику городского пристава тотчас же поручили набрать штук до четырех понятых и по всем правилам, которых уже я здесь не описываю, проникли в дом Федора Павловича и следствие произвели на месте. Земский врач, человек горячий и новый, сам почти напросился сопровождать исправника, прокурора и следователя. Намечу лишь вкратце: Федор Павлович оказался убитым вполне, с проломленною головой, но чем? — вероятнее всего, тем же самым оружием, которым поражен был потом и Григорий. И вот как раз отыскали и оружие, выслушав от Григория, которому подана была возможная медицинская помощь, довольно связный, хотя слабым и прерывавшимся голосом переданный рассказ о том, как он был повержен. Стали искать с фонарем у забора и нашли брошенный прямо на садовую дорожку, на самом виду, медный пестик. В комнате, в которой лежал Федор Павлович, никакого особенного беспорядка не заметили, но за ширмами, у кровати его, подняли с полу большой, из толстой бумаги, канцелярских размеров конверт с надписью: «Гостинчик в три тысячи рублей ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти», а внизу было приписано, вероятно, уже потом, самим Федором Павловичем: «и цыпленочку». На конверте были три большие печати красного сургуча, но конверт был уже разорван и пуст: деньги были унесены. Нашли на полу и тоненькую розовую ленточку, которою был обвязан конверт. В показаниях Петра Ильича одно обстоятельство между прочими произвело чрезвычайное впечатление на прокурора и следователя, а именно: догадка о том, что Дмитрий Федорович непременно к рассвету застрелится, что он сам порешил это, сам говорил об этом Петру Ильичу, пистолет зарядил при нем, записочку написал, в карман положил и проч. и проч. Когда же де Петр Ильич, все еще не хо-

тевший верить ему, пригрозил, что он пойдет и кому-нибудь расскажет, чтобы пресечь самоубийство, то сам-де Митя, осклябляясь, ответил ему: «Не успеешь». Стало быть, надо было спешить на место, в Мокрое, чтобы накрыть преступника прежде, чем он, пожалуй, и в самом деле вздумал бы застрелиться. «Это ясно, это ясно! — повторял прокурор в чрезвычайном возбуждении, — это точь-в-точь у подобных сорванцов так и делается: завтра убью себя, а пред смертью кутеж». История, как он забрал в лавке вина и товару, только разгорячила еще больше прокурора. «Помните того парня, господя, что убил купца Олсуфьева, ограбил на полторы тысячи и тотчас же пошел, завился, а потом, не припрятав даже хорошенько денег, тоже почти в руках неся, отправился к девицам». Задерживало, однако, всех следствие, обыск в доме Федора Павловича, формы и проч. Все это требовало времени, а потому и отправили часа за два прежде себя в Мокрое станового Маврикия Маврикиевича Шмерцова, как раз накануне поутру прибывшего в город за жалованьем. Маврикию Маврикиевичу дали инструкцию: прибыв в Мокрое и, не поднимая никакой тревоги, следить за «преступником» неустанно до прибытия надлежащих властей, равно как изготовить понятых, сотских и проч. и проч. Так Маврикий Маврикиевич и поступил, сохранил *incognito* и лишь одного только Трифона Борисовича, старого своего знакомого, отчасти лишь посвятил в тайну дела. Время это именно совпадало с тем, когда Митя встретил в темноте на галерейке разыскивавшего его хозяина, причем тут же заметил, что у Трифона Борисовича какая-то в лице и в речах вдруг перемена. Таким образом, ни Митя и никто не знали, что за ними наблюдают; ящик же его с пистолетами был давно уже похищен Трифоном Борисовичем и припрятан в укромное место. И только уже в пятом часу утра, почти на рассвете, прибыло все начальство, исправник, прокурор и следователь в двух экипажах и на двух тройках. Доктор же остался в доме Федора Павловича, имея в предмете сделать наутро вскрытие трупа убитого, но, главное, заинтересовался именно состоянием больного слуги Смердякова: «Такие ожесточенные и такие длинные припадки падучей, повторяющиеся беспрерывно в течение двух суток, редко встретишь, и это принадлежит науке», — проговорил он в возбуждении отъезжавшим своим партнерам, и те его поздравили, смеясь, с находкой. При сем прокурор и следователь очень хорошо запомнили, что доктор прибавил самым решительным тоном, что Смердяков до утра не доживет.

Теперь после долгого, но, кажется, необходимого объяснения мы возвратились именно к тому моменту нашего рассказа, на котором остановили его в предыдущей книге.

## III

ХОЖДЕНИЕ ДУШИ ПО МЫТАРСТВАМ.  
МЫТАРСТВО ПЕРВОЕ

Итак, Митя сидел и диким взглядом озираал присутствующих, не понимая, что ему говорят. Вдруг он поднялся, вскинул вверх руки и громко прокричал:

— Не повинен! В этой крови неповинен! В крови отца моего неповинен... Хотел убить, но неповинен! Не я!

Но только что он успел прокричать это, как из-за занавесок выскочила Грушенька и так и рухнулась исправнику прямо в ноги.

— Это я, я, окаянная, я виновата! — прокричала она раздирающим душу воплем, вся в слезах, простирая ко всем руки, — это из-за меня он убил!.. Это я его измучила и до того довела! Я и того старичка покойничка бедного измучила, со злобы моей, и до того довела! Я виноватая, я первая, я главная, я виноватая!

— Да, ты виноватая! Ты главная преступница! Ты неистовая, ты развратная, ты главная виноватая, — завопил, грозя ей рукой, исправник, но тут уж его быстро и решительно уняли. Прокурор даже обхватил его руками.

— Это уж совсем беспорядок будет, Михаил Макарович, — вскричал он, — вы положительно мешаєте следствию... дело портите... — почти задыхался он.

— Меры принять, меры принять, меры принять! — страшно закипятился и Николай Парфенович, — иначе положительно невозможно!..

— Вместе судите нас! — продолжала иступленно восклицать Грушенька, все еще на коленях. — Вместе казните нас, пойду с ним теперь хоть на смертную казнь!

— Груша, жизнь моя, кровь моя, святыня моя! — бросился подле нее на колени и Митя и крепко сжал ее в объятиях. — Не верьте ей, — кричал он, — не виновата она ни в чем, ни в какой крови и ни в чем!

Он помнил потом, что его оттащили от нее силой несколько человек, а что ее вдруг увели и что опамятовался он уже сидя за столом. Подле и сзади него стояли люди с бляхами. Напротив него через стол на диване сидел Николай Парфенович, судебный следователь, и все уговаривал его отпить из стоявшего на столе стакана немного воды: «Это освежит вас, это вас успокоит, не бойтесь, не беспокойтесь», — прибавлял он чрезвычайно вежливо. Мите же вдруг, он помнил это, ужасно любопытны стали его большие перстни, один аметистовый, а другой какой-то ярко-желтый, прозрач-

ный и такого прекрасного блеска. И долго еще он потом с удивлением вспоминал, что эти перстни привлекали его взгляд неотразимо даже во все время этих страшных часов допроса, так что он почему-то все не мог от них оторваться и их забыть как совершенно неподходящую к его положению вещь. Налево, сбоку от Мити, на месте, где сидел в начале вечера Максимов, уселся теперь прокурор, а по правую руку Мити, на месте, где была тогда Грушенька, расположился один румяный молодой человек, в каком-то охотничьем как бы пиджаке, и весьма поношенном, пред которым очутилась чернильница и бумага. Оказалось, что это был письмоводитель следователя, которого привез тот с собою. Исправник же стоял теперь у окна, в другом конце комнаты, подле Калганова, который тоже уселся на стуле у того же окна.

— Выпейте воды! — мягко повторил в десятый раз следователь.

— Выпил, господа, выпил... но... что ж, господа, давите, казните, решайте судьбу! — воскликнул Митя со страшно неподвижным выпучившимся взглядом на следователя.

— Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего, Федора Павловича, вы невиновны? — мягко, но настойчиво спросил следователь.

— Невиновен! Виновен в другой крови, в крови другого старика, но не отца моего. И оплакиваю! Убил, убил старика, убил и поверг... Но тяжело отвечать за эту кровь другою кровью, страшную кровью, в которой неповинен... Страшное обвинение, господа, точно по лбу огорошили! Но кто же убил отца, кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чудо, нелепость, невозможность!..

— Да, вот кто мог убить... — начал было следователь, но прокурор Ипполит Кириллович (товарищ прокурора, но и мы будем его называть для краткости прокурором), переглянувшись со следователем, произнес, обращаясь к Мите:

— Вы напрасно беспокоитесь за старика слугу Григория Васильева. Узнайте, что он жив, очнулся и, несмотря на тяжкие побои, причиненные ему вами, по его и вашему теперь показанию, кажется, останется жив несомненно, по крайней мере по отзыву доктора.

— Жив? Так он жив! — завопил вдруг Митя, всплеснув руками. Все лицо его просияло. — Господи, благодарю Тебя за величайшее чудо, содеянное Тобою мне, грешному и злодею, по молитве моей!.. Да, да, это по молитве моей, я молился всю ночь!.. — и он три раза перекрестился. Он почти задыхался.

— Так вот от этого-то самого Григория мы и получили столь значительные показания на ваш счет, что... — стал было продолжать прокурор, но Митя вдруг вскочил со стула.

— Одну минуту, господа, ради бога, одну лишь минутку; я сбегаю к ней...

— Позвольте! В эту минуту никак нельзя! — даже чуть не взвизгнул Николай Парфенович и тоже вскочил на ноги. Митю обхватили люди с бляхами на груди, впрочем, он и сам сел на стул...

— Господа, как жаль! Я хотел к ней на одно лишь мгновение... хотел возвестить ей, что смыта, исчезла эта кровь, которая всю ночь сосала мне сердце, и что я уже не убийца! Господа, ведь она невеста моя! — восторженно и благоговейно проговорил он вдруг, обводя всех глазами. — О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение!.. Этот старик — ведь он носил меня на руках, господа, мыл меня в корыте, когда меня, трехлетнего ребенка, все покинули, был отцом родным!..

— Итак, вы... — начал было следовательно.

— Позвольте, господа, позвольте еще одну минутку, — прервал Митя, поставив оба локтя на стол и закрыв лицо ладонями, — дайте же чуточку сообразиться, дайте вздохнуть, господа. Все это ужасно потрясает, ужасно, не барабанная же шкура человек, господа!

— Вы бы опять водицы... — пролепетал Николай Парфенович.

Митя отнял от лица руки и рассмеялся. Взгляд его был бодр, он весь как бы изменился в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек, всем этим прежним знакомым его, вот точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда еще ничего не случилось, где-нибудь в светском обществе. Заметим, однако, кстати, что у исправника Митя, в начале его прибытия к нам, был принят радушно, но потом, в последний месяц особенно, Митя почти не посещал его, а исправник, встречаясь с ним, на улице например, сильно хмурился и только лишь из вежливости отдавал поклон, что очень хорошо заметил Митя. С прокурором был знаком еще отдаленнее, но к супруге прокурора, нервной и фантастической даме, иногда хаживал с самыми почтительными, однако, визитами, и даже сам не совсем понимая, зачем к ней ходит, и она всегда ласково его принимала, почему-то интересуясь им до самого последнего времени. Со следовательно же познакомиться еще не успел, но, однако, встречал и его и даже говорил с ним раз или два, оба раза о женском поле.

— Вы, Николай Парфеныч, искуснейший, как я вижу, следовательно, — весело рассмеялся вдруг Митя, — но я вам теперь сам помогу. О господа, я воскрешен... и не претендуйте на меня, что я так запросто и так прямо к вам обращаюсь. К тому же я немного пьян, я это вам скажу откровенно. Я, кажется, имел честь... честь и удовольствие встречать вас, Николай Парфеныч, у родственни-



ка моего Миусова... Господа, господа, я не претендую на равенство, я ведь понимаю же, кто я такой теперь пред вами сижу. На мне лежит... если только показания на меня дал Григорий... то лежит, — о, конечно, уж лежит — страшное подозрение! Ужас, ужас — я ведь понимаю же это! Но к делу, господа, я готов, и мы это в один миг теперь и покончим, потому что, послушайте, послушайте, господа. Ведь если я знаю, что я невиновен, то, уж конечно, в один миг покончим! Так ли? Так ли?

Митя говорил скоро и много, нервно и экспансивно и как бы решительно принимая своих слушателей за лучших друзей своих.

— Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете взводимое на вас обвинение радикально, — внушительно проговорил Николай Парфенович и, повернувшись к писарю, вполголоса продиктовал ему, что надо записать.

— Записывать? Вы хотите это записывать? Что ж, записывайте, я согласен, даю полное мое согласие, господа... Только, видите... Стойте, стойте, запишите так: «В буйстве он виновен, в тяжких побоях, нанесенных бедному старику, виновен. Ну там еще про себя внутри, в глубине сердца своего виновен, — но это уже не надо писать, — повернулся он вдруг к писарю, — это уже моя частная жизнь, господа, это уже вас не касается, эти глубины-то сердца то есть... Но в убийстве старика отца — невиновен! Это дикая мысль! Это совершенно дикая мысль!.. Я вам докажу, и вы убедитесь мгновенно. Вы будете смеяться, господа, сами будете хохотать над вашим подозрением!..

— Успокойтесь, Дмитрий Федорович, — напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить исступленного своим спокойствием. — Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал, если вы только согласитесь ответить, слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется, вы не любили покойного Федора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре... Здесь, по крайней мере четверть часа назад, вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели убить его. «Не убил, — воскликнули вы, — но хотел убить!»

— Я это воскликнул? Ох, это может быть, господа! Да, к несчастью, я хотел убить его, много раз хотел... к несчастью, к несчастью!

— Хотели. Не согласитесь ли вы объяснить, какие, собственно, принципы руководствовали вас в такой ненависти к личности вашего родителя?

— Что ж объяснять, господа! — угрюмо вскинул плечами Митя, потупясь. — Я ведь не скрывал моих чувств, весь город об этом знает — знают все в трактире. Еще недавно в монастыре заявил в келье старца Зосимы... В тот же день, вечером, бил и чуть

не убил отца и поклялся, что опять приду и убью, при свидетелях... О, тысяча свидетелей! Весь месяц кричал, все свидетели!.. Факт налицо, факт говорит, кричит, но — чувства, господа, чувства, это уж другое. Видите, господа, — нахмурился Митя, — мне кажется, что про чувства вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и облечены, я понимаю это, но это дело мое, мое внутреннее дело, интимное, но... так как я уж не скрывал моих чувств прежде... в трактире, например, и говорил всем и каждому, то... то не сделаю и теперь из этого тайны. Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные: всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили: как же не я в таком случае? Ха-ха! Я вас извиняю, господа, вполне извиняю. Я ведь и сам поражен до эпидермы, потому что кто ж его убил, наконец, в таком случае, если не я? Ведь не правда ли? Если не я, так кто же, кто же? Господа, — вдруг воскликнул он, — я хочу знать, я даже требую от вас, господа: где он убит? как он убит, чем и как? Скажите мне, — быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами.

— Мы нашли его лежащим на полу, навзничь, в своем кабинете, с проломленную головой, — проговорил прокурор.

— Страшно это, господа! — вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правой рукой.

— Мы будем продолжать, — прервал Николай Парфенович. — Итак, что же тогда руководило вас в ваших чувствах ненависти? Вы, кажется, заявляли публично, что чувство ревности?

— Ну да, ревность, и не одна только ревность.

— Споры из-за денег?

— Ну да, и из-за денег.

— Кажется, спор был в трех тысячах, будто бы недоданных вам по наследству.

— Какое трех! Больше, больше, — вскинулся Митя, — больше шести, больше десяти, может быть. Я всем говорил, всем кричал! Но я решился, уж так и быть, помириться на трех тысячах. Мне до зарезу нужны были эти три тысячи... так что тот пакет с тремя тысячами, который, я знал, у него под подушкой, приготовленный для Грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным, вот что, господа, считал своим, все равно как мою собственностью...

Прокурор значительно переглянулся со следователем и успел незаметно мигнуть ему.

— Мы к этому предмету еще возвратимся, — проговорил тотчас следователь, — вы же позволите нам теперь отметить и записать именно этот пункт: что вы считали эти деньги, в том конверте, как бы за свою собственность.

— Пишите, господа, я ведь понимаю же, что это опять-таки на меня улика, но я не боюсь улик и сам говорю на себя. Слышите, сам! Видите, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть, — прибавил он вдруг мрачно и грустно. — С вами говорит благородный человек, благороднейшее лицо, главное — этого не упускайте из виду — человек, наделавший бездну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом, как существо, внутри, в глубине, ну, одним словом, я не умею выразиться... Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем, а между тем всю жизнь делал одни только пакости, как и все мы, господа... то есть, как я один, господа, не все, а я один, я ошибся, один, один!.. Господа, у меня голова болит, — страдальчески поморщился он, — видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попираание всякой святости, насмешка и безверие, гадко, гадко! Но теперь, когда уж он умер, я думаю иначе.

— Как это иначе?

— Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.

— Чувствуете раскаяние?

— Нет, не то чтобы раскаяние, этого не записывайте. Сам-то я нехорош, господа, вот что, сам-то я не очень красив, а потому права не имел и его считать отвратительным, вот что! Это, пожалуй, запишите.

Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно постепенно с ответами на вопросы следователя он становился все мрачнее и мрачнее. И вдруг как раз в это мгновение разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча и удалили, но увели не очень далеко, всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Это была маленькая комнатка в одно окно, сейчас за тою большою комнатой, в которой ночью танцевали и шел пир горой. Там сидела она, а с ней пока один только Максимов, ужасно пораженный, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около нее спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала, и вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем: «Горе мое, горе!» — бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и задрожал, вскочил, завопил и стремглав бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки: он бился, рвался,

понадобилось троих или четверых, чтоб удержать его. Схватили и ее, и он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он опомнился опять на прежнем месте, за столом, против следователя, и выкрикивал, обращаясь к ним:

— Что вам в ней? Зачем вы ее мучаете? Она невинна, невинна!..

Его уговаривали прокурор и следователь. Так прошло некоторое время, минут десять; наконец в комнату поспешно вошел отлучившийся было Михаил Макарович и громко, в возбуждении, проговорил прокурору:

— Она удалена, она внизу, не позволите ли мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку? При вас, господа, при вас!

— Сделайте милость, Михаил Макарович, — ответил следователь, — в настоящем случае мы не имеем ничего сказать против.

— Дмитрий Федорович, слушай, батюшка, — начал, обращаясь к Мите, Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее отеческое почти сострадание к несчастному, — я твою Аграфену Александровну отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям и с ней там теперь безотлучно этот старичок Максимов, и я ее уговорил, слышь ты? — уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться, так чтоб она не мешала, чтоб не нагоняла на тебя тоски, не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Ну, одним словом, говорил, и она поняла. Она, брат, умница, она добрая, она руки у меня, старого, полезла было целовать, за тебя просила. Сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен, да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей, что ты спокоен и за нее утешен. Итак, успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват, она христианская душа, да, господа, это кроткая душа и ни в чем не повинная. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен аль нет?

Добрjak наговорил много лишнего, но горе Грушеньки, горе человеческого, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему.

— Простите, господа, позвольте, о, позвольте! — вскричал он, — ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарович, благодарю за нее! Буду, буду спокоен, весел буду, передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел, весел, смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Сейчас все покончу и только что освобожусь, сейчас и к ней, она увидит, пусть ждет! Господа, — оборотился он вдруг к прокурору и следователю, — теперь всю вам душу мою открою, всю изолью,

мы это мигом покончим, весело покончим — под конец ведь будем же смеяться, будем? Но, господа, эта женщина — царица души моей! О, позвольте мне это сказать, это-то я уж вам открою... Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми: это свет, это святыня моя, и если б вы только знали! Слышали ее крики: «С тобой хоть на казнь!» А что я ей дал, я, нищий, голяк, за что такая любовь ко мне, стою ли я, неуклюжая, позорная тварь и с позорным лицом, такой любви, чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давеча валялась, она, гордая и ни в чем не повинная! Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней, как сейчас? О, господа, простите! Но теперь, теперь я утешен!

И он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слезы. Он мигом опомнился. Старик исправник был очень доволен, да, кажется, и юристы тоже: они почувствовали, что допрос вступит сейчас в новый фазис. Проводив исправника, Митя просто повеселел.

— Ну, господа, теперь ваш, ваш вполне. И... если б только не все эти мелочи, то мы бы сейчас же и сговорились. Я опять про мелочи. Я ваш, господа, но, клянусь, нужно взаимное доверие, — ваше ко мне и мое к вам, — иначе мы никогда не покончим. Для вас же говорю. К делу, господа, к делу, и, главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте ее пустяками, а спрашивайте одно только дело и факты, и я вас сейчас же удовлетворю. А мелочи к черту!

Так восклицал Митя. Допрос начался вновь.

#### IV

#### МЫТАРСТВО ВТОРОЕ

— Вы не поверите, как вы нас самих ободряете, Дмитрий Федорович, вашею этою готовностью... — заговорил Николай Парфенович с оживленным видом и с видимым удовольствием, засиявшим в больших светло-серых навывкате, очень близоруких, впрочем, глазах его, с которых он за минуту пред тем снял очки. — И вы справедливо сейчас заметили насчет этой взаимной нашей доверенности, без которой иногда даже и невозможно в подобной важности делах, в том случае и смысле, если подозреваемое лицо действительно желает, надеется и может оправдать себя. С нашей стороны мы употребим все, что от нас зависит, и вы сами могли видеть даже и теперь, как мы ведем это дело... Вы одобряете, Ипполит Кириллович? — обратился он вдруг к прокурору.

— О, без сомнения, — одобрил прокурор, хотя и несколько сухоовато сравнительно с порывом Николая Парфеновича.

Замечу раз навсегда: новоприбывший к нам Николай Парфенович, с самого начала своего у нас поприща, почувствовал к нашему Ипполиту Кирилловичу, прокурору, необыкновенное уважение и почти сёрдцем сошелся с ним. Это был почти единственный человек, который безусловно поверил в необычайный психологический и ораторский талант нашего «обиженного по службе» Ипполита Кирилловича и вполне верил и в то, что тот обижен. О нем слышал он еще в Петербурге. Зато в свою очередь молоденький Николай Парфенович оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого искренно полюбил наш «обиженный» прокурор. Дорогой сюда они успели кое в чем сговориться и условиться насчет предстоящего дела и теперь, за столом, востренький ум Николая Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в лице своего старшего сотоварища, с полуслова, со взгляда, с подмига глазком.

— Господа, предоставьте мне только самому рассказать и не перебивайте пустяками, и я вам мигом все изложу, — кипятился Митя.

— Прекрасно-с. Благодарю вас. Но прежде чем перейдем к выслушанию вашего сообщения, вы бы позволили мне только констатировать еще один фактик, для нас очень любопытный, именно о тех десяти рублях, которые вы вчера, около пяти часов, взяли взаймы под заклад пистолетов ваших у приятеля вашего Петра Ильича Перхотина.

— Заложил, господа, заложил, за десять рублей, и что ж дальше? Вот и все, как только воротился в город с дороги, так и заложил.

— А вы воротились с дороги? Вы ездили за город?

— Ездил, господа, за сорок верст ездил, а вы и не знали?

Прокурор и Николай Парфенович переглянулись.

— И вообще, если бы вы начали вашу повесть со систематического описания всего вашего вчерашнего дня с самого утра? Позвольте, например, узнать: зачем вы отлучались из города и когда именно поехали и приехали... и все эти факты...

— Так вы бы так и спросили с самого начала, — громко рассмеялся Митя, — и если хотите, то дело надо начать не со вчерашнего, а с третьеводнишнего дня, с самого утра, тогда и поймете, куда, как и почему я пошел и поехал. Пошел я, господа, третьего дня утром к здешнему купчине Самсонову занимать у него три тысячи денег под вернейшее обеспечение, — это вдруг приспичило, господа, вдруг приспичило...

— Позвольте прервать вас, — вежливо перебил прокурор, — почему вам так вдруг понадобилась, и именно такая сумма, то есть в три тысячи рублей?

— Э, господа, не надо бы мелочи: как, когда и почему, и почему именно денег столько, а не столько, и вся эта гамазня... ведь эдак в трех томах не упишешь, да еще эпилог потребуется!

Все это проговорил Митя с добродушною, но нетерпеливою фамильярностью человека, желающего сказать всю истину и исполненного самыми добрыми намерениями.

— Господа, — как бы спохватился он вдруг, — вы на меня не ропщите за мою брыкливость, опять прошу: поверьте еще раз, что я чувствую полную почтительность и понимаю настоящее положение дела. Не думайте, что и пьян. Я уж теперь отрезвился. Да и что пьян не мешало бы вовсе. У меня ведь как:

Отрезвел, поумнел — стал глуп,  
Напился, оглупел — стал умен.

Ха-ха! А впрочем, я вижу, господа, что мне пока еще неприлично острить пред вами, пока то есть не объяснимся. Позвольте наблюдать и собственное достоинство. Понимаю же я теперешнюю разницу: ведь я все-таки пред вами преступник сижу, вам, стало быть, в высшей степени не ровня, а вам поручено меня наблюдать: не погладите же вы меня по головке за Григория, нельзя же в самом деле безнаказанно головы ломать старикам, ведь упрячете же вы меня за него по суду, ну на полгода, ну на год в смирительный, не знаю, как там у вас присудят, хотя и без лишения прав, ведь без лишения прав, прокурор? Ну так вот, господа, понимаю же я это различие... Но согласитесь и в том, что ведь вы можете самого Бога сбить с толку такими вопросами: где ступил, как ступил, когда ступил и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так, а вы сейчас лыко в строку и запишете, и что ж выйдет? Ничего не выйдет! Да наконец, если уж я начал теперь врать, то и dokonчу, а вы, господа, как высшего образования и благороднейшие люди, меня простите. Именно закончу просьбой: разучитесь вы, господа, этой казенщине допроса, то есть сперва-де, видите ли, начинай с чего-нибудь мизерного, с ничтожного: как, дескать, встал, что съел, как плюнул, куда плюнул, и, «усыпив внимание преступника», вдруг накрывай его ошеломляющим вопросом: «Кого убил, кого обокрал?» Ха-ха! Ведь вот ваша казенщина, это ведь у вас правило, вот на чем вся ваша хитрость-то зиждется! Да ведь это вы мужиков усыпляйте подобными хитростями, а не меня. Я ведь понимаю дело, сам служил, ха-ха-ха! Не сердитесь, господа, прощаете дерзость? — крикнул он, смотря на них с удивительным почти добродушием. — Ведь Митька Карамазов сказал, стало быть, можно и извинить, потому умному человеку не извинительно, а Митьке извинительно! Ха-ха!

Николай Парфенович слушал и тоже смеялся. Прокурор хоть и не смеялся, но зорко, не спуская глаз, разглядывал Митю, как бы не желая упустить ни малейшего словечка, ни малейшего движения его, ни малейшего сотрясения малейшей черточки в лице его.

— Мы, однако, так и начали с вами первоначально, — отозвался, все продолжая смеяться, Николай Парфенович, — что не стали сбивать вас вопросами: как вы встали поутру и что скушали, а начали даже со слишком существенного.

— Понимаю, понял и оценил и еще более ценю настоящую вашу доброту со мной, беспримерную, достойную благороднейших душ. Мы тут трое сошлись люди благородные, и пусть всё у нас так и будет на взаимном доверии образованных и светских людей, связанных дворянством и честью. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей, в эту минуту унижения чести моей! Ведь не обидно это вам, господа, не обидно?

— Напротив, вы все это так прекрасно выразили, Дмитрий Федорович, — важно и одобрительно согласился Николай Парфенович.

— А мелочи, господа, все эти крючкотворные мелочи прочь, — восторженно воскликнул Митя, — а то это просто выйдет черт знает что, ведь не правда ли?

— Вполне последую вашим благоразумным советам, — ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите, — но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма, то есть именно в три тысячи?

— Для чего понадобилась? Ну, для того, для сего... ну, долг отдать.

— Кому именно?

— Это положительно отказываюсь сказать, господа! Видите, не потому, чтоб не мог сказать, али не смел, али опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки, а потому не скажу, что тут принцип: это моя частная жизнь, и я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а всё, что до дела не относится, есть моя частная жизнь! Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому — не скажу.

— Позвольте нам записать это, — сказал прокурор.

— Сделайте одолжение. Так и записывайте: что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что считаю даже бесчестным это сказать. Эх у вас времени-то много записывать!



— Позвольте вас, милостивый государь, предупредить и еще раз вам напомнить, если вы только не знали того, — с особенным и весьма строгим внушением проговорил прокурор, — что вы имеете полное право не отвечать на предлагаемые вам теперь вопросы, а мы, обратно, никакого не имеем права вымогать у вас ответы, если вы сами уклоняетесь отвечать по той или другой причине. Это дело личного соображения вашего. Но наше дело состоит опять-таки в том, чтобы вам в подобном теперешнем случае представить на вид и разъяснить всю ту степень вреда, который вы сами же себе производите, отказываясь дать то или другое показание. Затем прошу продолжать.

— Господа, я ведь не сержусь... я... — забормотал было Митя, несколько сконфуженный внушением, — вот-с видите, господа, этот самый Самсонов, к которому я тогда пошел...

Мы, конечно, не станем приводить рассказ его в подробности о том, что уже известно читателю. Рассказчик нетерпеливо хотел рассказать все до малейшей черточки и в то же время чтобы вышло поскорей. Но по мере показаний их записывали, а стало быть, необходимо его останавливали. Дмитрий Федорович осуждал это, но подчинялся, сердился, но пока еще добродушно. Правда, вскрикивал иногда: «Господа, это самого Господа Бога взбесит», или: «Господа, знаете ли вы, что вы только напрасно меня раздражаете?», но все еще, восклицая это, своего дружески экспансивного настроения пока не изменял. Таким образом он рассказал, как «надул» его третьего дня Самсонов. (Он уже догадывался теперь вполне, что его тогда надули.) Продажа часов за шесть рублей, чтобы добыть на дорогу денег, совсем еще не известная следователю и прокурору, возбудила тотчас же все чрезвычайное их внимание и уже к безмерному негодованию Мити: нашли нужным факт этот в подробности записать, ввиду вторичного подтверждения того обстоятельства, что у него и накануне не было уже ни гроша почти денег. Мало-помалу Митя начал становиться угрюмым. Затем, описав путешествие к Лягавому и проведенную в угарной избе ночь и проч., довел свой рассказ и до возвращения в город и тут начал сам, без особенной уже просьбы, подробно описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Его слушали молча и внимательно, особенно вникли в то обстоятельство, что у него давно уже завелся наблюдательный пункт за Грушенькой у Федора Павловича «на задах» в доме Марьи Кондратьевны, и о том, что ему сведения переносил Смердяков: это очень отметили и записали. О ревности своей говорил он горячо и обширно и хоть и внутренне стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на «всеобщий позор», но видимо пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных при-

стально на него, во время рассказа, взглядов следователя и особенно прокурора смутили его наконец довольно сильно. «Этот мальчик Николай Парфенович, с которым я еще всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, и этот больной прокурор не стоят того, чтоб я им это рассказывал, — грустно мелькнуло у него в уме, — позор!» — «Терпи, смиряйся и молчи», — заключил он свою думу стихом, но опять-таки скрепился вновь, чтобы продолжать далее. Перейдя к рассказу о Хохлаковой, даже вновь развеселился и даже хотел было рассказать об этой барыньке особый недавний анекдотик, не подходящий к делу, но следователь остановил его и вежливо предложил перейти «к более существенному». Наконец, описав свое отчаяние и рассказав о той минуте, когда, выйдя от Хохлаковой, он даже подумал «скорей зарезать кого-нибудь, а достать три тысячи», его вновь остановили и о том, что «зарезать хотел», записали. Митя безмолвно дал записать. Наконец дело дошло до той точки в рассказе, когда он вдруг узнал, что Грушенька его обманула и ушла от Самсонова тотчас же, как он привел ее, тогда как сама сказала, что просидит у старика до полуночи. «Если я тогда не убил, господу, эту Феню, то потому только, что мне было некогда», — вырвалось вдруг у него в этом месте рассказа. И это тщательно записали. Митя мрачно подождал и стал было повествовать о том, как он побежал к отцу в сад, как вдруг его остановил следователь и, раскрыв свой большой портфель, лежавший подле него на диване, вынул из него медный пестик.

— Знаком вам этот предмет? — показал он его Мите.

— Ах да! — мрачно усмехнулся он, — как не знаком! Дайте-ка посмотреть... А, черт, не надо!

— Вы о нем упомянуть забыли, — заметил следователь.

— А, черт! Не скрыл бы от вас, небось без него бы не обошлось, как вы думаете? Из памяти только вылетело.

— Благоволите же рассказать обстоятельно, как вы им вооружились.

— Извольте, благоволю, господу.

И Митя рассказал, как он взял пестик и побежал.

— Но какую же цель имели вы в предмете, вооружаясь таким орудием?

— Какую цель? Никакой цели! Захватил и побежал.

— Зачем же, если без цели?

В Мите кипела досада. Он пристально посмотрел на «мальчика» и мрачно и злобно усмехнулся. Дело в том, что ему все стыднее и стыднее становилось за то, что он сейчас так искренно и с такими излияниями рассказал «таким людям» историю своей ревности.

— Наплевать на пестик! — вырвалось вдруг у него.

— Однако же-с.

— Ну, от собак схватил. Ну, темнота... Ну, на всякий случай.

— А прежде вы тоже брали, выходя ночью со двора, какое-нибудь оружие, если боялись так темноты?

— Э, черт, тьфу! Господа, с вами буквально нельзя говорить! — вскрикнул Митя в последней степени раздражения и, обернувшись к писарю, весь покраснев от злобы, с какою-то исступленною ноткой в голосе быстро проговорил ему: — Запиши сейчас... сейчас... «что схватил с собой пестик, чтобы бежать убить отца моего... Федора Павловича... ударом по голове!» Ну, довольны ли вы теперь, господа? Отвели душу? — проговорил он, уставясь с вызовом на следователя и прокурора.

— Мы слишком понимаем, что подобное показание вы дали сейчас в раздражении на нас и в досаде на вопросы, которые мы вам представляем, которые вы считаете мелочными и которые, в сущности, весьма существенны, — сухо проговорил ему в ответ прокурор.

— Да помилуйте же, господа! Ну, взял пестик... Ну, для чего берут в таких случаях что-нибудь в руку? Я не знаю для чего. Схватил и побежал. Вот и все. Стыдно, господа, *rassons*<sup>1</sup>, а то, клянусь, я перестану рассказывать!

Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Он сидел к ним боком и смотрел в стену, пересиливая в себе дурное чувство. В самом деле ему ужасно как хотелось встать и объявить, что более не скажет ни слова, «хоть ведите на смертную казнь».

— Видите, господа, — проговорил он вдруг, с трудом пересиливая себя, — видите. Слушаю я вас, и мне мерещится... я, видите, вижу иногда во сне один сон... один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф, прячусь унизительно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться... Вот это и вы теперь делаете! На то похоже!

— Это вы такие видите сны? — осведомился прокурор.

— Да, такие вижу сны... А вы уж не хотите ли записать? — криво усмехнулся Митя.

— Нет-с, не записать, но все же любопытные у вас сны.

— Теперь уж не сон! Реализм, господа, реализм действительной жизни! Я волк, а вы охотники, ну и травите волка.

<sup>1</sup> довольно, право (*фр.*).

— Вы напрасно взяли такое сравнение... — начал было чрезвычайно мягко Николай Парфенович.

— Не напрасно, господа, не напрасно! — вскипел опять Митя, хотя и, видимо облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. — Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами, но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим порывам души (смело это кричу!) — нет! этому вам нельзя не верить... права даже не имеете... но —

молчи, сердце,  
Терпи, смирайся и молчи!

Ну, что же, продолжать? — мрачно оборвал он.

— Как же, сделайте одолжение, — ответил Николай Парфенович.

## V

### ТРЕТЬЕ МЫТАРСТВО

Митя хоть и заговорил сурово, но видимо еще более стал стараться не забыть и не упустить ни одной черточки из передаваемого. Он рассказал, как он перескочил через забор в сад отца, как шел до окна и обо всем, наконец, что было под окном. Ясно, точно, как бы отчеканивая, передал он о чувствах, волновавших его в те мгновения в саду, когда ему так ужасно хотелось узнать: у отца ли Грушенька или нет? Но странно это: и прокурор и следователь слушали на этот раз как-то ужасно сдержанно, смотрели сухо, вопросов делали гораздо меньше. Митя ничего не мог заключить по их лицам. «Рассердились и обиделись, — подумал он, — ну и черт!» Когда же рассказал, как он решил наконец дать отцу *знак*, что пришла Грушенька и чтобы тот отворил окно, то прокурор и следователь совсем не обратили внимания на слово «знак», как бы не поняв вовсе, какое значение имеет тут это слово, так что Митя это даже заметил. Дойдя наконец до того мгновения, когда, увидев высунувшегося из окна отца, он вскипел ненавистью и выхватил из кармана пестик, он вдруг как бы нарочно остановился. Он сидел и глядел в стену и знал, что те так и впились в него глазами.

— Ну-с, — сказал следователь, — вы выхватили оружие и... и что же произошло затем?

— Затем? А затем убил... хватил его в темя и раскрыл ему череп... Ведь так по-вашему, так! — засверкал он вдруг глазами. Весь потухший было гнев его вдруг поднялся в его душе с необычайной силой.

— По-нашему, — переговорил Николай Парфенович, — ну а по-вашему?

Митя опустил глаза и долго молчал.

— По-моему, господа, по-моему, вот как было, — тихо заговорил он, — слезы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору... Отец испугался и в первый раз тут меня рассмотрел, вскрикнул и отскочил от окна — я это очень помню. А я через сад к забору... вот тут-то и настиг меня Григорий, когда уже я сидел на заборе...

Тут он поднял наконец глаза на слушателей. Те, казалось, с совершенно безмятежным вниманием глядели на него. Какая-то судорога негодования прошла в душе Мити.

— А ведь вы, господа, в эту минуту надо мной насмехаетесь! — прервал он вдруг.

— Почему вы так заключаете? — заметил Николай Парфенович.

— Ни одному слову не верите, вот почему! Ведь понимаю же я, что до главной точки дошел: старик теперь там лежит с проломленной головой, а я — трагически описав, как хотел убить и как уже пестик выхватил, я вдруг от окна убегаю... Поэма! В стихах! Можно поверить на слово молодцу! Ха-ха! Насмешники вы, господа!

И он всем корпусом повернулся на стуле, так что стул затрещал.

— А не заметили ли вы, — начал вдруг прокурор, как будто и внимания не обратив на волнение Мити, — не заметили ли вы, когда отбегали от окна: была ли дверь в сад, находящаяся в другом конце флигеля, отперта или нет?

— Нет, не была отперта.

— Не была?

— Была заперта, напротив, и кто ж мог ее отворить? Ба, дверь, стойте! — как бы опомнился он вдруг и чуть не вздрогнул, — а разве вы нашли дверь отпертою?

— Отпертою.

— Так кто ж ее мог отворить, если не сами вы ее отворили? — страшно удивился вдруг Митя.

— Дверь стояла отпертою, и убийца вашего родителя несомненно вошел в эту дверь и, совершив убийство, эту же дверь и вышел, — как бы отчеканивая, медленно и отдельно произнес прокурор. — Это нам совершенно ясно. Убийство произошло, очевидно, в комнате, *а не через окно*, что положительно ясно из произведенного акта осмотра, из положения тела и по всему. Сомнений в этом обстоятельстве не может быть никаких.

Митя был страшно поражен.

— Да это же невозможно, господа! — вскричал он совершенно потерявшись, — я... я не входил... я положительно, я с точностью вам говорю, что дверь была заперта все время, пока я был в саду и когда я убежал из сада. Я только под окном стоял и в окно его видел, и только, только... До последней минуты помню. Да хоть бы и не помнил, то все равно знаю, потому что *знаки* только и известны были что мне да Смердякову, да ему, покойнику, а он, без знаков, никому бы в мире не отворил!

— Знаки? Какие же это знаки? — с жадным, почти истерическим любопытством проговорил прокурор и вмиг потерял всю сдержанную свою осанку. Он спросил, как бы робко подползая. Он почувствовал важный факт, ему еще не известный, и тотчас же почувствовал величайший страх, что Митя, может быть, не захочет открыть его в полноте.

— А вы и не знали! — подмигнул ему Митя, насмешливо и злобно улыбнувшись. — А что, коль не скажу? От кого тогда узнать? Знали ведь о знаках-то покойник, я да Смердяков, вот и все, да еще небо знало, да оно ведь вам не скажет. А фактик-то любопытный, черт знает что на нем можно соорудить, ха-ха! Утешьтесь, господа, открою, глупости у вас на уме. Не знаете вы, с кем имеете дело! Вы имеете дело с таким подсудимым, который сам на себя показывает, во вред себе показывает! Да-с, ибо я рыцарь чести, а вы — нет!

Прокурор скушал все пилюли, он лишь дрожал от нетерпения узнать про новый факт. Митя точно и пространно изложил им все, что касалось знаков, изобретенных Федором Павловичем для Смердякова, рассказал, что именно означал каждый стук в окно, простучал даже эти знаки по столу и на вопрос Николая Парфеновича: что, стало быть, и он, Митя, когда стучал старику в окно, то простучал именно тот знак, который означал: «Грушенька пришла», — ответил с точностью, что именно точно так и простучал, что, дескать, «Грушенька пришла».

— Вот вам, теперь сооружайте башню! — оборвал Митя и с презрением опять от них отвернулся.

— И знали про эти знаки только покойный родитель ваш, вы и слуга Смердяков? И никто более? — еще раз осведомился Николай Парфенович.

— Да, слуга Смердяков и еще небо. Запишите и про небо; это будет нелишним записать. Да и вам самим Бог понадобится.

И, уж конечно, стали записывать, но когда записывали, то прокурор вдруг, как бы совсем внезапно наткнувшись на новую мысль, проговорил:

— А ведь если знал про эти знаки и Смердяков, а вы радикально отвергаете всякое на себя обвинение в смерти вашего родите-

ля, то вот не он ли, простучав условленные знаки, заставил вашего отца отпереть себе, а затем и... совершил преступление?

Митя глубоко насмешливым, но в то же время и страшно ненавистным взглядом посмотрел на него. Он смотрел долго и молча, так что у прокурора глаза замигали.

— Опять поймали лисицу! — проговорил наконец Митя, — прищемили мерзавку за хвост, хе-хе! Я вижу вас насквозь, прокурор! Вы ведь так и думали, что я сейчас вскочу, уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во все горло: «Ай, это Смердяков, вот убийца!» Признайтесь, что вы это думали, признайтесь, тогда буду продолжать.

Но прокурор не признался. Он молчал и ждал.

— Ошиблись, не закричу на Смердякова! — сказал Митя.

— И даже не подозреваете его вовсе?

— А вы подозреваете?

— Подозревали и его.

Митя уткнулся глазами в пол.

— Шутки в сторону, — проговорил он мрачно, — слушайте: с самого начала, вот почти еще тогда, когда я выбежал к вам давеча из-за этой занавески, у меня мелькнула уж эта мысль: «Смердяков!» Здесь я сидел за столом и кричал, что неповинен в крови, а сам все думаю: «Смердяков!» И не отставал Смердяков от души. Наконец теперь подумал вдруг то же: «Смердяков», но лишь на секунду: тотчас же рядом подумал: «Нет, не Смердяков!» Не его это дело, господа!

— Не подозреваете ли вы в таком случае и еще какое другое лицо? — осторожно спросил было Николай Парфенович.

— Не знаю, кто или какое лицо, рука небес или сатана, но... не Смердяков! — решительно отрезал Митя.

— Но почему же вы так твердо и с такую настойчивостью утверждаете, что не он?

— По убеждению. По впечатлению. Потому что Смердяков человек низжайшей природы и трус. Это не трус, это совокупление всех трусостей в мире, вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы. Говоря со мной, он трепетал каждый раз, чтоб я не убил его, тогда как я и руки не подымал. Он падал мне в ноги и плакал, он целовал мне вот эти самые сапоги, буквально, умоляя, чтоб я его «не пугал». Слышите: «Не пугал» — что это за слово такое? А я его даже дарил. Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом и которую прибьет восьмилетний мальчишка. Разве это натура? Не Смердяков, господа, да и денег не любит, подарков от меня вовсе не брал... Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын, знаете вы это?

— Мы слышали эту легенду. Но ведь вот и вы же сын отца вашего, а ведь говорили же всем сами же вы, что хотели убить его.

— Камень в огород! И камень низкий, скверный! Не боюсь! О господа, может быть, вам слишком подло мне же в глаза говорить это! Потому подло, что я это сам говорил вам. Не только хотел, но и мог убить, да еще на себя добровольно натащил, что чуть не убил! Но ведь не убил же его, ведь спас же меня ангел-хранитель мой — вот этого-то вы и не взяли в соображение... А потому вам и подло, подло! Потому что я не убил, не убил, не убил! Слышите, прокурор: не убил!

Он чуть не задохся. Во все время допроса он еще ни разу не был в таком волнении.

— А что он вам сказал, господа, Смердяков-то? — заключил он вдруг, помолчав. — Могу я про это спросить у вас?

— Вы обо всем нас можете спрашивать, — с холодным и строгим видом ответил прокурор, — обо всем, что касается фактической стороны дела, а мы, повторяю это, даже обязаны удовлетворять вас на каждый вопрос. Мы нашли слугу Смердякова, о котором вы спрашиваете, лежащим без памяти на своей постеле в чрезвычайно сильном, может быть, в десятый раз сряду повторявшемся припадке падучей болезни. Медик, бывший с нами, освидетельствовав больного, сказал даже нам, что он не доживет, может быть, и до утра.

— Ну, в таком случае отца черт убил! — сорвалось вдруг у Мити, как будто он даже до сей минуты спрашивал все себя: «Смердяков или не Смердяков?»

— Мы еще к этому факту воротимся, — порешил Николай Парфенович, — теперь же не пожелаете ли вы продолжать ваше показание далее.

Митя попросил отдохнуть. Ему вежливо позволили. Отдохнув, он стал продолжать. Но было ему видимо тяжело. Он был измучен, оскорблен и потрясен нравственно. К тому же прокурор, теперь уже точно нарочно, стал поминутно раздражать его прицепкой к «мелочам». Едва только Митя описал, как он, сидя верхом на заборе, ударил по голове пестиком вцепившегося в его левую ногу Григория и затем тотчас же соскочил к поверженному, как прокурор остановил его и попросил описать подробнее, как он сидел на заборе. Митя удивился:

— Ну, вот так сидел, верхом сидел, одна нога там, другая тут...

— А пестик?

— Пестик в руках.

— Не в кармане? Вы это так подробно помните? Что ж, вы сильно размахнулись рукой?



— Должно быть, что сильно, а вам это зачем?

— Если б вы сели на стул точно так, как тогда на заборе, и представили бы нам наглядно, для уяснения, как и куда размахнулись, в какую сторону?

— Да уж вы не насмехаетесь ли надо мной? — спросил Митя, высокомерно глянув на допросчика, но тот не мигнул даже глазом. Митя судорожно повернулся, сел верхом на стул и размахнулся рукой: — Вот как ударил! Вот как убил! Чего вам еще?

— Благодарю вас. Не потрудитесь ли вы теперь объяснить: для чего, собственно, соскочили вниз, с какою целью и что, собственно, имея в виду?

— Ну, черт... к поверженному соскочил... Не знаю для чего!

— Бывши в таком волнении? И убегая?

— Да, в волнении и убегая.

— Помочь ему хотели?

— Какое помочь... Да, может, и помочь, не помню.

— Не помнили себя? То есть были даже в некотором беспамятстве?

— О нет, совсем не в беспамятстве, все помню. Все до нитки. Соскочил поглядеть и платком кровь ему обтирал.

— Мы видели ваш платок. Надеялись возвратить поверженного вами к жизни?

— Не знаю, надеялся ли? Просто убедиться хотел, жив или нет.

— А, так хотели убедиться? Ну и что ж?

— Я не медик, решить не мог. Убежал, думая, что убил, а вот он очнулся.

— Прекрасно-с, — закончил прокурор. — Благодарю вас. Мне только и нужно было. Потрудитесь продолжать далее.

Увы, Мите и в голову не пришло рассказать, хотя он и помнил это, что соскочил он из жалости и, став надубитым, произнес даже несколько жалких слов: «Попался старик, нечего делать, ну и лежи». Прокурор же вывел лишь одно заключение, что соскакивал человек, «в такой момент и в таком волнении», лишь для того только, чтобы наверное убедиться: жив или нет *единственный* свидетель его преступления. И что, стало быть, какова же была сила, решимость, хладнокровие и расчетливость человека даже в такой момент... и проч. и проч. Прокурор был доволен: «Раздразжил-де болезненного человека "мелочами", он и проговорился».

Митя с мучением продолжал далее. Но тотчас же остановил его опять уже Николай Парфенович:

— Каким же образом могли вы вбежать к служанке Федосье Марковой, имея столь окровавленные руки и, как оказалось потом, лицо?

— Да я вовсе тогда и не заметил, что я в крови! — ответил Митя.

— Это они правдоподобно, это так и бывает, — переглянулся прокурор с Николаем Парфеновичем.

— Именно не заметил, это вы прекрасно, прокурор, — одобрил вдруг и Митя. Но далее пошла история внезапного решения Мити «устраниться» и «пропустить счастливых мимо себя». И он уже никак не мог, как давеча, решиться вновь разоблачать свое сердце и рассказывать про «царицу души своей». Ему претило пред этими холодными, «впивающимися в него, как клопы» людьми. А потому на повторенные вопросы заявил кратко и резко:

— Ну и решился убить себя. Зачем было оставаться жить: это само собой в вопрос вскакивало. Явился ее прежний, бесспорный, ее обидчик, но прискакавший с любовью после пяти лет завершить законным браком обиду. Ну и понял, что все для меня пропало... А сзади позор, и вот эта кровь, кровь Григория... Зачем же жить? Ну и пошел выкупать заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить...

— А ночью пир горой?

— Ночью пир горой. Э, черт, господа, кончайте скорей. Застрелиться я хотел наверно, вот тут недалеко, за околицей, и распорядился бы с собою часов в пять утра, а в кармане бумажку приготовил, у Перхотина написал, когда пистолет зарядил. Вот она бумажка, читайте. Не для вас рассказываю! — прибавил он вдруг презрительно. Он выбросил им на стол бумажку из жилетного своего кармана; следователи прочли с любопытством и, как водится, приобшили к делу.

— А руки всё еще не подумали вымыть, даже и входя к господину Перхотину? Не опасались, стало быть, подозрений?

— Каких таких подозрений? Подозревай — хоть нет, все равно, я бы сюда ускакал и в пять часов застрелился, и ничего бы не успели сделать. Ведь если бы не случай с отцом, ведь вы бы ничего не узнали и сюда не прибыли. О, это черт сделал, черт отца убил, через черта и вы так скоро узнали! Как сюда-то так скоро поспели? Диво, фантазия!

— Господин Перхотин передал нам, что вы, войдя к нему, держали в руках... в окровавленных руках... ваши деньги... большие деньги... пачку сторублевых бумажек, и что видел это и служивший ему мальчик!

— Так, господа, помнится, что так.

— Теперь встречается один вопросик. Не можете ли вы сообщить, — чрезвычайно мягко начал Николай Парфенович, — откуда вы взяли вдруг столько денег, тогда как из дела оказывается по расчету времени даже, что вы не заходили домой?

Прокурор немножко поморщился от вопроса, поставленного так ребром, но не прервал Николая Парфеновича.

— Нет, не заходил домой, — ответил Митя, по-видимому, очень спокойно, но глядя в землю.

— Позвольте же повторить вопрос в таком случае, — как-то подползая, продолжал Николай Парфенович. — Откуда же вы могли разом достать такую сумму, когда, по собственному признанию вашему, еще в пять часов того дня...

— Нуждался в десяти рублях и заложил пистолеты у Перхотина, потом ходил к Хохлаковой за тремя тысячами, а та не дала, и проч., и всякая эта всячина, — резко прервал Митя, — да, вот, господа, нуждался, а тут вдруг тысячи появились, а? Знаете, господа, ведь вы оба теперь трусите: а что как не скажет, откуда взял? Так и есть: не скажу, господа, угадали, не узнаете, — отчеканил вдруг Митя с чрезвычайною решимостью. Следователи капельку помолчали.

— Поймите, господин Кармазов, что нам это знать существенно необходимо, — тихо и смиренно проговорил Николай Парфенович.

— Понимаю, а все-таки не скажу.

Ввязался и прокурор и опять напомнил, что допрашиваемый, конечно, может не отвечать на вопросы, если считает для себя это выгоднейшим и т. д., но в видах того, какой ущерб подозреваемый может сам нанести себе своим умолчанием и особенно ввиду вопросов такой важности, которая...

— И так далее, господа, и так далее! Довольно, слышал эту рацию и прежде! — опять оборвал Митя, — сам понимаю, какой важности дело и что тут самый существенный пункт, а все-таки не скажу.

— Ведь нам что-с, это ведь не наше дело, а ваше, сами себе повредите, — нервно заметил Николай Парфенович.

— Видите, господа, шутки в сторону, — вскинулся глазами Митя и твердо посмотрел на них обоих. — Я с самого начала уже предчувствовал, что мы на этом пункте сшибемся лбами. Но вначале, когда я давеча начал показывать, все это было в дальнейшем тумане, все плавало, и я даже был так прост, что начал с предложения «взаимного между нами доверия». Теперь сам вижу, что доверия этого и быть не могло, потому что все же бы мы пришли к этому проклятому забору! Ну, вот и пришли! Нельзя, и кончено! Впрочем, я ведь вас не виню, нельзя же и вам мне верить на слово, я ведь это понимаю!

Он мрачно замолчал.

— А не могли ли бы вы, не нарушая нисколько вашей решимости умолчать о главнейшем, не могли ли бы вы в то же время дать

нам хоть малейший намек на то: какие именно столь сильные мотивы могли бы привести вас к умолчанию в столь опасный для вас момент настоящих показаний?

Митя грустно и как-то задумчиво усмехнулся:

— Я гораздо добрее, чем вы думаете, господа, я вам сообщу почему, и дам этот намек, хотя вы того и не стоите. Потому, господа, умалчиваю, что тут для меня позор. В ответе на вопрос: откуда взял эти деньги, заключен для меня такой позор, с которым не могло бы сравняться даже и убийство, и ограбление отца, если б я его убил и ограбил. Вот почему не могу говорить. От позора не могу. Что вы это, господа, записывать хотите?

— Да, мы запишем, — пролепетал Николай Парфенович.

— Вам бы не следовало это записывать, про «позор»-то. Это я вам по доброте только души показал, а мог и не показывать, я вам, так сказать, подарил, а вы сейчас лыко в строку. Ну пишите, пишите, что хотите, — презрительно и брезгливо заключил он, — не боюсь я вас и... горжусь пред вами.

— А не скажете ли вы, какого бы рода этот позор? — пролепетал было Николай Парфенович.

Прокурор ужасно наморщился.

— Ни-ни, *s'est fini*<sup>1</sup>, не трудитесь. Да и не стоит мараться. Уж и так об вас замарался. Не стоите вы, ни вы и никто... Довольно, господа, обрываю.

Проговорено было слишком решительно. Николай Парфенович перестал настаивать, но из взглядов Ипполита Кирилловича мигом успел усмотреть, что тот еще не теряет надежды.

— Не можете ли, по крайней мере, объявить: какой величины была сумма в руках ваших, когда вы вошли с ней к господину Перхотину, то есть сколько именно рублей?

— Не могу и этого объявить.

— Господину Перхотину вы, кажется, заявляли о трех тысячах, будто бы полученных вами от госпожи Хохлаковой?

— Может быть, и заявил. Довольно, господа, не скажу сколько.

— Потрудитесь в таком случае описать, как вы сюда поехали и все, что вы сделали, сюда приехав?

— Ох, об этом спросите всех здешних. А впрочем, пожалуй, и я расскажу.

Он рассказал, но мы уже приводить рассказа не будем. Рассказывал сухо, бегло. О восторгах любви своей не говорил вовсе. Рассказал, однако, как решимость застрелиться в нем прошла «в виду новых фактов». Он рассказывал не мотивируя, не вдаваясь в

---

<sup>1</sup> кончено (*фр.*).

подробности. Да и следователи не очень его на этот раз беспокоили: ясно было, что и для них не в том состоит теперь главный пункт.

— Мы это все проверим, ко всему еще возвратимся при допросе свидетелей, который будет, конечно, происходить в вашем присутствии, — заключил допрос Николай Парфенович. — Теперь же позвольте обратиться к вам с просьбою выложить сюда на стол все ваши вещи, находящиеся при вас, а главное, все деньги, какие только теперь имеете.

— Деньги, господа? Извольте, понимаю, что надо. Удивляюсь даже, как раньше не полюбопытствовали. Правда, никуда бы не ушел, на виду сижу. Ну вот они, мои деньги, вот считайте, берите, все, кажется.

Он вынул всё из карманов, даже мелочь, два двугривенных вытащил из бокового жилетного кармана. Сосчитали деньги, оказалось восемьсот тридцать шесть рублей сорок копеек.

— И это всё? — спросил следователь.

— Всё.

— Вы изволили сказать сейчас, делая показания ваши, что в лавке Плотниковых оставили триста рублей, Перхотину дали десять, ямщику двадцать, здесь проиграли двести, потом...

Николай Парфенович пересчитал всё. Митя помог охотно. Припомнили и включили в счет всякую копейку. Николай Парфенович бегло свел итог.

— С этими восьмьюстами было, стало быть, всего у вас первоначально около полутора тысяч?

— Стало быть, — отрезал Митя.

— Как же все утверждают, что было гораздо более?

— Пусть утверждают.

— Да и вы сами утверждали.

— И я сам утверждал.

— Мы еще проверим все это свидетельствами еще не спрошенных других лиц; о деньгах ваших не беспокойтесь, они сохранятся где следует и окажутся к вашим услугам по окончании всего... начавшегося... если окажется или, так сказать, докажется, что вы имеете на них неоспоримое право. Ну-с, а теперь...

Николай Парфенович вдруг встал и твердо объявил Мите, что «принужден и должен» учинить самый подробный и точнейший осмотр «как платья вашего, так и всего...».

— Извольте, господа, все карманы выверну, если хотите.

И он действительно принялся было вывертывать карманы.

— Необходимо будет даже снять одежду.

— Как? Раздеться? Фу, черт! Да обыщите так! Нельзя ли так?

— Ни за что нельзя, Дмитрий Федорович. Надо одежду снять.

— Как хотите, — мрачно подчинился Митя, — только, пожалуйста, не здесь, а за занавесками. Кто будет осматривать?

— Конечно, за занавесками, — в знак согласия наклонил голову Николай Парфенович. Личико его изобразило особенную даже важность.

## VI

### ПРОКУРОР ПОЙМАЛ МИТЮ

Началось нечто совсем для Мити неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред сим, предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым! Главное, явилось нечто унижительное, а с их стороны «высокомерное и к нему презрительное». Еще ничего бы снять сюртук, но его просили раздеться и далее. И не то что попросили, а, в сущности, приказали; он это отлично понял. Из гордости и презрения он подчинился вполне, без слов. За занавеску вошли, кроме Николая Парфеновича, и прокурор, присутствовали и несколько мужиков, «конечно, для силы, — подумал Митя, — а может, и еще для чего-нибудь».

— Что ж, неужели и рубашку снимать? — резко спросил было он, но Николай Парфенович ему не ответил: он вместе с прокурором был углублен в рассматривание сюртука, панталон, жилета и фуражки, и видно было, что оба они очень заинтересовались осмотром. «Совершенно церемонятся, — мелькнуло у Мити, — даже вежливости необходимой не наблюдают».

— Я вас спрашиваю во второй раз: надо или нет снимать рубашку? — проговорил он еще резче и раздражительнее.

— Не беспокойтесь, мы вас уведоим, — как-то начальственно даже ответил Николай Парфенович. По крайней мере, Мите так показалось.

Между следователем и прокурором шло между тем заботливое совещание вполголоса. Оказались на сюртуке, особенно на левой поле, сзади, огромные пятна крови, засохшие, заскорузлые и не очень еще размятые. На панталонах тоже. Николай Парфенович, кроме того, собственноручно, в присутствии понятых, прошел пальцами по воротнику, по обшлагам и по всем швам сюртука и панталон, очевидно чего-то отыскивая, — конечно, денег. Главное, не скрывали от Мити подозрений, что он мог и способен был защитить деньги в платье. «Это уж прямо как с вором, а не как с офицером», — проворчал он про себя. Сообщали же друг другу мысли свои при нем до странности откровенно. Например, письмоводитель, очутившийся тоже за занавеской, суетившийся и прислу-

живавший, обратил внимание Николая Парфеновича на фуражку, которую тоже ощупали: «Помните Гриденку-писаря-с, — заметил письмоводитель, — летом жалование ездил получать на всю канцелярию, а вернувшись, заявил, что потерял в пьяном виде, — так где же нашли? Вот в этих самых кантиках, в фуражке-с, сто-рублевые были свернуты трубочками-с и в кантики зашиты». Факт с Гриденкой очень помнили и следователь и прокурор, а потому и Митину фуражку отложили и решили, что все это надо будет потом пересмотреть серьезно, да и все платье.

— Позвольте, — вскрикнул вдруг Николай Парфенович, заметив ввернутый внутрь правый обшлаг правого рукава рубашки Мити, весь залитый кровью, — позвольте-с, это как же, кровь?

— Кровь, — отрезал Митя.

— То есть это какая же-с... и почему ввернуто внутрь рукава?

Митя рассказал, как он запачкал обшлаг, возясь с Григорием, и ввернул его внутрь еще у Перхотина, когда мыл у него руки.

— Рубашку вашу тоже придется взять, это очень важно... для вещественных доказательств.

Митя покраснел и рассвирепел.

— Что ж, мне голым оставаться? — крикнул он.

— Не беспокойтесь... Мы как-нибудь поправим это, а пока потрудитесь снять и носки.

— Вы не шутите? Это действительно так необходимо? — сверкнул глазами Митя.

— Нам не до шуток, — строго отпарировал Николай Парфенович.

— Что ж, если надо... я... — забормотал Митя и, сев на кровать, начал снимать носки. Ему было нестерпимо конфузно: все одеты, а он раздет и, странно это, — раздетый, он как бы и сам почувствовал себя пред ними виноватым, и, главное, сам был почти согласен, что действительно вдруг стал всех их ниже и что теперь они уже имеют полное право его презирать. «Коли все раздеты, так не стыдно, а один раздет, а все смотрят — позор! — мелькало опять и опять у него в уме. — Точно во сне, я во сне иногда такие позоры над собою видывал». Но снять носки ему было даже мучительно: они были очень не чисты, да и нижнее белье тоже, и теперь это все увидали. А главное, он сам не любил свои ноги, почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми, особенно один грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге, и вот теперь все они увидят. От нестерпимого стыда он вдруг стал еще более и уже нарочно груб. Он сам сорвал с себя рубашку.

— Не хотите ли и еще где поискать, если вам не стыдно?

— Нет-с, пока не надо.

— Что ж, мне так и оставаться голым? — свирепо прибавил он.

— Да, это пока необходимо... Потрудитесь пока здесь присесть, можете взять с кровати одеяло и завернуться, а я... я это все улажу.

Все вещи показали понятым, составили акт осмотра, и наконец Николай Парфенович вышел, а платье вынесли за ним. Ипполит Кириллович тоже вышел. Остались с Митей одни мужики и стояли молча, не спуская с него глаз. Митя завернулся в одеяло, ему стало холодно. Голые ноги его торчали наружу, и он все никак не мог так натянуть на них одеяло, чтоб их закрыть. Николай Парфенович что-то долго не возвращался, «истязательно долго», «защетка меня почитает», скрежетал зубами Митя. «Эта дрянь прокурор тоже ушел, верно из презрения, гадко стало смотреть на голого». Митя все-таки полагал, что платье его там где-то осмотрят и принесут обратно. Но каково же было его негодование, когда Николай Парфенович вдруг воротился совсем с другим платьем, которое нес за ним мужик.

— Ну, вот вам и платье, — развязно проговорил он, по-видимому очень довольный успехом своего хождения. — Это господин Калганов жертвует на сей любопытный случай, равно как и чистую вам рубашку. С ним все это, к счастью, как раз оказалось в чемодане. Нижнее белье и носки можете сохранить свои.

Митя страшно вскипел.

— Не хочу чужого платья! — грозно закричал он, — давайте мое!

— Невозможно.

— Давайте мое, к черту Калганова, и его платье, и его самого!

Его долго уговаривали. Кое-как, однако, успокоили. Ему внушили, что платье его, как запачканное кровью, должно «прикнуть к собранию вещественных доказательств», оставить же его на нем они теперь «не имеют даже и права... в видах того, чем может окончиться дело». Митя кое-как наконец это понял. Он мрачно замолчал и стал спеша одеваться. Заметил только, надевая платье, что оно богаче его старого платья и что он бы не хотел «пользоваться». Кроме того, «унизительно узко. Шута, что ли, я горохового должен в нем разыгрывать... к вашему наслаждению?».

Ему опять внушили, что он и тут преувеличивает, что господин Калганов хоть и выше его ростом, но лишь немного, и разве только вот панталоны выйдут длинноваты. Но сюртук оказался действительно узок в плечах.

— Черт возьми, и застегнуться трудно, — заворчал снова Митя, — сделайте одолжение, извольте от меня сей же час передать господину Калганову, что не я просил у него его платья и что меня самого перерядили в шута.



— Он это очень хорошо понимает и сожалеет... то есть не о платье своем сожалеет, а, собственно, обо всем этом случае... — промямлил было Николай Парфенович.

— Наплевать на его сожаление! Ну, куда теперь? Или все здесь сидеть?

Его попросили выйти опять в «ту комнату». Митя вышел хмурый от злобы и стараясь ни на кого не глядеть. В чужом платье он чувствовал себя совсем опозоренным, даже пред этими мужиками и Трифоном Борисовичем, лицо которого вдруг зачем-то мелькнуло в дверях и исчезло. «На ряженого заглянуть приходил», — подумал Митя. Он уселся на своем прежнем стуле. Мерещилось ему что-то кошмарное и нелепое, казалось ему, что он не в своем уме.

— Ну что ж теперь, пороть розгами, что ли, меня начнете, ведь больше-то ничего не осталось, — заскрежетал он, обращаясь к прокурору. К Николаю Парфеновичу он и повернуться уже не хотел, как бы и говорить с ним не удостоивая. «Слишком уж пристально мои носки осматривал, да еще велел, подлец, выворотить, это он нарочно, чтобы выставить всем, какое у меня грязное белье!»

— Да вот придется теперь перейти к допросу свидетелей, — произнес Николай Парфенович, как бы в ответ на вопрос Дмитрия Федоровича.

— Да-с, — вдумчиво проговорил прокурор, тоже как бы что-то соображая.

— Мы, Дмитрий Федорович, сделали, что могли в ваших же интересах, — продолжал Николай Парфенович, — но, получив столь радикальный с вашей стороны отказ разъяснить нам насчет происхождения находившейся при вас суммы, мы в данную минуту...

— Это из чего у вас перстень? — перебил вдруг Митя, как бы выходя из какой-то задумчивости и указывая пальцем на один из трех больших перстней, украшавших правую ручку Николая Парфеновича.

— Перстень? — переспросил с удивлением Николай Парфенович.

— Да, вот этот... вот на среднем пальце, с жилочками, какой это камень? — как-то раздражительно, словно упрямый ребенок, настаивал Митя.

— Это дымчатый топаз, — улыбнулся Николай Парфенович, — хотите посмотреть, я сниму...

— Нет, нет, не снимайте! — свирепо крикнул Митя, вдруг опомнившись и озлившись на себя самого, — не снимайте, не надо... Черт... Господа, вы огадили мою душу! Неужели вы думаете...

те, что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца, вилять, лгать и прятаться? Нет, не таков Дмитрий Карамазов, он бы этого не вынес, и если б я был виновен, клянусь, не ждал бы вашего сюда прибытия и восхода солнца, как намеревался сначала, а истребил бы себя еще прежде, еще не дожидаясь рассвета! Я чувствую это теперь по себе. Я в двадцать лет жизни не научился бы столькому, сколько узнал в эту проклятую ночь!.. И таков ли, таков ли был бы я в эту ночь и в эту минуту теперь, сидя с вами, — так ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы смотрел на вас и на мир, если бы в самом деле был отцеубийцей, когда даже нечаянное это убийство Григория не давало мне покоя всю ночь, — не от страха, о, не от одного только страха вашего наказания! Позор! И вы хотите, чтоб я таким насмешникам, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим, слепым кротам и насмешникам, стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор, хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения? Да лучше в каторгу! Тот, который отпер к отцу дверь и вошел этою дверью, тот и убил его, тот и обокрал. Кто он — я теряюсь и мучаюсь, но это не Дмитрий Карамазов, знайте это, — и вот все, что я могу вам сказать, и довольно, довольно, не приставайте... Ссылайте, казните, но не раздражайте меня больше. Я замолчал. Зовите ваших свидетелей!

Митя проговорил свой внезапный монолог, как бы совсем уже решившись впредь окончательно замолчать. Прокурор все время следил за ним и, только что он замолчал, с самым холодным и с самым спокойным видом вдруг проговорил точно самую обыкновенную вещь:

— Вот именно по поводу этой отворенной двери, о которой вы сейчас упомянули, мы, и как раз кстати, можем сообщить вам, именно теперь, одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное, для вас и для нас, показание раненного вами старика Григория Васильева. Он ясно и настойчиво передал нам, очнувшись, на расспросы наши, что в то еще время, когда, выйдя на крыльцо и заслышав в саду некоторый шум, он решился войти в сад чрез калитку, стоявшую отпертою, то, войдя в сад, еще прежде чем заметил вас в темноте убегающего, как вы сообщили уже нам, от отворенного окошка, в котором видели вашего родителя, он, Григорий, бросив взгляд налево и заметив действительно это отворенное окошко, заметил в то же время, гораздо ближе к себе, и настезь отворенную дверь, про которую вы заявили, что она все время, как вы были в саду, оставалась запертою. Не скрою от вас, что сам Васильев твердо заключает и свидетельствует, что вы должны были выбежать из двери, хотя, конечно, он своими глазами и не видал,

как вы выбежали, заприметив вас в первый момент уже в некотором от себя отдалении, среди сада, убегающего к стороне забора...

Митя еще с половины речи вскочил со стула.

— Вздор! — завопил он вдруг в испуге, — наглый обман! Он не мог видеть отворенную дверь, потому что она была тогда закрыта... Он лжет!..

— Долгом считаю вам повторить, что показание его твердое. Он не колеблется. Он стоит на нем. Мы несколько раз его переспрашивали.

— Именно, я несколько раз переспрашивал! — с жаром подтвердил и Николай Парфенович.

— Неправда, неправда! Это или клевета на меня, или галлюцинация сумасшедшего, — продолжал кричать Митя, — просто-запросто в бреду, в крови, от раны, ему померещилось, когда очнулся... Вот он и бредит.

— Да-с, но ведь заметил он отпертую дверь не когда очнулся от раны, а еще прежде того, когда только он входил в сад из флигеля.

— Да неправда же, неправда, это не может быть! Это он со злобы на меня клеветает... Он не мог видеть... Я не выбегал из двери, — задыхался Митя.

Прокурор повернулся к Николаю Парфеновичу и внушительно проговорил ему:

— Предъявите.

— Знаком вам этот предмет? — выложил вдруг Николай Парфенович на стол большой, из толстой бумаги, канцелярского размера конверт, на котором виднелись еще три сохранившиеся печати. Самый же конверт был пуст и с одного бока разорван. Митя выпучил на него глаза.

— Это... это отцовский, стало быть, конверт, — пробормотал он, — тот самый, в котором лежали эти три тысячи... и, если надпись, позвольте: «цыпленочку»... вот: три тысячи, — вскричал он, — три тысячи, видите?

— Как же-с, видим, но мы денег уже в нем не нашли, он был пустой и валялся на полу, у кровати, за ширмами.

Несколько секунд Митя стоял как ошеломленный.

— Господа, это Смердяков! — закричал он вдруг изо всей силы, — это он убил, он ограбил! Только он один и знал, где спрятан у старика конверт... Это он — теперь ясно!

— Но ведь и вы же знали про конверт и о том, что он лежит под подушкой.

— Никогда не знал: я и не видел никогда его вовсе, в первый раз теперь вижу, а прежде только от Смердякова слышал... Он один знал, где у старика спрятано, а я не знал... — совсем задыхался Митя.

— И, однако ж, вы сами показали нам давеча, что конверт лежал у покойного родителя под подушкой. Вы именно сказали, что под подушкой, стало быть, знали же, где лежал.

— Мы так и записали! — подтвердил Николай Парфенович.

— Вздор, нелепость! Я совсем не знал, что под подушкой. Да, может быть, вовсе и не под подушкой... Я наобум сказал, что под подушкой... Что Смердяков говорит? Вы его спрашивали, где лежал? Что Смердяков говорит? Это главное... А я нарочно налгал на себя... Я вам соврал не думавши, что лежал под подушкой, а вы теперь... Ну знаете, сорвется с языка, и соврешь. А знал один Смердяков, только один Смердяков, и никто больше!.. Он и мне не открыл, где лежит! Но это он, это он; это несомненно он убил, это мне теперь ясно как свет, — восклицал все более и более в исступлении Митя, бессвязно повторяясь, горячась и ожесточаясь. — Поймите вы это и арестуйте его скорее, скорей... Он именно убил, когда я убежал и когда Григорий лежал без чувств, это теперь ясно... Он подал знаки, и отец ему отпер... Потому что только он один и знал знаки, а без знаков отец бы никому не отпер...

— Но опять вы забываете то обстоятельство, — все так же сдержанно, но как бы уже торжествуя, заметил прокурор, — что знаков и подавать было не надо, если дверь уже стояла отпертою, еще при вас, еще когда вы находились в саду...

— Дверь, дверь, — бормотал Митя и безмолвно уставился на прокурора, он в бессилии опустил опять на стул.

Все замолчали.

— Да, дверь!.. Это фантом! Бог против меня! — воскликнул он, совсем уже без мысли глядя пред собою.

— Вот видите, — важно проговорил прокурор, — и посудите теперь сами, Дмитрий Федорович: с одной стороны, это показание об отворенной двери, из которой вы выбежали, подавляющее вас и нас. С другой стороны непонятное, упорное и почти ожесточенное умолчание ваше насчет происхождения денег, вдруг появившихся в ваших руках, тогда как еще за три часа до этой суммы вы, по собственному показанию, заложили пистолеты ваши, чтобы получить только десять рублей! Ввиду всего этого решите сами: чему же нам верить и на чем остановиться? И не претендуйте на нас, что мы «холодные циники и насмешливые люди», которые не в состоянии верить благородным порывам вашей души... Вникните, напротив, и в наше положение...

Митя был в невообразимом волнении, он побледнел.

— Хорошо! — воскликнул он вдруг, — я открою вам мою тайну, открою, откуда взял деньги!.. Открою позор, чтобы не винить потом ни вас, ни себя...

— И поверьте, Дмитрий Федорович, — каким-то умиленно радостным голоском подхватил Николай Парфенович, — что всякое искреннее и полное сознание ваше, сделанное именно в теперешнюю минуту, может впоследствии повлиять к безмерному облегчению участи вашей и даже, кроме того...

Но прокурор слегка толкнул его под столом, и тот успел вовремя остановиться. Митя, правда, его и не слушал.

## VII

### ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МИТИ. ОСВИСТАЛИ

— Господа, — начал он все в том же волнении, — эти деньги... я хочу признаться вполне... эти деньги были *мои*.

У прокурора и следователя даже лица вытянулись, не того совсем они ожидали.

— Как же ваши, — пролепетал Николай Парфенович, — тогда как еще в пять часов дня, по собственному признанию вашему...

— Э, к черту пять часов того дня и собственное признание мое, не в том теперь дело! Эти деньги были мои, мои, то есть краденые мои... не мои то есть, а краденые, мною украденные, и их было полторы тысячи, и они были со мной, все время со мной...

— Да откуда же вы их взяли?

— С шеи, господа, взял, с шеи, вот с этой самой моей шеи... Здесь они были у меня на шее, зашиты в тряпку и висели на шее, уже давно, уже месяц, как я их на шее со стыдом и с позором носил!

— Но у кого же вы их... присвоили?

— Вы хотели сказать: «украли»? Говорите теперь слова прямо. Да, я считаю, что я их все равно что украд, а если хотите, действительно «присвоил». Но, по-моему, украд. А вчера вечером так уж совсем украд.

— Вчера вечером? Но вы сейчас сказали, что уж месяц, как их... достали!

— Да, но не у отца, не у отца, не беспокойтесь, не у отца украд, а у ней. Дайте рассказать и не перебивайте. Это ведь тяжело. Видите: месяц назад призывает меня Катерина Ивановна Верховцева, бывшая невеста моя... Знаете вы ее?

— Как же-с, помилуйте.

— Знаю, что знаете. Благороднейшая душа, благороднейшая из благородных, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно... и заслуженно, заслуженно ненавидевшая!

— Катерина Ивановна? — с удивлением переспросил следователь. Прокурор тоже ужасно уставился.

— О, не произносите имени ее всуе! Я подлец, что ее вывожу. Да, я видел, что она меня ненавидела... давно... с самого первого раза, с самого того у меня на квартире еще там... Но довольно, довольно, это вы даже и знать недостойны, это не надо вовсе... А надо лишь то, что она призвала меня месяц назад, выдала мне три тысячи, чтоб отослать своей сестре и еще одной родственнице в Москву (и как будто сама не могла послать!), а я... это было именно в тот роковой час моей жизни, когда я... ну, одним словом, когда я только что полюбил другую, *ее*, теперешнюю, вон она у вас теперь там внизу сидит, Грушеньку... я схватил ее тогда сюда в Мокрое и прокутил здесь в два дня половину этих проклятых трех тысяч, то есть полторы тысячи, а другую половину удержал на себе. Ну вот, эти полторы тысячи, которые я удержал, я и носил с собой на шее, вместо ладонки, а вчера распечатал и прокутил. Сдача в восемьсот рублей у вас теперь в руках, Николай Парфенович, это сдача со вчерашних полутора тысяч.

— Позвольте, как же это, ведь вы прокутили тогда здесь месяц назад три тысячи, а не полторы, все это знают?

— Кто ж это знает? Кто считал? Кому я давал считать?

— Помилуйте, да вы сами говорили всем, что прокутили тогда ровно три тысячи.

— Правда, говорил, всему городу говорил, и весь город говорил, и все так считали, и здесь, в Мокром, так же все считали, что три тысячи. Только все-таки я прокутил не три, а полторы тысячи, а другие полторы зашил в ладонку; вот как дело было, господа, вот откуда эти вчерашние деньги...

— Это почти чудесно... — пролепетал Николай Парфенович.

— Позвольте спросить, — проговорил наконец прокурор, — не объявляли ли вы хоть кому-нибудь об этом обстоятельстве прежде... то есть, что полторы эти тысячи оставили тогда же, месяц назад, при себе?

— Никому не говорил.

— Это странно. Неужели так-таки совсем никому?

— Совсем никому. Никому и никому.

— Но почему же такое умолчание? Что побудило вас сделать из этого такой секрет? Я объяснюсь точнее: вы объявили нам наконец вашу тайну, по словам вашим столь «позорную», хотя, в сущности, — то есть, конечно, лишь относительно говоря, — этот поступок, то есть именно присвоение чужих трех тысяч рублей, и, без сомнения, лишь временное — поступок этот, на мой взгляд по крайней мере, есть лишь в высшей степени поступок легкомысленный, но не столь позорный, принимая, кроме того, во внимание и ваш характер... Ну, положим, даже и зазорный в высшей

степени поступок, я согласен, но зазорный, все же не позорный... То есть я веду, собственно, к тому, что про растраченные вами эти три тысячи от госпожи Верховцевой уже многие догадывались в этот месяц и без вашего признания, я слышал эту легенду сам... Михаил Макарович, например, тоже слышал. Так что, наконец, это почти уже не легенда, а сплетня всего города. К тому же есть следы, что и вы сами, если не ошибаюсь, кому-то признавались в этом, то есть именно что деньги эти от госпожи Верховцевой... А потому и удивляет меня слишком, что вы придавали до сих пор, то есть до самой настоящей минуты, такую необычайную тайну этим отложенным, по вашим словам, полутора тысячам, сопрягая с вашей тайной этою какой-то даже ужас... Невероятно, чтобы подобная тайна могла стоить вам стольких мучений к признанию... потому что вы кричали сейчас даже, что лучше на каторгу, чем признаться...

Прокурор замолк. Он разгорячился. Он не скрывал своей досады, почти злобы, и выложил все накопившееся, даже не заботясь о красоте слога, то есть бессвязно и почти сбивчиво.

— Не в полутора тысячах заключался позор, а в том, что эти полторы тысячи я отделил от тех трех тысяч, — твердо произнес Митя.

— Но что же, — раздражительно усмехнулся прокурор, — что именно в том позорного, что уже от взятых зазорно, или, если сами желаете, то и позорно, трех тысяч вы отделили половину по своему усмотрению? Важнее то, что вы три тысячи присвоили, а не то, как с ними распорядились. Кстати, почему вы именно так распорядились, то есть отделили эту половину? Для чего, для какой цели так сделали, можете это нам объяснить?

— О господи, да в цели-то и вся сила! — воскликнул Митя. — Отделил по подлости, то есть по расчету, ибо расчет в этом случае и есть подлость... И целый месяц продолжалась эта подлость!

— Непонятно.

— Удивляюсь вам. А впрочем, объяснюсь еще, действительно, может быть, непонятно. Видите, следите за мной: я присвою три тысячи, вверенные моей чести, кучу на них, прокутил все, наутро являюсь к ней и говорю: «Катя, виноват, я прокутил твои три тысячи», — ну что, хорошо? Нет, нехорошо — бесчестно и малодушно, зверь и до зверства не умеющий сдержатъ себя человек, так ли, так ли? Но все же не вор? Не прямой же ведь вор, не прямой, согласитесь! Прокутил, но не украл! Теперь второй, еще выгоднейший случай, следите за мной, а то я, пожалуй, опять собою — как-то голова кружится, — итак, второй случай: прокучиваю я здесь только полторы тысячи из трех, то есть половину. На другой день прихожу к ней и приношу эту половину: «Катя, возьми от меня,

мерзавца и легкомысленного подлеца, эту половину, потому что половину я прокутил, прокучу, стало быть, и эту, так чтобы от греха долой!» Ну как в таком случае? Все что угодно, и зверь и подлец, но уже не вор, не вор окончательно, ибо если б вор, то наверно бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее. Тут же она видит, что коль скоро принес половину, то донесет и остальные, то есть прокученные, всю жизнь искать будет, работать будет, но найдет и отдаст. Таким образом, подлец, но не вор, не вор, как хотите, не вор!

— Положим, что есть некоторая разница, — холодно усмехнулся прокурор. — Но странно все-таки, что вы видите в этом такую роковую уже разницу.

— Да, вижу такую роковую разницу! Подлецом может быть всякий, да и есть, пожалуй, всякий, но воровом может быть не всякий, а только архиподлец. Ну да я там этим тонкостям не умею... А только вор подлее подлеца, вот мое убеждение. Слушайте: я ношу деньги целый месяц на себе, завтра же я могу решиться их отдать, и я уже не подлец, но решиться-то я не могу, вот что, хотя и каждый день решаюсь, хотя и каждый день толкаю себя: «Решись, решишь, подлец», и вот весь месяц не могу решиться, вот что! Что, хорошо, по-вашему, хорошо?

— Положим, не так хорошо, это я отлично могу понять и в этом я не спорю, — сдержанно ответил прокурор. — Да и вообще отложим всякое препирание об этих тонкостях и различиях, а вот опять-таки если бы вам угодно было перейти к делу. А дело именно в том, что вы еще не изволили нам объяснить, хотя мы и спрашивали: для чего первоначально сделали такое разделение в этих трех тысячах, то есть одну половину прокутили, а другую припрятали? Именно для чего, собственно, припрятали, на что хотели, собственно, эти отделенные полторы тысячи употребить? Я на этом вопросе настаиваю, Дмитрий Федорович.

— Ах, да и в самом деле! — вскричал Митя, ударив себя по лбу, — простите, я вас мучаю, а главного и не объясняю, а то бы вы вмиг поняли, ибо в цели-то, в цели-то этой и позор! Видите, тут всё этот старик, покойник, он все Аграфену Александровну смущал, а я ревновал, думал тогда, что она колеблется между мною и им; вот и думаю каждый день: что, если вдруг с ее стороны решение, что, если она устанет меня мучить и вдруг скажет мне: «Тебя люблю, а не его, увози меня на край света». А у меня всего два двугривенных; с чем увезешь, что тогда делать, — вот и пропал. Я ведь ее тогда не знал и не понимал, я думал, что ей денег надо и что нищеты моей она мне не простит. И вот я ехидно отсчитываю половину от трех тысяч и зашиваю иглой хладнокровно, зашиваю с расчетом, еще до пьянства зашиваю, а потом, как уж



зашил, на остальную половину еду пьянствовать! Нет-с, это подлость! Поняли теперь?

Прокурор громко рассмеялся, следовательно тоже.

— По-моему, даже благоразумно и нравственно, что удержались и не все прокутили, — прохихикал Николай Парфенович, — потому что что же тут такого-с?

— Да то, что украл, вот что! О боже, вы меня ужасаете непониманием! Все время, пока я носил эти полторы тысячи, зашитые на груди, я каждый день и каждый час говорил себе: «Ты вор, ты вор!» Да я оттого и свирепствовал в этот месяц, оттого и дрался в трактире, оттого и отца избил, что чувствовал себя вором! Я даже Алеше, брату моему, не решился и не посмел открыть про эти полторы тысячи: до того чувствовал, что подлец и мазурик! Но знаете, что пока я носил, я в то же время каждый день и каждый час мой говорил себе: «Нет, Дмитрий Федорович, ты, может быть, еще и не вор». Почему? А именно потому, что ты можешь завтра пойти и отдать эти полторы тысячи Кате. И вот вчера только я решился сорвать мою ладонку с шеи, идя от Фени к Перхотину, а до той минуты не решался, и только что сорвал, в ту же минуту стал уже окончательный и бесспорный вор, вор и бесчестный человек на всю жизнь. Почему? Потому что вместе с ладонкой и мечту мою пойти к Кате и сказать: «Я подлец, а не вор» — разорвал! Понимаете теперь, понимаете!

— Почему же вы именно вчера вечером на это решились? — прервал было Николай Парфенович.

— Почему? Смешно спрашивать: потому что осудил себя на смерть, в пять часов утра, здесь на рассвете: «Ведь все равно, подумал, умирать подлецом или благородным!» Так вот нет же, не все равно оказалось! Верите ли, господа, не то, не то меня мучило больше всего в эту ночь, что я старика слугу убил и что грозила Сибирь, и еще когда? — когда увенчалась любовь моя и небо открылось мне снова! О, это мучило, но не так; все же не так, как это проклятое сознание, что я сорвал наконец с груди эти проклятые деньги и их растратил, а стало быть, теперь уже вор окончательный! О господа, повторяю вам с кровью сердца: много я узнал в эту ночь! Узнал я, что не только жить подлецом невозможно, но и умирать подлецом невозможно... Нет, господа, умирать надо честно!..

Митя был бледен. Лицо его имело изможденный и измученный вид, несмотря на то что он был до крайности разгорячен.

— Я начинаю вас понимать, Дмитрий Федорович, — мягко и даже как бы сострадательно протянул прокурор, — но все это, воля ваша, по-моему, лишь нервы... болезненные нервы ваши, вот

что-с. И почему бы, например, вам, чтоб избавить себя от стольких мук, почти целого месяца, не пойти и не отдать эти полторы тысячи той особе, которая вам их доверила, и, уже объяснившись с нею, почему бы вам, ввиду вашего тогдашнего положения, столь ужасного, как вы его рисуете, не испробовать комбинацию, столь естественно представляющуюся уму, то есть после благородного признания ей в ваших ошибках, почему бы вам у ней же и не попросить потребную на ваши расходы сумму, в которой она, при великодушном сердце своем и видя ваше расстройство, уж конечно, бы вам не отказала, особенно если бы под документ, или, наконец, хотя бы под такое же обеспечение, которое вы предлагали купцу Самсонову и госпоже Хохлаковой? Ведь считаете же вы даже до сих пор это обеспечение ценным?

Митя вдруг покраснел:

— Неужто же вы меня считаете даже до такой уж степени подлецом? Не может быть, чтобы вы это серьезно!.. — проговорил он с негодованием, смотря в глаза прокурору и как бы не веря, что от него слышал.

— Уверяю вас, что серьезно... Почему вы думаете, что несерьезно? — удивился в свою очередь и прокурор.

— О, как это было бы подло! Господа, знаете ли вы, что вы меня мучаете! Извольте, я вам все скажу, так и быть, я вам теперь уже во всей моей inferнальности признаюсь, но, чтобы вас же устыдить, и вы сами удивитесь, до какой подлости может дойти комбинация чувств человеческих. Знайте же, что я уже имел эту комбинацию сам, вот эту самую, про которую вы сейчас говорили, прокурор! Да, господа, и у меня была эта мысль в этот проклятый месяц, так что почти уже решался идти к Кате, до того был подл! Но идти к ней, объявить ей мою измену и на эту же измену, для исполнения же этой измены, для предстоящих расходов на эту измену, у ней же, у Кати же, просить денег (просить, слышите, просить!) и тотчас от нее же убежать с другою, с ее соперницей, с ее ненавистницей и обидчицей, — помилуйте, да вы с ума сошли, прокурор!

— Сума не сума, но, конечно, я сгоряча не сообразил... насчет этой самой вот женской ревности... если тут действительно могла быть ревность, как вы утверждаете... да, пожалуй, тут есть нечто в этом роде, — усмехнулся прокурор.

— Но это была бы уж такая мерзость, — свирепо ударил Митя кулаком по столу, — это так бы роняло, что уж я и не знаю! Да знаете ли вы, что она могла бы мне дать эти деньги, да и дала бы, наверно дала бы, из отщепености мне дала бы, из наслаждения мщением, из презрения ко мне дала бы, потому что это тоже inferналь-

ная душа и великого гнева женщина! Я-то бы деньги взял, о, взял бы, взял, и тогда всю жизнь... о боже! Простите, господа, я потону так кричу, что у меня была эта мысль еще так недавно, еще всего только третьего дня, именно когда я ночью с Лягавым возился, и потом вчера, да, и вчера, весь день вчера, я помню это, до самого этого случая...

— До какого случая? — ввернул было Николай Парфенович с любопытством, но Митя не расслышал.

— Я сделал вам страшное признание, — мрачно заключил он. — Оцените же его, господа. Да мало того, мало оценить, не оцените, а цените его, а если нет, если и это пройдет мимо ваших душ, то тогда уже вы прямо не уважаете меня, господа, вот что я вам говорю, и я умру от стыда, что признался таким, как вы! О, я застрелюсь! Да я уже вижу, вижу, что вы мне не верите! Как, так вы и это хотите записывать? — вскричал он уже в испуге.

— Да вот что вы сейчас сказали, — в удивлении смотрел на него Николай Парфенович, — то есть что вы до самого последнего часа все еще располагали идти к госпоже Верховцевой просить у нее эту сумму... Уверяю вас, что это очень важное для нас показание, Дмитрий Федорович, то есть про весь этот случай... и особенно для вас, особенно для вас важное.

— Помилосердуйте, господа, — всплеснул руками Митя, — хоть этого-то не пишите, постыдитесь! Ведь я, так сказать, душу мою разорвал пополам пред вами, а вы воспользовались и роетесь пальцами по разорванному месту в обеих половинах... О боже!

Он закрылся в отчаянии руками.

— Не беспокойтесь так, Дмитрий Федорович, — заключил прокурор, — все теперь записанное вы потом прослушаете сами и с чем не согласитесь, мы по вашим словам изменим, а теперь я вам один вопросик еще в третий раз повторю: неужто в самом деле никто, так-таки вовсе никто, не слышал от вас об этих зашитых вами в ладонку деньгах? Это, я вам скажу, почти невозможно представить.

— Никто, никто, я сказал, иначе вы ничего не поняли! Оставьте меня в покое.

— Извольте-с, это дело должно объясниться и еще много к тому времени впереди, но пока рассудите: у нас, может быть, десятки свидетельств о том, что вы именно сами распространяли и даже кричали везде о трех тысячах, истраченных вами, о трех, а не о полтора, да и теперь, при появлении вчерашних денег, тоже многим успели дать знать, что денег опять привезли с собою три тысячи...

— Не десятки, а сотни свидетельств у вас в руках, две сотни свидетельств, две сотни человек слышали, тысяча слышала! — воскликнул Митя.

— Ну вот видите-с, все, все свидетельствуют. Так ведь значит же что-нибудь слово *все*?

— Ничего не значит, я соврал, а за мной и все стали врать.

— Да зачем же вам-то так надо было «врать», как вы изъясняетесь?

— А черт знает. Из похвальбы, может быть... так... что вот так много денег прокутил... Из того, может, чтоб об этих зашитых деньгах забыть... да, это именно оттого... черт... который раз вы зададите этот вопрос? Ну, соврал, и кончено, раз соврал и уж не хотел переправлять. Из-за чего иной раз врет человек?

— Это очень трудно решить, Дмитрий Федорович, из-за чего врет человек, — внушительно проговорил прокурор. — Скажите, однако, велика ли была эта, как вы называете ее, ладонка, на вашей шее?

— Нет, невелика.

— А какой, например, величины?

— Бумажку сторублевую пополам сложить, вот и величина.

— А лучше бы вы нам показали лоскутки? Ведь они где-нибудь при вас?

— Э, черт... какие глупости... я не знаю, где они.

— Но позвольте, однако: где же и когда вы ее сняли с шеи? Ведь вы, как сами показываете, домой не заходили?

— А вот как от Фени вышел и шел к Перхотину, дорогой и сорвал с шеи и вынул деньги.

— В темноте?

— Для чего тут свечка? Я это пальцем в один миг сделал.

— Без ножниц, на улице?

— На площади, кажется; зачем ножницы? Ветхая тряпка, сейчас разодралась.

— Куда же вы ее потом дели?

— Там же и бросил.

— Где именно?

— Да на площади же, вообще на площади! Черт ее знает где на площади. Да для чего вам это?

— Это чрезвычайно важно, Дмитрий Федорович: вещественные доказательства в вашу же пользу, и как это вы не хотите понять? Кто же вам помогал зашивать месяц назад?

— Никто не помогал, сам зашил.

— Вы умеете шить?

— Солдат должен уметь шить, а тут и умения никакого не надо.

— Где же вы взяли материал, то есть эту тряпку, в которую зашили?

— Неужто вы не смеетесь?

— Отнюдь нет, и нам вовсе не до смеха, Дмитрий Федорович.

— Не помню, где взял тряпку, где-нибудь взял.

— Как бы, кажется, этого-то уж не запомнить?

— Да ей-богу же не помню, может, что-нибудь разодрал из белья.

— Это очень интересно: в вашей квартире могла бы завтра отыскаться эта вещь, рубашка, может быть, от которой вы оторвали кусок. Из чего эта тряпка была: из холста, из полотна?

— Черт ее знает из чего. Пойдите... Я, кажется, ни от чего не отрывал. Она была коленкоровая... Я, кажется, в хозяйкин чепчик зашил.

— В хозяйкин чепчик?

— Да, я у ней утащил.

— Как это утащили?

— Видите, я действительно, помнится, как-то утащил один чепчик на тряпки, а может, перо обтирать. Взял тихонько, потому никуда не годная тряпка, лоскутки у меня валялись, а тут эти полторы тысячи, я взял и зашил... Кажется, именно в эти тряпки зашил. Старая коленкоровая дрянь, тысячу раз мытая.

— И вы это твердо уже помните?

— Не знаю, твердо ли. Кажется, в чепчик. Ну да наплевать!

— В таком случае ваша хозяйка могла бы, по крайней мере, припомнить, что у нее пропала эта вещь?

— Вовсе нет, она и не хватилась. Старая тряпка, говорю вам, старая тряпка, гроша не стоит.

— А иголку откуда взяли, нитки?

— Я прекращаю, больше не хочу. Довольно! — рассердился наконец Митя.

— И странно опять-таки, что вы так совсем уж забыли, в каком именно месте бросили на площади эту... ладонку.

— Да велите завтра площадь выместь, может, найдете, — усмехнулся Митя. — Довольно, господа, довольно, — измученным голосом порешил он. — Вижу ясно: вы мне не поверили! Ни в чем и ни на грош! Вина моя, а не ваша, не надо было соваться. Зачем, зачем я омерзил себя признанием в тайне моей! А вам это смех, я по глазам вашим вижу. Это вы меня, прокурор, довели! Пойте себе гимн, если можете... Будьте вы прокляты, истязатели!

Он склонился головой и закрыл лицо руками. Прокурор и следователь молчали. Через минуту он поднял голову и как-то без мысли поглядел на них. Лицо его выражало уже совершившееся, уже безвозвратное отчаяние, и он как-то тихо замолк, сидел и как будто себя не помнил. Между тем надо было оканчивать дело: следовало неотложно перейти к допросу свидетелей. Было уже часов восемь утра. Свечи давно уже как потушили. Михаил Макарович и Калганов, все время допроса входившие и уходившие из комна-

ты, на этот раз оба опять вышли. Прокурор и следователь имели тоже чрезвычайно усталый вид. Наставшее утро было ненастное, все небо затянулось облаками, и дождь лил как из ведра. Митя без мысли смотрел на окна.

— А можно мне в окно поглядеть? — спросил он вдруг Николая Парфеновича.

— О, сколько вам угодно, — ответил тот.

Митя встал и подошел к окну. Дождь так и сек в маленькие зеленые стекла окошек. Виднелась прямо под окном грязная дорога, а там дальше, в дождливой мгле, черные, бедные, неприглядные ряды изб, еще более, казалось, почерневших и победневших от дождя. Митя вспомнил про «Феба златокудрого» и как он хотел застрелиться с первым лучом его. «Пожалуй, в такое утро было бы и лучше», — усмехнулся он и вдруг, махнув сверху вниз рукой, повернулся к «истязателям».

— Господа! — воскликнул он, — я ведь вижу, что я пропал. Но она? Скажите мне про нее, умоляю вас, неужели и она пропадет со мной? Ведь она невинна, ведь она вчера кричала не в уме, что «во всем виновата». Она ни в чем, ни в чем не виновата! Я всю ночь скорбел, с вами сидя... Нельзя ли, не можете ли мне сказать: что вы с нею теперь сделаете?

— Решительно успокойтесь на этот счет, Дмитрий Федорович, — тотчас же и с видимою поспешностью ответил прокурор, — мы не имеем пока никаких значительных мотивов хоть в чем-нибудь обеспокоить особу, которую вы так интересуетесь. В дальнейшем ходе дела, надеюсь, окажется то же... Напротив, сделаем в этом смысле все, что только можно с нашей стороны. Будьте совершенно спокойны.

— Господа, благодарю вас, я ведь так и знал, что вы все-таки же честные и справедливые люди, несмотря ни на что. Вы сняли бремя с души... Ну, что же мы теперь будем делать? Я готов.

— Да вот-с, поспешить бы надо. Нужно неотложно перейти к допросу свидетелей. Все это должно произойти непременно в вашем присутствии, а потому...

— А не выпить ли сперва чайку? — перебил Николай Парфенович, — ведь уж, кажется, заслужили!

Порешили, что если есть готовый чай внизу (ввиду того, что Михаил Макарович наверно ушел «почаевать»), то выпить по стаканчику и затем «продолжать и продолжать». Настоящий же чай и «закусочку» отложить до более свободного часа. Чай действительно нашелся внизу, и его вскорости доставили вверх. Митя сначала отказался от стакана, который ему любезно предложил Николай Парфенович, но потом сам попросил и выпил с жаднос-

тью. Вообще же имел какой-то даже удивительно измученный вид. Казалось бы, при его богатырских силах, что могла значить одна ночь кутежа и хотя бы самых сильных при том ощущений? Но он сам чувствовал, что едва сидит, а по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами. «Еще немного, и, пожалуй, бредить начну», — подумал он про себя.

## VIII

### ПОКАЗАНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ. ДИТЁ

Допрос свидетелей начался. Но мы уже не станем продолжать наш рассказ в такой подробности, в какой вели его до сих пор. А потому и опустим о том, как Николай Парфенович внушал каждому призываемому свидетелю, что тот должен показывать по правде и совести и что впоследствии должен будет повторить это показание свое под присягой. Как, наконец, от каждого свидетеля требовалось, чтоб он подписал протокол своих показаний, и проч. и проч. Отметим лишь одно, что главнейший пункт, на который обращалось все внимание допрашивавших, преимущественно был все тот же самый вопрос о трех тысячах, то есть было ли их три или полторы в первый раз, то есть в первый кутеж Дмитрия Федоровича здесь, в Мокром, месяц назад, и было ли их три или полторы тысячи вчера, во второй кутеж Дмитрия Федоровича. Увы, все свидетельства, все до единого, оказались против Мити и ни одного в его пользу, а иные из свидетельств так даже внесли новые, почти ошеломляющие факты в опровержение показаний его. Первым спрошенным был Трифон Борисыч. Он предстал пред допрашивающими без малейшего страха, напротив, с видом строго и сурового негодования против обвиняемого и тем несомненно придал себе вид чрезвычайной правдивости и собственного достоинства. Говорил мало, сдержанно, ждал вопросов, отвечал точно и обдуманно. Твердо и не обинуясь показал, что месяц назад не могло быть истрачено менее трех тысяч, что здесь все мужики покажут, что слышали о трех тысячах от самого «Митрий Федорыча»: «Одним цыганкам сколько денег перебросали. Им одним небось за тысячу перевалило».

— И пятисот, может, не дал, — мрачно заметил на это Митя, — вот только не считал тогда, пьян был, а жаль...

Митя сидел на этот раз сбоку, спиной к занавескам, слушал мрачно, имел вид грустный и усталый, как бы говоривший: «Э, показывайте что хотите, теперь все равно!»

— Больше тысячи пошло на них, Митрий Федорыч, — твердо опроверг Трифон Борисович, — бросали зря, а они подымали. На-

род-то ведь этот вор и мошенник, конокрады они, угнали их отселева, а то они сами, может, показали бы, скольким от вас пожились. Сам я в руках у вас тогда сумму видел, — считать не считал, вы мне не давали, это справедливо, — а на глаз, помню, многим больше было, чем полторы тысячи... Куды полторы! Видывали и мы деньги, можем судить...

Насчет вчерашней же суммы Трифон Борисович прямо показал, что Дмитрий Федорович сам ему, только что встал с лошадей, объявил, что привез три тысячи.

— Полно, так ли, Трифон Борисыч, — возразил было Митя, — неужто так-таки положительно объявил, что привез три тысячи?

— Говорили, Митрий Федорыч. При Андрее говорили. Вот он тут сам, Андрей, еще не уехал, призовите его. А там в зале, когда хор потчевали, так прямо закричали, что шестую тысячу здесь оставляете, — с прежними то есть, оно так понимать надо. Степан да Семен слышали, да Петр Фомич Калганов с вами тогда рядом стоял, может, и они тоже запомнили...

Показание о шестой тысяче принято было с необыкновенным впечатлением допрашивающими. Понравилась новая редакция: три да три, значит, шесть, стало быть, три тысячи тогда да три тысячи теперь, вот они и все шесть, выходило ясно.

Опросили всех указанных Трифоном Борисовичем мужиков, Степана и Семена, ямщика Андрея и Петра Фомича Калганова. Мужики и ямщик не обинюясь подтвердили показание Трифона Борисыча. Кроме того, особенно записали, со слов Андрея, о разговоре его с Митей дорогой насчет того, «куда, дескать, я, Дмитрий Федорович, попаду: на небо аль в ад, и простят ли мне на том свете аль нет?» «Психолог» Ипполит Кириллович выслушал все это с тонкою улыбкой и кончил тем, что и это показание о том, куда Дмитрий Федорович попадет, порекомендовал «приобщить к делу».

Спрошенный Калганов вошел нехотя, хмурый, капризный, и разговаривал с прокурором и с Николаем Парфеновичем так, как бы в первый раз увидел их в жизни, тогда как был давний и ежедневный их знакомый. Он начал с того, что «ничего этого не знает и знать не хочет». Но о шестой тысяче, оказалось, слышал, и он признался, что в ту минуту подле стоял. На его взгляд, денег было у Мити в руках «не знаю сколько». Насчет того, что поляки в картах передернули, показал утвердительно. Объяснил тоже, на повторенные расспросы, что по изгнании поляков действительно дела Мити у Аграфены Александровны поправились и что она сама сказала, что его любит. Об Аграфене Александровне изъяснялся сдержанно и почтительно, как будто она была самого лучшего



общества барыня, и даже ни разу не позволил себе назвать ее «Грушенькой». Несмотря на видимое отвращение молодого человека показывать, Ипполит Кириллович расспрашивал его долго и лишь от него узнал все подробности того, что составляло, так сказать, «роман» Мити в эту ночь. Митя ни разу не остановил Калганова. Наконец юношу отпустили, и он удалился с нескрываемым негодованием.

Допросили и поляков. Они в своей комнатке хоть и легли было спать, но во всю ночь не заснули, а с прибытием властей поскорей оделись и прибрались, сами понимая, что их непременно потребуют. Явились они с достоинством, хотя и не без некоторого страха. Главный, то есть маленький пан, оказался чиновником двенадцатого класса в отставке, служил в Сибири ветеринаром, по фамилии же был пан Муссялович. Пан же Врублевский оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом. Оба они как вошли в комнату, так тотчас же, несмотря на вопросы Николая Парфеновича, стали обращаться с ответами к стоявшему в стороне Михаилу Макаровичу, принимая его, по неведению, за главный чин и начальствующее здесь лицо и называя его с каждым словом: «пане пулковнику». И только после нескольких разговоров и наставления самого Михаила Макаровича догадались, что надобно обращаться с ответами лишь к Николаю Парфеновичу. Оказалось, что по-русски они умели даже весьма и весьма правильно говорить, кроме разве выговора иных слов. Об отношениях своих к Грушеньке, прежних и теперешних, пан Муссялович стал было заявлять горячо и гордо, так что Митя сразу вышел из себя и закричал, что не позволит «подлецу» при себе так говорить. Пан Муссялович тотчас же обратил внимание на слово «подлец» и попросил внести в протокол. Митя закипел от ярости.

— И подлец, подлец! Внесите это, и внесите тоже, что, несмотря на протокол, я все-таки кричу, что подлец! — прокричал он.

Николай Парфенович хоть и внес в протокол, но проявил при сем неприятном случае самую похвальную деловитость и умение распорядиться: после строгого внушения Мите он сам тотчас же прекратил все дальнейшие расспросы касательно романической стороны дела и поскорее перешел к существенному. В существенном же явилось одно показание панов, возбуждившее необыкновенное любопытство следователей: это именно о том, как подкупал Митя, в той комнатке, пана Муссяловича и предлагал ему три тысячи отступного, с тем, что семьсот рублей в руки, а остальные две тысячи триста «завтра же утром в городе», причем клялся честным словом, объявляя, что здесь, в Мокром, с ним и нет пока таких денег, а что деньги в городе. Митя заметил было сгоряча, что

не говорил, что наверно отдаст завтра в городе, но пан Врублевский подтвердил показание, да и сам Митя, подумав с минуту, нахмуренно согласился, что, должно быть, так и было, как паны говорят, что он был тогда разгорячен, а потому действительно мог так сказать. Прокурор так и впился в показание: оказывалось для следствия ясным (как и впрямь потом вывели), что половина или часть трех тысяч, доставшихся в руки Мите, действительно могла оставаться где-нибудь припрятанною в городе, а пожалуй, так даже где-нибудь и тут в Мокром, так что выяснялось таким образом и то щекотливое для следствия обстоятельство, что у Мити нашли в руках всего только восемьсот рублей — обстоятельство, бывшее до сих пор хотя единственным и довольно ничтожным, но все же некоторым свидетельством в пользу Мити. Теперь же и это единственное свидетельство в его пользу разрушалось. На вопрос прокурора: где же бы он взял остальные две тысячи триста, чтоб отдать завтра пану, коли сам утверждает, что у него было всего только полторы тысячи, а между тем заверял пана своим честным словом, Митя твердо ответил, что хотел предложить «полячишке» назавтра не деньги, а формальный акт на права свои по имению Чермашне, те самые права, которые предлагал Самсонову и Хохлаковой. Прокурор даже усмехнулся «невинности выверта».

— И вы думаете, что он бы согласился взять эти «права» вместо наличных двух тысяч трехсот рублей?

— Непременно согласился бы, — горячо отрезал Митя. — Помилуйте, да тут не только две, тут четыре, тут шесть даже тысяч он мог бы на этом тяпнуть! Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, полячков да жидков, и не то что три тысячи, а всю бы Чермашню от старика оттягали.

Разумеется, показание пана Муссяловича внесли в протокол в самой полной подробности. На том панов и отпустили. О факте же передержки в картах почти и не упомянули; Николай Парфенович им слишком был и без того благодарен и пустяками не хотел беспокоить, тем более что все это пустая ссора в пьяном виде за картами, и более ничего. Мало ли было кутежа и безобразий в ту ночь... Так что деньги, двести рублей, так и остались у панов в кармане.

Призвали затем старичка Максимова. Он явился робея, подошел мелкими шажками, вид имел растрепанный и очень грустный. Все время он ютился там внизу подле Грушеньки, сидел с нею молча и «нет-нет да и начнет над нею хныкать, а глаза утирает синим клетчатый платочком», как рассказывал потом Михаил Макарович. Так что она сама уже унимала и утешала его. Старичок тотчас же и со слезами признался, что виноват, что взял у Дмитрия Фе-

доровича займы «десять рублей-с, по моей бедности-с» и что готов возратить... На прямой вопрос Николая Парфеновича: не заметил ли он, сколько же именно денег было в руках у Дмитрия Федоровича, так как он ближе всех мог видеть у него в руках деньги, когда получал от него займы, — Максимов самым решительным образом ответил, что денег было «двадцать тысяч-с».

— А вы видели когда-нибудь двадцать тысяч где-нибудь прежде? — спросил, улыбнувшись, Николай Парфенович.

— Как же-с, видел-с, только не двадцать-с, а семь-с, когда супруга моя деревеньку мою заложила. Дала мне только издали поглядеть, похвалилась предо мной. Очень крупная была пачка-с, всё радужные. И у Дмитрия Федоровича были всё радужные...

Его скоро отпустили. Наконец дошла очередь и до Грушеньки. Следователи, видимо, опасались того впечатления, которое могло произвести ее появление на Дмитрия Федоровича, и Николай Парфенович пробормотал даже несколько слов ему в увещание, но Митя, в ответ ему, молча склонил голову, давая тем знать, что «беспорядка не произойдет». Ввел Грушеньку сам Михаил Макарович. Она вошла со строгим и угрюмым лицом, с виду почти спокойным, и тихо села на указанный ей стул напротив Николая Парфеновича. Была она очень бледна, казалось, что ей холодно, и она плотно закутывалась в свою прекрасную черную шаль. Действительно, с ней начинался тогда легкий лихорадочный озноб — начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла. Строгий вид ее, прямой и серьезный взгляд и спокойная манера произвели весьма благоприятное впечатление на всех. Николай Парфенович даже сразу несколько «увлекся». Он признавался сам, рассказывая кое-где потом, что только с этого разу постиг, как эта женщина «хороша собой», а прежде хоть и видывал ее, но всегда считал чем-то вроде «уездной гетеры». «У ней манеры как у самого высшего общества», — восторженно сболтнул он как-то в одном дамском кружке. Но его выслушали с самым полным негодованием и тотчас назвали за это «шалуном», чем он и остался очень доволен. Входя в комнату, Грушенька лишь как бы мельком глянула на Митю, в свою очередь с беспокойством на нее поглядевшего, но вид ее в ту же минуту и его успокоил. После первых необходимых вопросов и увещаний Николай Парфенович, хоть и несколько запинаясь, но сохраняя самый вежливый, однако же, вид, спросил ее: «В каких отношениях состояла она к отставному поручику Дмитрию Федоровичу Карамазову?» На что Грушенька тихо и твердо произнесла:

— Знакомый мой был, как знакомого его в последний месяц принимала.

На дальнейшие любопытствующие вопросы прямо и с полной откровенностью заявила, что хотя он ей «часами» и нравился, но что она не любила его, но завлекала из «гнусной злобы моей», равно как и того «старичка», видела, что Митя ее очень ревновал к Федору Павловичу и ко всем, но тем лишь тешилась. К Федору же Павловичу совсем никогда не хотела идти, а только смеялась над ним. «В тот весь месяц не до них мне обоих было; я ждала другого человека, предо мной виновного... Только, думаю, — заключила она, — что вам нечего об этом любопытствовать, а мне нечего вам отвечать, потому это особенное мое дело».

Так немедленно и поступил Николай Парфенович: на «романических» пунктах он опять перестал настаивать, а прямо перешел к серьезному, то есть все к тому же и главнейшему вопросу о трех тысячах. Грушенька подтвердила, что в Мокром, месяц назад, действительно истрачены были три тысячи рублей, и хоть денег сама и не считала, но слышала от самого Дмитрия Федоровича, что три тысячи рублей.

— Наедине он вам это говорил или при ком-нибудь, или вы только слышали, как он с другими при вас говорил? — осведомился тотчас же прокурор.

На что Грушенька объявила, что слышала и при людях, слышала, как и с другими говорил, слышала и наедине от него самого.

— Однажды слышали от него наедине или неоднократно? — осведомился опять прокурор и узнал, что Грушенька слышала неоднократно.

Ипполит Кириллыч остался очень доволен этим показанием. Из дальнейших вопросов выяснилось тоже, что Грушеньке было известно, откуда эти деньги и что взял их-де Дмитрий Федорович от Катерины Ивановны.

— А не слышали ли вы хоть однажды, что денег было промотано месяц назад не три тысячи, а меньше и что Дмитрий Федорович уберег из них целую половину для себя?

— Нет, никогда этого не слышала, — показала Грушенька.

Дальше выяснилось даже, что Митя, напротив, часто говорил ей во весь этот месяц, что денег у него нет ни копейки. «С родителя своего всё ждал получить», — заключила Грушенька.

— А не говорил ли когда при вас... или как-нибудь мельком, или в раздражении, — хватил вдруг Николай Парфенович, — что намерен посягнуть на жизнь своего отца?

— Ох, говорил! — вздохнула Грушенька.

— Однажды или несколько раз?

— Несколько раз поминал, всегда в сердцах.

— И вы верили, что он это исполнит?

— Нет, никогда не верила! — твердо ответила она, — на благоденствие его надеялась.

— Господа, позвольте, — вскричал вдруг Митя, — позвольте сказать при вас Аграфене Александровне лишь одно только слово.

— Скажите, — разрешил Николай Парфенович.

— Аграфена Александровна, — привстал со стула Митя, — верь Богу и мне: в крови убитого вчера отца моего я неповинен!

Произнеся это, Митя опять сел на стул. Грушенька привсталась и набожно перекрестилась на икону.

— Слава тебе господи! — проговорила она горячим, проникновенным голосом и, еще не садясь на место и обратившись к Николаю Парфеновичу, прибавила: — Как он теперь сказал, тому и верьте! Знаю его: сболтнуть что сболтнет, али для смеху, али с упрямства, но если против совести, то никогда не обманет. Прямо правду скажет, тому верьте!

— Спасибо, Аграфена Александровна, поддержала душу! — дрожащим голосом отозвался Митя.

На вопросы о вчерашних деньгах она заявила, что не знает, сколько их было, но слыхала, как людям он много раз говорил вчера, что привез с собой три тысячи. А насчет того: откуда деньги взял, то сказал ей одной, что у Катерины Ивановны «украл», а что она ему на то ответила, что он не украл и что деньги надо завтра же отдать. На настойчивый вопрос прокурора: о каких деньгах говорил, что украл у Катерины Ивановны: о вчерашних или о тех трех тысячах, которые были истрачены здесь месяц назад, объявила, что говорил о тех, которые были месяц назад, и что она так его поняла.

Грушеньку наконец отпустили, причем Николай Парфенович стремительно заявил ей, что она может хоть сейчас же воротиться в город и что если он с своей стороны чем-нибудь может способствовать, например, насчет лошадей или, например, пожелает она провожатого, то он... с своей стороны...

— Покорно благодарю вас, — поклонилась ему Грушенька, — я с тем старичком отправлюсь, с помещиком, его доведу, а пока подожду внизу, коль позволите, как вы тут Дмитрия Федоровича порешите.

Она вышла. Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на минуту. Все какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости. Допрос свидетелей наконец окончился. Приступили к окончательной редакции протокола. Митя встал и перешел с своего стула в угол, к занавеске, прилег на большой, накрытый ковром хозяйский сундук и мигом заснул. Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени.

Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет его в слякоть на телеге, на паре, мужик. Только холодно будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно помахивает, русая, длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет пятидесяти, серый мужичий на нем зипунишко. И вот недалеко селение, виднеются избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна. А при въезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испытые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет сорок, а может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые.

— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя.

— Дитё, — отвечает ему ямщик, — дитё плачет. — И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки: «дитё», а не «дитя». И ему нравится, что мужик сказал «дитё»: жалости будто больше.

— Да отчего оно плачет? — домогается, как глупый, Митя. — Почему ручки голенькие, почему его не закутают?

— А иззябло дитё, промерзла одежонка, вот и не греет.

— Да почему это так? Почему? — все не отстает глупый Митя.

— А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят.

— Нет, нет, — все будто еще не понимает Митя, — ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не накормят дитё?

И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает, и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским.

— А и я с тобой, я теперь тебя не оставляю, на всю жизнь с тобой иду, — раздаются подле него милые, проникновенные чувством

слова Грушеньки. И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету, и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее, теперь же, сейчас!

— Что? Куда? — восклицает он, открывая глаза и садясь на свой сундук, совсем как бы очнувшись от обморока, а сам светло улыбаясь. Над ним стоит Николай Парфенович и приглашает его выслушать и подписать протокол. Догадался Митя, что спал он час или более, но он Николая Парфеновича не слушал. Его вдруг поразило, что под головой у него очутилась подушка, которой, однако, не было, когда он склонился в бессилии на сундук.

— Кто это мне под голову подушку принес? Кто был такой добрый человек! — воскликнул он с каким-то восторженным, благодарным чувством и плачущим каким-то голосом, будто и бог знает какое благоденствие оказали ему. Добрый человек так потом и остался в неизвестности, кто-нибудь из понятых, а может быть, и писарек Николая Парфеновича распорядились подложить ему подушку из сострадания, но вся душа его как бы сотряслась от слез.

Он подошел к столу и объявил, что подпишет все что угодно.

— Я хороший сон видел, господа, — странно как-то произнес он, с каким-то новым, словно радостью озаренным лицом.

## IX

### УВЕЗЛИ МИТЮ

Когда подписан был протокол, Николай Парфенович торжественно обратился к обвиняемому и прочел ему «Постановление», гласившее, что такого-то года и такого-то дня, там-то, судебный следователь такого-то окружного суда, допросив такого-то (то есть Митю) в качестве обвиняемого в том-то и в том-то (все вины были тщательно прописаны) и принимая во внимание, что обвиняемый, не признавая себя виновным во взводимых на него преступлениях, ничего в оправдание свое не представил, а между тем свидетели (такие-то) и обстоятельства (такие-то) его вполне уличают, руководствуясь такими-то и такими-то статьями «Уложения о наказаниях» и т. д., постановил: для пресечения такому-то (Мите) способов уклониться от следствия и суда заключить его в такой-то тюремный замок, о чем обвиняемому объявить, а копию сего постановления товарищу прокурора сообщить и т. д. и т. д. Словом, Мите объявили, что он от сей минуты арестант и что повезут его сейчас в город, где и заключат в одно очень неприятное место. Митя, внимательно выслушав, вскинул только плечами.

— Что ж, господа, я вас не виню, я готов... Понимаю, что вам ничего более не остается.

Николай Парфенович мягко изъяснил ему, что свезет его тотчас же становой пристав Маврикий Маврикиевич, который как раз теперь тут случился...

— Стойте, — перебил вдруг Митя и с каким-то неудержимым чувством произнес, обращаясь ко всем в комнате: — Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил всё те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очишусь! Ведь, может быть, и очишусь, господа, а? Но услышите, однако, в последний раз: в крови отца моего неповинен! Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы... Но все-таки я намерен с вами бороться и это вам возвещаю. Буду бороться с вами до последнего конца, а там — решит Бог! Прощайте, господа, не сердитесь, что я за допросом кричал на вас, о, я был тогда еще так глуп... Чрез минуту я арестант и теперь, в последний раз, Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку. Прощаясь с вами, с людьми прощусь!..

Голос его задрожал, и он действительно протянул было руку, но Николай Парфенович, всех ближе к нему находившийся, как-то вдруг, почти судорожным каким-то жестом, припрятал свои руки назад. Митя мигом заметил это и вздрогнул. Протянутую руку свою тотчас же опустил.

— Следствие еще не заключилось, — залепетал Николай Парфенович, несколько сконфузясь, — продолжать будем еще в городе, и я, конечно, с моей стороны готов вам пожелать всякой удачи... к вашему оправданию... Собственно же вас, Дмитрий Федорович, я всегда склонен считать за человека, так сказать, более несчастного, чем виновного... Мы вас все здесь, если только осмелюсь выразиться от лица всех, все мы готовы признать вас за благородного в основе своей молодого человека, но, увы! увлеченного некоторыми страстями в степени несколько излишней...

Маленькая фигурка Николая Парфеновича выразила под конец речи самую полную сановитость. У Мити мелькнуло было вдруг, что вот этот «мальчик» сейчас возьмет его под руку, уведет в другой угол и там возобновит с ним недавний еще разговор их о «де-



вочках». Но мало ли мелькает совсем посторонних и не идущих к делу мыслей иной раз даже у преступника, ведомого на смертную казнь.

— Господа, вы добры, вы гуманны, — могу я видеть *ее*, проститься в последний раз? — спросил Митя.

— Без сомнения, но в видах... одним словом, теперь уж нельзя не в присутствии...

— Пожалуй, присутствуйте!

Привели Грушеньку, но прощание состоялось короткое, мало-словное и Николая Парфеновича не удовлетворившее. Грушенька глубоко поклонилась Мите.

— Сказала тебе, что твоя, и буду твоя, пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили. Прощай, безвинно погубивший себя человек!

Губки ее вздрогнули, слезы потекли из глаз.

— Прости, Груша, меня за любовь мою, за то, что любовью моею и тебя сгубил!

Митя хотел и еще что-то сказать, но вдруг сам прервал и вышел. Кругом него тотчас же очутились люди, не спускавшие с него глаз. Внизу у крылечка, к которому он с таким громом подкатил вчера на Андреевой тройке, стояли уже готовые две телеги. Маврикий Маврикиевич, приземистый плотный человек, с обрюзглым лицом, был чем-то раздражен, каким-то внезапно случившимся беспорядком, сердился и кричал. Как-то слишком уже сурово пригласил он Митю взлезть на телегу. «Прежде, как я в трактире поил его, совсем было другое лицо у человека», — подумал Митя, влезая. С крылечка спустился вниз и Трифон Борисович. У ворот столпились люди, мужики, бабы, ямщики, все уставились на Митю.

— Прощайте, Божьи люди! — крикнул им вдруг с телеги Митя.

— И нас прости, — раздались два-три голоса.

— Прощай и ты, Трифон Борисыч!

Но Трифон Борисыч даже не обернулся, может быть, уж очень был занят. Он тоже чего-то кричал и суетился. Оказалось, что на второй телеге, на которой должны были сопровождать Маврикия Маврикиевича двое сотских, еще не все было в исправности. Мужичонко, которого нарядили было на вторую тройку, натягивал зипунишко и крепко спорил, что ехать не ему, а Акиму. Но Акима не было; за ним побежали; мужичонко настаивал и молил обождать.

— Ведь это народ-то у нас, Маврикий Маврикиевич, совсем без стыда! — восклицал Трифон Борисыч. — Тебе Аким третьего дня дал четвертак денег, ты их пропил, а теперь кричишь. Доброте только вашей удивляюсь с нашим подлым народом, Маврикий Маврикиевич, только это одно скажу!

— Да зачем нам вторую тройку? — вступился было Митя, — поедем на одной, Маврикий Маврикич, небось не взбунтуюсь, не убегу от тебя, к чему конвой?

— А извольте, сударь, уметь со мной говорить, если еще не научены, я вам не *ты*, не извольте тыкать-с, да и советы на другой раз сберегите... — свирепо отрезал вдруг Мите Маврикий Маврикиевич, точно обрадовался сердце сорвать.

Митя примолк. Он весь покраснел. Через мгновение ему стало вдруг очень холодно. Дождь перестал, но мутное небо все было обтянуто облаками, дул резкий ветер прямо в лицо. «Озноб, что ли, со мной», — подумал Митя, передернув плечами. Наконец влез в телегу и Маврикий Маврикиевич, уселся грузно, широко и, как бы не заметив, крепко потеснил собою Митю. Правда, он был не в духе, и ему сильно не нравилось возложенное на него поручение.

— Прощай, Трифон Борисыч! — крикнул опять Митя, и сам почувствовал, что не от добродушия теперь закричал, а со злости, против воли крикнул. Но Трифон Борисыч стоял гордо, заложив назад обе руки и прямо уставясь на Митю, глядел строго и сердито и Мите ничего не ответил.

— Прощайте, Дмитрий Федорович, прощайте! — раздался вдруг голос Калганова, вдруг откуда-то выскочившего. Подбежав к телеге, он протянул Мите руку. Был он без фуражки. Митя успел еще схватить и пожать его руку.

— Прощай, милый человек, не забуду великодушия! — горячо воскликнул он. Но телега тронулась, и руки их разнялись. Зазвенел колокольчик — увезли Митю.

А Калганов забежал в сени, сел в углу, нагнул голову, закрыл руками лицо и заплакал, долго так сидел и плакал, — плакал, точно был еще маленький мальчик, а не двадцатилетний уже молодой человек. О, он не верил в виновность Мити почти вполне! «Что же это за люди, какие же после того могут быть люди!» — бессвязно восклицал он в горьком унынии, почти в отчаянии. Не хотелось даже и жить ему в ту минуту на свете. «Стоит ли, стоит ли!» — восклицал огорченный юноша.



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### Книга десятая МАЛЬЧИКИ

#### I

#### КОЛЯ КРАСОТКИН

Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снега, и ветер «сухой и острый» подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи и внутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике «своим капиталом». Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка — мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но, уж конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболит, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится и проч. и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, «ужасно силь-

ный», как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдерживать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И, однако, он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстрафенеру», шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее «мало любит». Ей непрерывно казалось, что Коля к ней «бесчувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно — таков уж был характер. Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил только «телячьих нежностей», как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик вместо того, чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку, — правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги (той самой, ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву). Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может

блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся: одни из них проживали на станции, другие по соседству — всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари в два рубля, именно: Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего, но, однако же, каково пролежать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как «маленького», что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а наконец в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загредел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» — закричали Коле из кустов умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно: поезд наскочил и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они стали его теревить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом слава «отчаянного» за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервной лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него ува-

жаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холостой и нестарый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку, но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда отдаленный, но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унижительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что «собьет» самого Дарданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: «Кто основал Трою?» — на что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смараглова, хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало наконец интересовать: кто ж именно основал Трою, но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.

После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сына, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с пережками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причем «мужественный» Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг к другу в объятия и плакали, сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему «бесчувственным», однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда,

месяца чрез полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье, но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и, уж разумеется, глубоко презирал его за его «чувства»; прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал Перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валялась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.

Кстати: я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задрознили «мочалкой».

## II

### ДЕТВОРА

Итак, в то морозное и сиверкое ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти

со двора «по одному весьма важному делу», а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартира из двух маленьких комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху ни духу, так что если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свезти Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, отвезла ее и, сверх того, осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке, служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком «пузырей», то есть мальчика и девочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был Перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней под лавкой «без движений» и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу, но, увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно «пузыри». На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением, но осиротевших «пузырей» он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, восьми уже лет, умела читать, а младший «пузырь», семилетний мальчик Костя, очень



любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он делает это для «пузырей», потому что их любят, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба «пузыря». Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал «пузырей», которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно решил, что если чрез десять минут «проклятая» Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, взяв с «пузырей» слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по «такому холоду», выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них, проходя чрез переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой, и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил как сумасшедший и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к «пузырям». Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх; Костя же если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину, и уж как тот решал, так оно и остава-

лось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор «пузырей» несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание.

— Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала Настя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку.

— Фью! — присвистнул про себя Коля.

— Или вот как: они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят.

Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал.

— Настя, какая ты дура, — произнес он наконец твердо и не горячась, — какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?

Настя ужасно загорячилась.

— Ты ничего не понимаешь, — раздражительно оборвала она, — может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она вот и родила.

— Да разве у нее муж в тюрьме сидит? — важно осведомился положительный Костя.

— Или вот что, — стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу, — у нее нет мужа, это ты прав, но она хочет выйти замуж, вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, все думала и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.

— Ну разве так, — согласился совершенно побежденный Костя, — а ты этого раньше не сказала, так как же я мог знать.

— Ну, детвора, — произнес Коля, шагнув к ним в комнату, — опасный вы, я вижу, народ!

— И Перезвон с вами? — ослабил Костя и начал прищелкивать пальцами и звать Перезвона.

— Пузыри, я в затруднении, — начал важно Красоткин, — и вы должны мне помочь: Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?

Дети озабоченно переглянулись друг с другом, ослабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.

— Шалить без меня не будете? Не полезете на шкаф, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?

На лицах детей выразилась страшная тоска.

— А я бы вам за то мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом.

Лица деток мгновенно прояснились.

— Покажите пушечку, — весь просиявший, проговорил Костя.

Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.

— То-то покажите! Смотри, на колесках, — прокатил он игрушку по столу, — и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.

— И убьет?

— Всех убьет, только стоит навести, — и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат.

— А у вас есть порох? — осведомилась Настя.

— Есть.

— Покажите и порох, — протянула она с просящею улыбкой.

Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороха на ладонь.

— Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас всех перебьет, — предупредил для эффекта Красоткин.

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.

— А дробь не горит? — осведомился он.

— Дробь не горит.

— Подарите мне немножко дроби, — проговорил он умоляющим голосом.

— Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.

— Мама нас никогда не сечет розгой, — тотчас же заметила Настя.

— Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз — пока я приду. Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?

— За-пла-чем, — протянул Костя, уже приговорясь плакать.

— Заплачем, непременно заплачем! — подхватила пугливую сороговоркой и Настя.

— Ох, дети, дети, как опасны ваши лета. Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух!

— А прикажите Перезвону мертвым притвориться, — попросил Костя.

— Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к Перезвону. Иси, Перезвон! — И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком закупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.

— Вишь, пес! — проговорила назидательно Агафья.

— А ты чего, женский пол, опоздала? — спросил грозно Красоткин.

— Женский пол, ишь пупырь!

— Пупырь?

— И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит, так надо, коли опоздала, — бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а, напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барчонком.

— Слушай, легкомысленная старуха, — начал, вставая с дивана, Красоткин, — можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я уйду со двора.

— А зачем я тебе клястись стану? — засмеялась Агафья, — и так присмотрю.

— Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду.

— И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.

— Пузыри, — обратился Коля к деткам, — эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?

— Это возможно.

— До свидания, птенцы, уйду со спокойным сердцем. А ты, бабуся, — вполголоса и важно проговорил он, проходя мимо Ага-

фьи, — надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину, пощадишь детский возраст. Иси, Перезвон!

— И ну тебя к богу, — огрызнулась уже с сердцем Агафья. — Смешной! Выпороть самого-то, вот что, за такие слова.

### III

#### ШКОЛЬНИК

Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив: «Мороз!», — направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румянький мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажиточного чиновника и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу и который рассказывал тогда про Илюшу Алеше Карамазову.

— Я вас уже целый час жду, Красоткин, — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.

— Запоздал, — ответил Красоткин. — Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?

— Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?

— И Перезвон!

— Вы и его туда?

— И его туда.

— Ах, кабы Жучка!

— Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.

— Ах, нельзя ли бы так, — приостановился вдруг Смуров, — ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, — нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он, может быть, и поверит?

— Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе.

— Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его не утетишь, — вздохнул Смуров. — Знаешь что: отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет, настоящего меделянского, с черным носом; он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли?

— А каков он сам, Илюша-то?

— Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. «Ах, — говорит, — я говорил тебе, папа, что это у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить». Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.

— Шельмы.

— Кто шельмы?

— Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще и, уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесплезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?

— Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, всякий день. Это ничего.

— Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчишками!

— Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.

— Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.

— А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? — воскликнул вдруг с жаром Смуров.

— Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почему ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.

— Совсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить, конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше

не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда.

— А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. При том я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить.

Коля важно примолк; Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет «сам по себе», и была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами булками, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам.

— Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

— Да, какой-то смешной.

— То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.

— А что такое социалист? — спросил Смуров.

— Это коли все равны, у всех одно общее имя, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.

— Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термометре.

— И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало.

Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка — главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик.

Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушною физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевила от мороза.

— У мужика борода замерзла! — громко и задиристо крикнул Коля, проходя мимо него.

— У многих замерзла, — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.

— Не задирай его, — заметил Смуров.

— Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.

— Прощай.

— А ты разве Матвей?

— Матвей. А ты не знал?

— Не знал; я наугад сказал.

— Ишь ведь. В школьниках небось?

— В школьниках.

— Что ж тебя, порют?

— Не то чтобы, а так.

— Больно?

— Не без того.

— Эх, жисть! — вздохнул мужик от всего сердца.

— Прощай, Матвей.

— Прощай. Парнишка ты милый, вот что.

Мальчики пошли дальше.

— Это хороший мужик, — заговорил Коля Смурову. — Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

— Зачем ты ему соврал, что у нас секут? — спросил Смуров.

— Надо же было его утешить!

— Чем это?

— Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.

— Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем.

— А ты боишься?

— Не смейся, Коля, ей-богу, боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой.



— Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. Здравствуй, Наташа, — крикнул он одной из торговок под навесом.

— Какая я тебе Наташа, я Марья, — крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.

— Это хорошо, что Марья, прощай.

— Ах ты, постреленок, от земли не видать, а туда же!

— Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, — замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

— А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, — раскричалась Марья, — выпороть тебя, вот что, обидчик ты известный, вот что!

Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек вроде купеческого приказчика, и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.

— Я тебя знаю, — восклицал он раздраженно, — я тебя знаю!

Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя.

— Знаешь? — иронически спросил он его.

— Я тебя знаю! Я тебя знаю! — наладил как дурак мещанин.

— Тебе же лучше. Ну, некогда мне, прощай!

— Чего озорничаешь? — закричал мещанин. — Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

— Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, — произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.

— Как не мое?

— Так, не твое.

— А чье же? Чье же? Ну, чье же?

— Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.

— Какого такого Трифона Никитича? — с дурацким удивлением, хотя все так же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом.

— К Вознесенью ходил? — строго и настойчиво вдруг спросил он его.

— К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, — опешил немало парень.

— Сабанеева знаешь? — еще настойчивее и еще строже продолжал Коля.

— Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

— Ну и черт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает.

— Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? — опомнился парень, весь опять заволновавшись. — Это он чего такого говорил? — повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них.

Бабы рассмеялись.

— Мудреный мальчишка, — проговорила одна.

— Какого, какого это он Сабанеева? — все неистово повторял парень, махая правой рукой.

— А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичовых служил, вот как, надоть быть, — догадалась вдруг одна баба.

Парень дико на нее уставился.

— Кузь-ми-чова? — переговорила другая баба, — да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном Никитычем называл, стало, не он.

— Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, — подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая, — Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.

— Это так и есть, что Чижов, — настойчиво подтвердила четвертая баба.

Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.

— Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди добрые! — восклицал он уже почти в отчаянии — «Сабанеева знаешь?» А черт его знает, каков он есть таков Сабанеев!

— Бестолковый ты человек, говорят те — не Сабанеев, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! — внушительно крикнула ему одна торговка.

— Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь.

— А длинный, возгривый, летось на базаре сидел.

— А на кой ляд мне твоево Чижова, люди добрые, а?

— А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.

— А кто тебя знает, на что он тебе, — подхватила другая, — сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь?

— Кого?

— Чижова.

— А черт его дери, Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной!

— Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! Дурак ты, вот что!

— Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вот что! Давайте его, давайте его сюда, смеялся он надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю.

— Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он Колю, предчувствуя ответ.

— А почему я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?

— Оставь его, Коля, пройдем мимо.

— Ни за что не оставлю, я теперь поехал. Эй, здравствуй, мужик!

Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже, должно быть, выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо проговорил он в ответ.

— А коль шучу? — засмеялся Коля.

— А шутишь, так и шути, бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.

— Виноват, брат, пошутил.

— Ну и Бог те прости.

— Ты-то прощаешь ли?

— Очень прощаю. Ступай.

— Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.

— Умней тебя, — неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик.

— Вряд ли, — опешил несколько Коля.

— Верно говорю.

— А пожалуй, что и так.

— То-то, брат.

— Прощай, мужик.

— Прощай.

— Мужики бывают разные, — заметил Коля Смурову после некоторого молчания. — Почему же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе.

Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчишки заспешили и остальной довольно еще длинный путь до

жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.

— Надо предварительно обнюхаться, — заметил он Смурову.

— Да зачем вызывать, — возразил было Смуров, — войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться?

— Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, — деспотически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими «маленькими»), и Смуров побежал исполнять приказание.

#### IV

#### ЖУЧКА

Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много слышался о нем от мальчишек, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдуся. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста: Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я нехорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает... Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..»

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но, увы! Выростал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и реши-

тельно вздернутый: «Совсем курносый, совсем курносый!» — бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное?» — подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной жизни», как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеша было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.

— Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.

— Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, — пробормотал, немного задыхаясь, Коля.

— Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.

— Скажите, как здесь?

— Илюша очень плох, он непременно умрет.

— Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, — с жаром воскликнул Коля.

— Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде... до того случая... с ножиком. Тут есть и еще причина... Скажите, это ваша собака?

— Моя. Перезвон.

— А не Жучка? — жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. — Та уже так и пропала?

— Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал все-с, — загадочно усмехнулся Коля. — Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, — оживленно начал он. — Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в пригготовительный класс. Ну, известно, наш пригготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же

начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они-то его пуще. Главное, у него тогда было платье ишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, этого уж я не люблю, тотчас же заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? — экспансивно похвастался Коля. — Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходит на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю — почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчишке развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски, — предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтоб его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека... ну и там... вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке, — взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из

этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла — так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит» — только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. «Ты, — говорю, — сделал низкий поступок, ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собою сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал он Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай, — кричал он, — от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем!» — «А, — думаю, — вольный душок завелся, его надо выкурить», — и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «Мочалка, мочалка». Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось — не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне

его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хочешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил, — но, понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история... только, кажется, я сделал глупо...

— Ах, как это жаль, — воскликнул с волнением Алеша, — что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал», — не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.

— Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то есть что именно я отыщу? — с чрезвычайным любопытством спросил Коля, — почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?

— Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете и что когда отыщите ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся верить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло...

— Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

— Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унижительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле со-



вокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

— Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, — прибавил проникновенно Коля.

— А я, как увидел вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.

— Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем, а эта — это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, разве-селяю Илюшу побольше, чем меделянским шенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу! — вскричал вдруг стремительно Коля. — Вы в одном сюр-тучке на таком холоде, а я вас задерживаю; видите, видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов!

— Не беспокойтесь; правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

— Николай, Николай Иванов Красоткин, или, как говорят по-казенному: сын Красоткин, — чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: — Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

— Почему же?

— Тривиально, казенно...

— Вам тринадцатый год? — спросил Алеша.

— То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весь-ма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Кара-мазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу... и наконец... про меня, на-пример, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовитель-ными в разбойники играл. То, что я играл, — это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удоволь-ствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, по-тому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас все-гда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас.

— А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут та-кого?

— Ну для себя... Не станете же вы в лошадки играть?

— А вы рассуждайте так, — улыбнулся Алеша, — в театр, на-пример, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приклю-чения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной, — так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное время, или там в разбой-

ники, — это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.

— Вы так думаете? Таково ваше убеждение? — пристально смотрел на него Коля. — Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, — проникновенным и экспансивным голосом заключил Коля.

— А я у вас, — улыбнулся Алеша, пожав ему руку.

Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге и что тот говорит с ним как с «самым большим».

— Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, — нервно засмеялся он, — я с тем и пришел.

— Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

— О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: «Иси, Перезвон, куш и умри!» — видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку и потом, когда надо будет, свистну: «Иси, Перезвон!» — и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель...

## V

### У ИЛЮШИНОЙ ПОСТЕЛЬКИ

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без «телячьих нежностей», а совсем как бы не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только

Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него «свой расчет». Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однако же, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании разброшенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива». Когда же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: «Что я за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше ничего!»

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, — вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то залихватым, сотря-

сающимся плачем, давая свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки.

Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и проч. и проч. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменялась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слышали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-

точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подавание. Все это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги, — не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте, но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел наконец этот мальчик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной, им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но... Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вот если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье!

— Красоткин! — крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле.

— Пожалуйте, пожалуйста... дорогой гость! — залепетал он ему. — Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал...

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчишки заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку) и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.

— Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека, — громко произнесла она, разводя руками, — а то что прочие то наши гости: один на другом приезжают.

— Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? — хоть и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», пролепетал штабс-капитан.

— А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?

— Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?

— Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...

Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кровати и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:

— Ну что, старик... как поживаешь?

Но голос его пресекался, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью по волосам Илюши.

— Ни-че-го! — пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали. — Что это у тебя, новый щенок? — вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.

— Да-а-а! — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.

— Черный нос, значит, из злых, из цепных, — важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как «маленький», и все еще не мог побороть. — Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.

— Он огромный будет! — воскликнул один мальчик из толпы.

— Известно, медеянский, огромный, вот этакий, с теленка, — раздалось вдруг несколько голосов.

— С теленка, с настоящего теленка-с, — подскочил штабс-капитан, — я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот такие от полу роста... Присядьте-с, вот здесь на кровати у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный... С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.

— Нет... я с Перезвоном... У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет... свистну и влетит. Я тоже с собакой, — оборотился он вдруг к Илюше, — помнишь, старик, Жучку? — вдруг огрел он его вопросом.

Личико Илюшечки перекошилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

— Где же... Жучка? — надорванным голосом спросил Илюша.

— Ну, брат, твоя Жучка — фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.

— Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, — безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. — У меня зато Перезвон... Славянское имя... Я к тебе привел...

— Не на-до! — проговорил вдруг Илюшечка.

— Нет, нет, надо, непременно посмотри... Ты развлечешься. Я нарочно привел... такая же лохматая, как и та... Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.

— Не надо, не надо! — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

— Вы бы-с... — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стены, на котором было присел, — вы бы-с... в другое бы время-с... —

пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» — и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.

— Прыгай, Перезвон, служи! Служи! — завопил Коля, вскочив с места, и собака, встав на задние лапы, вытянувшись прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем не ожидаемое: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.

— Это... Жучка! — прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счастья голоском.

— А ты думал кто? — звонким, счастливым голосом из всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше. — Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, вскорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! — пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, — она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни... Я ее и разыскал... Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так, уж конечно, бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту... нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! — восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и с сияющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.

— Жучка! Так это-то Жучка? — выкрикивал он блаженным голосом. — Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! — Он чуть не плакал.

— А я-то и не догадался! — горестно воскликнул Смуров. — Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!



— Вот и нашел! — радостно отозвался еще кто-то.

— Молодец Красоткин! — прозвенел третий голосок.

— Молодец, молодец! — закричали все мальчишки и начали аплодировать.

— Да стойте, стойте, — силился всех перекричать Красоткин, — я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, заташил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж привести к тебе, старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, — говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчишки смеялись, Илюша смотрел с прежнею страдальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать:

— Перезвон, Перезвон!

— Ни за что не подыметя, ни за что, — победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, — хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

— Не горяча? — торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, — нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

— Пиль! — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.

— И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, все время не приходили! — воскликнул с невольным укором Алеша.

— Именно для того, — прокричал простодушнейшим образом Коля. — Я хотел показать его во всем блеске!

— Перезвон! Перезвон! — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

— Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Иси, Перезвон! — стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

— Господи, господи! — восклицал штабс-капитан.

Коля присел опять на постель к Илюше.

— Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» Ну, вот я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «Уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.

— Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел, — для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку, из папина шкапа: «Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил...

Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правой рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить, «если это только не беспокоит дам». «Маменька» немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь

же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. «Маменька» вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

— Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, — повторил он еще раз, в полноте счастья.

— Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! — вдруг, точно маленькая, начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.

— Мапочка, мапочка! — подскочил он к ней, — пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас пусть будет общая, общая...

— Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, — продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать.

— Мама, возьми себе, вот возьми себе! — крикнул вдруг Илюша. — Красоткин, можно мне ее маме подарить? — обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.

— Совершенно возможно! — тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.

— Илюшечка, милый, вот кто мапочку свою любит! — умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.

— Маменька, дай я тебе ручку поцелую, — подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.

— И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик! — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.

— А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березового угля, всё вместе столочь, влить воды, смешать в мягкость и протереть через барабанную шкуру — вот и порох.

— Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох, — отозвался Илюша.

— Как не настоящий? — покраснел Коля, — у нас горит. Я, впрочем, не знаю...

— Нет-с, я ничего-с, — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. — Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.

— Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру... А впрочем, вы лучше знаете, я не знаю... А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? — обратился он вдруг к Илюше.

— Слышал, — ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.

— Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился; говорят, что я «отчаянный», — презрительно усмехнулся Коля. — Это всё с железной дороги здесь началось.

— Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! — воскликнул штабс-капитан, — как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом? Страшно вам было-с?

Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.

— Н-не особенно! — небрежно отозвался Коля. — Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил, — повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил, рассказывая, небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.

— Ах, я и про гуся слышал! — засмеялся, весь сияя, Илюша, — мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?

— Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона, по обыкновению, у нас сочинили, — начал развязно Коля. — Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лет, я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом... Мы отстали от народа — это аксиома, — вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?

— Нет, боже сохрани, я вас очень слушаю, — с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.

— Моя теория, Карамазов, ясна и проста, — опять радостно зашпешил он тотчас же. — Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балую его, это *sine qua*...<sup>1</sup> Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: «А вот думаю, о чем гусь думает». Глядит он на меня совершенно глупо: «А об чем, говорит, гусь думает?» — «А вот видишь, — говорю, — телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет — видишь?» — «Это я очень вижу», — говорит. «Ну так вот, — говорю, — если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед — перережет гуся шею колесом или нет?» — «Беспреречно, — говорит, — перережет», — а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. «Ну так пойдем, — говорю, — парень, давай». — «Давай», — говорит. И недолго нам пришлось мастерить: он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору заезжался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и — к-крак, так и переехало гуся шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж секунду все мужики увидели нас, ну и загалдели разом: «Это ты нарочно!» — «Нет, не нарочно». — «Нет, нарочно!» Ну, галдят: «К мировому!» Захватили и меня: «И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает!» А меня действительно почему-то весь базар знает, — прибавил самолюбиво Коля. — Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет как баба. А гуртовщик кричит: «Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет как баба: «Это не я, — говорит, — это он меня наустил» — да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, — говорит мне, — сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шуточки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у нас длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у Ми-

<sup>1</sup> неперемное условие (*лат.*).

хайловых приданого тысячу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:

Поразила весть третьеклассников,  
Что женился неряха Колбасников.

Ну и там дальше, очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю, и вовсе не из-за того, что меня отстоял...

— Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою! — ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.

— Неужто так и сбили-с? — льстиво подхватил штабс-капитан. — Это про то, кто основал Трою-с? Это мы уже слышали, что сбили-с. Илюшечка мне тогда же и рассказал-с...

— Он, папа, все знает, лучше всех у нас знает! — подхватил и Илюшечка, — он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам...

Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю.

— Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, — с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу: «Не оттого ли де он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я...»

— Я считаю этот вопрос решительно пустым, — отрезал он еще раз горделиво.

— А я знаю, кто основал Трою, — вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и видимо застенчивый, очень собою хорошенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностью поглядел на него. Дело в том, что вопрос: «Кто именно основал Трою?» — решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смараглова. Но Смараглова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего между его книгами Смараглова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не

решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и давно ему хотелось.

— Ну, кто же основал? — надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс.

— Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, — разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика.

— То есть как же это они основали? — удостоил он наконец проговорить, — да и что значит вообще основать город или государство? Что ж: они пришли и по кирпичу положили, что ли?

Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.

— Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, — строго отчеканил он в назидание. — Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, — прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.

— Это всемирную-то историю-с? — с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.

— Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только. Я уважаю одну математику и естественные, — сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а «молчание его могло быть презрительным», и Коля раздражился уже совсем.

— Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумасшествие, и ничего больше... Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?

— Не согласен, — сдержанно улыбнулся Алеша.

— Классические языки, если хотите все мое о них мнение, — это полицейская мера, вот для чего единственно они заведены, — мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля, — они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способности. Было

скучно, так вот как сделать, чтоб еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его, — резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.

— Это правда, — звонким и убежденным голосом согласился вдруг прилежно слушавший Смуров.

— А сам первый по латинскому языку! — вдруг крикнул из толпы один мальчик.

— Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе, — отозвался и Илюша.

— Что ж такое? — счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. — Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость... Не соглашаетесь, Карамазов?

— Ну зачем же «подлость»? — усмехнулся опять Алеша.

— Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки, стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?

— Ну кто вас этому всему научил? — воскликнул удивленный наконец Алеша.

— Во-первых, я и сам могу понимать, без научения, а во-вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников...

— Доктор приехал! — воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.

Действительно, к воротам дома подъехала принадлежащая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. «Маменька» подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.

— Я не уйду, не уйду! — проговорил впопыхах Коля Илюше, — я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.

Но уже доктор входил — важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опе-



шив: ему, верно, показалось, что он не туда зашел: «Что это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся пред ним в три погибели.

— Вы здесь-с, здесь-с, — бормотал он подобострастно, — вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с...

— Сне-ги-рев? — произнес важно и громко доктор. — Господин Снегирев — это вы?

— Это я-с!

— А!

Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.

— Где же пациент? — спросил он громко и настоятельно.

## VI

### РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

— Как вы думаете, что ему скажет доктор? — скороговоркой проговорил Коля, — какая отвратительная, однако же, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину!

— Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, — грустно ответил Алеша.

— Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились...

Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.

— Я давно научился уважать в вас редкое существо, — пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не оставило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе.

— Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша.

— Ну там Бог и прочее.

— Как, да разве вы в Бога не веруете?

— Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза... но... я признаю, что Он нужен, для порядка... для мирового порядка и так далее... и если б Его не было, то надо бы

Его выдумать, — прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать, какой он «большой». «А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои познания», — с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало ужасно досадно.

— Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? («Опять, опять!» — подумал он про себя.)

— Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно естественно произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение. — А вы разве читали Вольтера? — заключил Алеша.

— Нет, не то чтобы читал... Я, впрочем, «Кандида» читал, в русском переводе... в старом, уродливом переводе, смешном... (Опять, опять!)

— И поняли?

— О да, всё... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей... Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею... — запутался уже совсем Коля. — Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист, — вдруг оборвал он ни с того ни с сего.

— Социалист? — засмеялся Алеша, — да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.

— Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, — так и вспыхнул он, — а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

— Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, — скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал:

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

— Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! — воскликнул Алеша.

— Помилюйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алеша.

— Помилюйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но... Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... впрочем, черт...

— А Белинского вы читали?

— Видите ли... нет... я не совсем читал, но... место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.

— Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж... понимаете?

— Помилюйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно ослабилсЯ Коля. — Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эмансипацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. *Les femmes tricotent*<sup>1</sup>, как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и, по крайней мере, в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.

— Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?

— Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста,

Будешь помнить здание  
У Цепного моста!

Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? («А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкапе всего только и есть один этот номер “Колокола”, а

<sup>1</sup> Дело женщины — вязанье (фр.).

больше я из этого ничего не читал?» — мельком, но с содроганием подумал Коля.)

— Ох нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что все это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, «Онегина»-то... Вот вы сейчас говорили о Татьяне?

— Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?

— Так.

— Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? — отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. — Сделайте одолжение, без обиняков.

— Презираю вас? — с удивлением посмотрел на него Алеша. — Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.

— Об моей натуре не заботьтесь, — не без самодовольства перебил Коля, — а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто...

— Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи. «Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную». Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника.

— Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Bravo, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но все-таки немец хорошо сказал! Bravo, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить...

— За что же душить-то? — улынулся Алеша.

— Ну я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однако же, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и «мамашу» осмотрит, и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка

мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: «Зачем вы не приходили раньше?» И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.

— Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, — с жаром заметил Алеша. — Это лучше всего вас переделает.

— О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! — с горьким чувством воскликнул Коля.

— Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!

— Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!

— Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно восприимчивого мальчика! — горячо ответил Алеша.

— И это вы говорите мне! — вскричал Коля, — а я, представьте, я думал, — я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением!

— Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.

— Уж и подумали? Какой, однако же, у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахиною. Потом мне вообразилось (это уже сейчас, здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было Бога, то Его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей-богу, как будто от радости... хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а все это я сам выдумал. О Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.

— И мучаете окружающих, — улыбнулся Алеша.

— И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?

— Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! — воскликнул Алеша. — Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение, именно черт, — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.

— Даже несмотря на то, что все такие?

— Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.

— Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?

— Да, я слышал об вас и об вас тоже думал... и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего.

— Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, — каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. — Это не смешно, не смешно?

— Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо, — светло улыбнулся Алеша.

— А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно... Я вижу по глазам, — как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.

— Чего же это стыдно?

— А зачем вы покраснели?

— Да это вы так сделали, что я покраснел! — засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. — Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего... — бормотал он, почти даже сконфузившись.

— О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! — в ре-

шителем восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блестели.

— Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, — сказал вдруг отчего-то Алеша.

— Знаю, знаю. Как вы это всё знаете наперед! — тотчас же подтвердил Коля.

— Но в целом все-таки благословите жизнь.

— Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!»

— И, говоря так, уж конечно, любили меня! — весело смеялся Алеша.

— Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете всё наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите, какое у него лицо!

## VII

### ИЛЮША

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство... неужели?... — начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнею мольбой смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.

— Что делать! Я не Бог, — небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.

— Доктор... Ваше превосходительство... и скоро это, скоро?

— При-го-товь-тесь ко всему, — отчеканил, ударяя по каждому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.

— Ваше превосходительство, ради Христа! — испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, — ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..

— Не от меня теперь за-ви-сит, — нетерпеливо проговорил доктор, — и, однако же, гм, — приостановился он вдруг, — если б вы, например, могли... на-пра-вить... вашего пациента... сейчас и нимало не медля (слова «сейчас и нимало не медля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то... вследствие новых бла-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий... могло бы, может быть, произойти...

— В Сиракузы! — вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.

— Сиракузы — это в Сицилии, — отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

— В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, — потерялся штабс-капитан, — да ведь вы видели! — обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, — а маменька-то, а семейство-то?

— Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннею весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе, ввиду ее ревматизмов... немедленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-летье, я бы мог вам дать к нему записку, и тогда... могло бы, может быть, произойти...

— Доктор, доктор! Да ведь вы видите! — размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней.

— А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор, — я лишь сказал то, что могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних средствах, а остальное... к сожалению моему...

— Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, — громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь», вместо доктор, он сказал *нароч-но* и, как сам объявил потом, «для оскорбления сказал».

— Что та-ко-е? — вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. — Ка-кой это? — обратился он вдруг к Алеше, буд-то спрашивая у того отчета.

— Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, — отчеканил опять Коля.

— Звон? — переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон.

— Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.



— Кто эт-то? Кто, кто? — вдруг закипятился ужасно доктор.

— Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайтесь внимания, — нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. — Коля, молчите! — крикнул он Красоткину. — Не надо обращать внимания, доктор, — повторил он уже несколько нетерпеливее.

— Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! — затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

— А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня, пожалуй, что и кусается! — проговорил Коля задрожавшим голосом, побледнев и сверкнув глазами. — Иси, Перезвон!

— Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки! — властно крикнул Алеша.

— Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, — Коля указал на Алешу, — ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять, как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта, этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.

— Папа, папа, поди сюда... мы... — пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.

— Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! — горько простонал Илюша.

— Илюшечка... голубчик... доктор сказал... будешь здоров... будем счастливы... доктор... — заговорил было штабс-капитан.

— Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал... Я ведь видел! — воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.

— Папа, не плачь... а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого... сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня...

— Молчи, старик, выздоровеешь! — точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.

— А меня, папа, меня не забывай никогда, — продолжал Илюша, — ходи ко мне на могилку... да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером... И Перезвон... А я буду вас ждать... Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша.

— Илюшечка! Илюшечка! — восклицала она.

Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши.

— Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, — проговорил он скороговоркой. — Как жаль, что я ее не предупредил! Очень будет беспокоиться... Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет; до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сених он таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

— Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, — настойчиво проговорил Алеша.

— Непременно! О, как я клянусь, что не приходил раньше, — плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки.

— Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! — прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. — Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянною лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.

— Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? — резко и сердито крикнул он Алеше.

— Вечером непременно буду.

— Что он это такое про Иерусалим... Это что еще такое?

— Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», то есть если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит...

— Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Иси, Перезвон! — совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами зашагал домой.



## Книга одиннадцатая

### БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

#### I

#### У ГРУШЕНЬКИ

Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи Морозовой, к Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с настоятельною просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особой тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста Мити Алеша часто заходил в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти две недели, как могла выходить со двора. Но, на взгляд Алеши, лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на все несчастье, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость, хотя... хотя, впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглухнувшая, но даже и уве-

личившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Все это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и непрерывно просила у него советов; он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать.

Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома; с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой стороны стола была постлана постель, и на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Максимов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбающийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца два тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при ней с тех пор неотлучно. Приехал тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и устался на нее молча, с робкою просящею улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами, вдруг как-то пристально посмотрела на него: он жалко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте почти не шелохнувшись; когда же стемнело и заперли ставни, Феня спросила барыню:

— Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?

— Да, постели ему на диване, — ответила Грушенька.

Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем и что «господин Калганов, благодетель мой, прямо мне заявили-с, что более меня уж не примут, и пять рублей подарили». — «Ну, бог с тобой, оставайся уж», — решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити (к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась и начинала разговаривать

с «Максимушкой» о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже и необходим. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый день и всегда ненадолго, Грушенька никого почти и не принимала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно больной, «отходил», как говорили в городе, и действительно умер всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе наконец наверх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго приказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то говорить ей: «Приказывает, дескать, вам долго в веселии жить, а их совсем позабыть». Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье.

— Наконец-то пришел! — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей, — а Максимушка так пугал, что, пожалуйста, уж и не придешь. Ах, как тебя нужно! Садись к столу; ну что тебе, кофею?

— А пожалуйста, — сказал Алеша, подсаживаясь к столу, — очень проголодался.

— То-то; Феня, Феня, кофею! — крикнула Грушенька, — он у меня уж давно кипит, тебя ждет, да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала: «Сторожу оставляю; коли не съешь до вечера, значит, тебя злость ехидная кормит!» — с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому. Что ни приду, так и поссоримся.

Грушенька проговорила все это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки.

— Этот-то раз за что же поссорились? — спросил Алеша.

— Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к «прежнему» приревновал: «Зачем, дескать, ты его содержишь. Ты его, значит, содержать начала?» Все ревнует, все меня ревнует! И спит и ест ревнует. К Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал.

— Да ведь он же знал про «прежнего»-то?

— Ну вот поди. С самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать. Срамно только сказать, что говорил. Дурак! Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может, Ракитка-то его и уськает, а? Как ты думаешь? — прибавила она как бы рассеянно.

— Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен.

— Еще бы не раздражен, завтра судят. И шла с тем, чтоб об завтрашнем ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет! Ты вот говоришь, он раздражен, да я-то как раздражена. А он об поляке! Экой дурак! Вот к Максимушке небось не ревнует.

— Меня супруга моя очень тоже ревновала-с, — вставил свое словцо Максимов.

— Ну уж тебя-то, — рассмеялась нехотя Грушенька, — к кому тебя и ревновать-то?

— К горничным девушкам-с.

— Э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись; точно у меня дом богдельный, право, — рассмеялась она.

— Я ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с, — проговорил слезящимся голосом Максимов. — Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее меня-с.

— Эх, всякий нужен, Максимушка, и почему узнать, кто кого нужней. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша, тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот нарочно же и ему пошлю пирогов, я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю, так вот нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ах, вот и Феня с письмом! Ну, так и есть, опять от поляков, опять денег просят!

Пан Муссялович действительно прислал чрезвычайно длинное и витиеватое, по своему обыкновению, письмо, в котором просил ссудить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение трех месяцев; под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и всё с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего «прежнего». Началось это с самого выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала, однако, что оба пана и во время болезни ее приходили навещать о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большою фамильною печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день второе, в котором пан Муссялович просил ссудить его двумя тысячами рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в день, все так же важных и витиеватых, но в которых сумма, просимая взаимы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, до двадцати пяти, до десяти рублей, и, наконец, вдруг Грушенька

получила письмо, в котором оба пана просили у ней один только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она, в сумерки, сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке. Двести рублей, выигранные в Мокром у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило, однако же, Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему «прежнему» десять рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать.

— Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой прежний, — начала опять Грушенька, суетливо и торопясь, — смеюсь я это и рассказываю Мите-то: представь, говорю, поляк-то мой на гитаре прежние песни мне вздумал петь, думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами... Так вот нет же, пошлю панам пирогов! Феня, что они там девчонку эту прислали? Вот, отдай ей три рубля, да с десяток пирожков в бумагу им уверни и вели снести, а ты, Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала.

— Ни за что не расскажу, — проговорил, улыбнувшись, Алеша.

— Эх, ты думаешь, что он мучается; ведь он это нарочно приревновал, а ему самому все равно, — горько проговорила Грушенька.

— Как так нарочно? — спросил Алеша.

— Глупый ты, Алешенька, вот что, ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня, такую, приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит и теперь *нарочно* приревновал, вот что. Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, вдруг сейчас и говорит: такая-де она и сякая, доктора из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Значит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его глаза! Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать, да на меня на одну и свалить: «Ты, дескать, прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало».

Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, нарочно, говорю тебе, только я...

Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась.

— Он Катерину Ивановну не любит, — сказал твердо Алеша.

— Ну, любит не любит, это я сама скоро узнаю, — с грозною ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг из кроткого и тихо-веселого лица ее стало угрюмым и злым.

— Об этих глупостях полно! — отрезала она вдруг, — не за тем вовсе я и звала тебя. Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь что меня мучит! Одну только меня и мучит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает, никому-то до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят! Расскажи ты мне, как его там будут судить? Ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи! Неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а?

— Его строго опрашивали, — заметил Алеша задумчиво, — но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, с той падучей. В самом деле болен, — прибавил Алеша.

— Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, говорят, выписали.

— Это мы втроем дали три тысячи, я, брат Иван и Катерина Ивановна, а доктора из Москвы выписала за две тысячи уж она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял, да дело это получило огласку по всей России, во всех газетах и журналах о нем говорят, Фетюкович и согласился больше для славы приехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел.

— Ну и что ж? Говорил ему? — вскинулась торопливо Грушенька.

— Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять в соображение.

— Как это в соображение! Ах они мошенники! Погубят они его! Ну а доктора-то, доктора зачем та выписала?

— Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня, — тихо улыбнулся Алеша, — только брат не согласится на это.

— Ах, да ведь это правда, если б он убил! — воскликнула Грушенька. — Помешанный он был тогда, совсем помешанный, и это я, я, подлая, в том виновата! Только ведь он же не убил, не убил!



И все-то на него, что он убил, весь город. Даже Феня и та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире слышали! Все, все против него, так и галдят.

— Да, показания ужасно умножились, — угрюмо заметил Алеша.

— А Григорий-то, Григорий-то Васильич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его, я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще!

— Да, это, может быть, самое сильное показание против брата, — проговорил Алеша.

— А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков, — с каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. — Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать: хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь: об чем это он теперь начал все говорить? Заговорит, заговорит — ничего понимать не могу, думаю, это он об чем умном, ну я глупая, не понять мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дитё?» «За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти!» Что это такое, какое такое дитё — ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня вдруг и поцеловал и рукой перекрестил. Что это такое, Алеша, расскажи ты мне, какое это «дитё»?

— Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, — улыбнулся Алеша, — впрочем... это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду.

— Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович смущает, это он к нему ходит, вот что... — проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась. Алеша уставился на нее как пораженный.

— Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил.

— Ну... ну, вот я какая! Проболталась! — воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. — Стой, Алеша, молчи, так и быть, коль уж проболталась, всю правду скажу: он у него два раза был, первый раз только что он тогда приехал — тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал, я еще и слечь не успела, а другой раз приходил неделю назад. Мите-то он не велел об том тебе сказывать, отнюдь не велел, да и никому не велел сказывать, потаенно приходил.

Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие видимо его поразило.

— Брат Иван об Митином деле со мной не говорит, — проговорил он медленно, — да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил, а когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему уже не хожу. Гм... Если он был неделю назад, то... за эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена...

— Перемена, перемена! — быстро подхватила Грушенька. — У них секрет, у них был секрет! Митя мне сам сказал, что секрет, и знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был веселый, да он и теперь веселый, только, знаешь, когда начнет этак головой мотать, да по комнате шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить, то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе... я уж знаю!.. А то был веселый; да и сегодня веселый!

— А ты сказала: раздражен?

— Да он и раздражен, да веселый. Он и все раздражен, да на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, все я на него дивлюсь: впереди такой страх, а он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя.

— И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? Так и сказал: не говори?

— Так и сказал: не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митя-то. Потому тут секрет, сам сказал, что секрет... Алеша, голубчик, сходи, выведай: какой это такой у них секрет, да и приди мне сказать, — вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька, — пореши ты меня, бедную, чтоб уж знала я мою участь проклятую! С тем и звала тебя.

— Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет.

— Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет. Предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет — не сказал.

— Ты сама-то что же думаешь?

— А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Все это Катька, от нее и идет. «Такая она и сякая», значит, это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бросить он меня замыслил, вот и весь тут секрет! Втроем это и придумали — Митя, Катька да Иван Федорович. Алеша, хотела я тебя спросить давно: неделю назад он мне вдруг и открывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто к той ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, режь меня.

— Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю.

— Ну, так и я тогда же подумала! Лжет он мне, бесстыжий, вот что! И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хоронить, откровенный он ведь такой... Только я ж ему, я ж ему! «Ты, — говорит, — веришь, что я убил» — это мне-то он говорит, мне-то, это меня-то он тем попрекнул! Бог с ним! Ну, стой, плохо этой Катьке будет от меня на суде! Я там одно такое словечко скажу... Я там уж все скажу!

И опять она горько заплакала.

— Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька, — сказал, вставая с места, Алеша, — первое то, что он тебя любит, любит более всех на свете, и одну тебя, в этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу, а если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только... кажется мне... нет тут Катерины Ивановны и в помине, а это про другое про что-нибудь этот секрет. И это наверно так. И не похоже совсем, чтобы про Катерину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай!

Алеша пожал ей руку. Грушенька все еще плакала. Он видел, что она его утешениям очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дела.

## II

### БОЛЬНАЯ НОЖКА

Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже три недели как прихварывала: у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно днем, в привлекательном, но пристойном дезабилье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинною усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять: явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже дня четыре и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельною просьбой немедленно к ней прийти «по очень важному обстоятельству», что, по некоторым причинам, заинтересовало Алешу. Но пока девушка хо-

дила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе «на одну только минутку». Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамы, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и, видимо, в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга:

— Века, века, целые века не видала вас! Целую неделю, поми-луйте, ах, впрочем, вы были всего четыре дня назад, в среду. Вы к Лизе, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит! Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы — упокой, Господи, его душу! (Она перекрестилась), — после него я смотрю на вас как на схимника, хотя вы и премило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне все позволено, — кокетливо улыбнулась она, — но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: «А главное?» Ах, почему я знаю, что теперь главное! С тех пор как Лизе взяла у вас назад свое обещание — свое детское обещание, Алексей Федорович, — выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что все это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах, — слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра... Ну что об завтрашнем! Я умираю от одной мысли об завтрашнем! Главное же от любопытства... Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Лизе... Я ему пятьдесят рублей за визит заплатила. Но это все не то, опять не то... Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки, и я вас только и видела. Ах, боже мой! Что же мы сидим, и во-первых — кофе, Юлия, Глафира, кофе!

Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе.

— У кого?

— У Аграфены Александровны.

— Это... это у этой женщины! Ах, это она всех погубила, а впрочем, я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше

бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же польза? Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс... я непременно поеду, я готовлюсь, меня внесут в креслах, и притом я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете, ведь я в свидетелях. Как я буду говорить, как я буду говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так?

— Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться.

— Я могу сидеть; ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и все это быстро, быстро, и все меняется, и, наконец, ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Эта Катя — *cette charmante personne*<sup>1</sup>, она разбила все мои надежды: теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное, эта огласка: во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была «милым другом» вашего брата, я не хочу проговорить гадкое слово, представьте себе, ну представьте себе!

— Этого быть не может! Где же и как написали?

— Сейчас покажу. Вчера получила — вчера и прочла. Вот здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года, я ужасно люблю слухи, и подписалась, и вот себе на голову: вот они какие оказались слухи. Вот здесь, вот в этом месте, читайте.

И она протянула Алеше газетный листок, лежавший у ней под подушкой.

Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней все в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к своему счастью может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потому чрез минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном процессе, Алеша знал давно, и, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца, среди других верных известий, о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страха после преступления брата посхимился и затворился; в другой это опровергали и писали, напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взло-

<sup>1</sup> эта очаровательная особа (фр.).

мали монастырский ящик и «утекли из монастыря». Теперешнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было: «Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых «скучающих в одиночестве дам». Одна-де такая дама из «скучающих вдовиц», молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за два часа до преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел-де лучше убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой.

— Ну как же не я? — залепетала она опять, — ведь это я, я почти за час предлагала ему золотые прииски, и вдруг «сорокалетние прелести»! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему вечный судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю, но ведь это... ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракин.

— Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слышал.

— Он, он, а не «может быть»? Ведь я его выгнала... Ведь вы знаете всю эту историю?

— Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно — этого я... от вас, по крайней мере, не слышал.

— А стало быть, от него слышали! Что ж он, бранит меня, очень бранит?

— Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему показали — я и от него не слышал. Да и вообще я очень редко с ним теперь встречаюсь. Мы не друзья.

— Ну, так я вам это все открою и, нечего делать, покаюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой, — госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка, — видите, я подозреваю... вы меня простите, Алеша, я вам как мать... о нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу... потому что мать тут

совсем не идет... Ну, все равно как к старцу Зосиме на исповеди, и это самое верное, это очень подходит: назвала же я вас давеча схимником, — ну так вот этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин (о боже, я просто на него не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), одним словом, этот легкомысленный молодой человек вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня влюбиться. Я это потом, потом только вдруг заметила, но вначале, то есть с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю... и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли, он достойный, серьезный. Приходит он в три дня раз, а не каждый день (хотя пусть бы и каждый день), и всегда так хорошо одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непременно буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру... одним словом, он начал мне даже что-то намекать, а вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича и, верите ли, все шпыняет его, все шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна, то есть нет, я тогда уж лежала, вдруг я лежу одна, Михаил Иванович и приходит и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу, то есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это:

Эта ножка, эта ножка  
Разболелась немножко...

или как там, — вот никак не могу стихов запомнить, — у меня тут лежат, — ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с прелестною идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был видимо польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов, я уж предчувствовала, а Петр

Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю, кто сочинил. Но я уверена, я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался; но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: дрянные, говорит, стишонки, какой-нибудь семинарист написал, — да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! Тут ваш друг вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился... Господи, я думала, они подерутся. «Это я, — говорит, — написал. Я, — говорит, — написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением, а вы сами, — говорит, — крепостник; вы, — говорит, — никакой гуманности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы, — говорит, — чиновник и взятки берете!» Тут уж я начала кричать и молить их. А Петр Ильич, вы знаете, такой не робкий, и вдруг принял самый благородный тон: смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется: «Я, — говорит, — не знал. Если б я знал, я бы не сказал, я бы, — говорит, — похвалил... Поэты, — говорит, — все так раздражительны...» Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это всё были насмешки, а я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю: будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И вот верите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется: крикнуть аль не крикнуть? Один голос говорит: кричи, а другой говорит: нет, не кричи! Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович! Я сама знаю, что скверно сделала, я все лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное вдруг, показалось, что это будет так хорошо, эта сцена... Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась и несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда все и позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели, я и думаю: да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти «Слухи». Прочла и ахнула, ну кто же написал, это он написал, пришел тогда домой, сел — и написал; послал — и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, Алеша, ужас я что говорю, а вовсе не говорю об чем надо? Ах, само говорится!



— Мне сегодня ужасно как нужно поспеть вовремя к брату, — пролепетал было Алеша.

— Именно, именно! Вы мне всё напомнили! Послушайте, что такое аффект?

— Какой аффект? — удивился Алеша.

— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё прощают. Что бы вы ни сделали — вас сейчас простят.

— Да вы про что это?

— А вот про что: эта Катя... Ах, это милое, милое существо, только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более что сама начинает со мною теперь так поверхностно, одним словом, все об моем здоровье, и ничего больше, и даже такой тон принимает, а я и сказала себе: ну и пусть, ну и бог с вами... Ах да, ну так вот этот аффект: этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Все Катя! Ну так видите: сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот и с Дмитрием Федоровичем, наверно, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и спрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте: пришел и кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, и вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил.

— Да ведь он же не убил, — немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше.

— Знаю, это убил тот старик Григорий...

— Как Григорий? — вскричал Алеша.

— Он, он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена, пошел и убил Федора Павловича.

— Да зачем, зачем?

— А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. Только видите ли: лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил. Да это так и было, хоть я и говорю, что Григорий, но это наверно Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораздо лучше! Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя не

помня, или, лучше сказать, все помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят; это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов, а я-то и не знала, а говорят; это уже давно, и как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать; и потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтоб он был опасен, притом я позволю очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь, а потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте, вы, я — все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, всё подтверждают. Помилуйте, у меня Lise в аффекте, я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Lise меня так огорчает! Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала или вы сами к ней пришли?

— Да, она звала, и я пойду сейчас к ней, — встал было решительно Алеша.

— Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то, может быть, и самое главное, — вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав. — Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ничего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Lise, а я этого ничего и не знала.

— Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Он уж не сдвинулся и слушал стоя.

— Я вам расскажу, я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что: Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы, первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот, *vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de votre papa*<sup>1</sup>, только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришел, просидел пять минут и ушел. А узнала я про это

---

<sup>1</sup> вы понимаете, это дело и ужасная смерть вашего отца (фр.).

целых три дня спустя от Глафиры, так что это меня вдруг фраппировало<sup>1</sup>. Тотчас призываю Lise, а она смеется: он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Lise, Lise, о боже, как она меня огорчает! Вообразите, вдруг с ней в одну ночь — это четыре дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли, — вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика! Отчего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома!» Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: с какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории — ведь это несчастье, а не счастье, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно<sup>2</sup>, я с моими девушками на *вы*. И вдруг чрез час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить, а когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать и, целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды, и, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Lise, разузнать у ней все, как вы только один умеете это сделать, и прийти рассказать мне, мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если все это будет продолжаться, или бегу из дома. Я больше не могу, у меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда... и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то Петр Ильич! — вскрикнула, вся вдруг просяив, госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина. — Опоздали, опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу, ну что ж этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович?

— Я к Lise.

— Ах да! Так вы не забудете, не забудете, о чем я вас просила? Тут судьба, судьба!

— Конечно, не забуду, если только можно... но я так опоздал, — пробормотал, поскорее ретируясь, Алеша.

<sup>1</sup> поразило (*фр.* frapper).

<sup>2</sup> чудовищно (*фр.* monstrueux).

— Нет, наверно, наверно заходите, а не «если можно», иначе я умру! — прокричала вслед ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.

## III

## БЕСЕНОК

Войдя к Лизе, он застал ее полулежащею в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким, длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье, затем молча сел против нее.

— Я знаю, что вы спешите в острог, — резко проговорила Лиза, — а вас два часа задержала мама, сейчас вам про меня и про Юлию рассказала.

— Почему вы узнали? — спросил Алеша.

— Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощенья не прошу.

— Вы чем-то расстроены?

— Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужа не годитесь: я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И сорок лет вам придет, и вы все так же будете мои такие записки носить.

Она вдруг засмеялась.

— В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное, — улынулся ей Алеша.

— Простодушное это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы не стыдись, ведь так?

— Так.

— А верите вы, что я вас не стыжусь?

— Нет, не верю.

Лиза опять нервно засмеялась; говорила она скоро, быстро:

— Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет в острог послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький! Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить.

— Вы для чего меня сегодня звали, Lise?

— Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливою!

— Полюбили беспорядок?

— Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно!

Она с отвращением махнула ручкой.

— Богато живете, — тихо проговорил Алеша.

— Лучше, что ль, бедной-то быть?

— Лучше.

— Это вам ваш монах покойный наговорил. Это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего, — замала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал, — вы мне уж прежде все это говорили, я все наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью, — да и богата если буду, может быть, убью, — что сидеть-то! А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, настоящим мужиком, у нас жеребеночек, хотите? Вы Калганова знаете?

— Знаю.

— Он все ходит и мечтает. Он говорит: зачем взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубари спускать?

— Умею.

— Вот это он как кубарь: завертеть его и спустить и стегать, стегать, стегать кнутиком: выйду за него замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?

— Нет.

— Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точности известно.

— Бог осудит, — пристально вглядывался в нее Алеша.

— Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, наш дом, вы мне всё не верите?

— Почему же? Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это вроде болезни,

— Неправда, неправда, пусть есть дети, но я не про то.

— Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.

— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.

— Зачем делать злое?

— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша?

— Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает.

— Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю.

— Верю.

— Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите: верю. И ведь вы вовсе, вовсе не лжете. А может быть, вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?

— Нет, не думаю... хотя, может быть, и есть немного этой потребности.

— Немного есть. Никогда пред вами не солгу, — проговорила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Алешу всего более поражала ее серьезность: ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые «серьезные» ее минуты.

— Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша.

— Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят.

— А вы всё по-прежнему дурные книги читаете?

— Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду.

— Как вам не совестно разрушать себя?

— Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.

— Любят, что отца убил?

— Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю.

— В ваших словах про всех есть несколько правды, — проговорил тихо Алеша.

— Ах, какие у вас мысли! — взвизгнула в восторге Лиза, — это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон расскажу: мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух замирает.

— И у меня бывал этот самый сон, — вдруг сказал Алеша.

— Неужто? — вскрикнула Лиза в удивлении. — Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон?

— Верно, можно.

— Алеша, говорю вам, это ужасно важно, — в каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза. — Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон, как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смеетесь?

— Правда.

Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.

— Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне чаще, — проговорила она вдруг молящим голосом.

— Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить, — твердо ответил Алеша.

— Я ведь одному вам говорю, — начала опять Лиза. — Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Алеша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут?

— Не знаю.

— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг искажилось, глаза загорелись.

— Знаете, я про жиду этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня все эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы *непременно* пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот, *всё* рассказала, *всё*, и сказала, что «это хорошо». Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел. Презирал он меня, презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет? — выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.

— Скажите, — проговорил в волнении Алеша, — вы сами его позвали, этого человека?

— Сама.

— Письмо ему послали?

— Письмо.

— Собственно про это спросить, про ребенка?

— Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.

— Этот человек честно с вами поступил, — тихо проговорил Алеша.

— А меня презирал? Смеялся?

— Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен, Lise.

— Да, верит! — засверкала глазами Лиза.

— Он никого не презирает, — продолжал Алеша. — Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает.

— Стало быть, и меня? Меня?

— И вас.

— Это хорошо, — как-то проскрежетала Лиза. — Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...

И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.

— Знаете, Алеша, знаете, я бы хотела... Алеша, спасите меня! — вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками. — Спасите меня, — почти простонала она. — Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко! Мне все гадко, все гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите! — закончила она в исступлении.

— Нет, люблю! — горячо ответил Алеша.



— А будете обо мне плакать, будете?

— Буду.

— Не за то, что я вашею женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто?

— Буду.

— Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая *никого!* Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! — оторвалась она от него вдруг.

— Как же вы останетесь? — почти в испуге проговорил Алеша.

— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно.

— Передайте, непременно передайте! — иступленно, вся сотрясаясь, приказывала она, — сегодня, сейчас! Иначе я отравлюсь! Я вас затем и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:

— Подлая, подлая, подлая, подлая!

#### IV

#### ГИМН И СЕКРЕТ

Было уже совсем поздно (да и велик ли ноябрьский день), когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Все это у нас, в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами все

же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями, но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере, приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного: всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его окрик на нее в Мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело: хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его все как-то более и более смотрел на него мягче: «С хорошею, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка!» Прежний ужас сменился в сердце его какою-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин, повадившийся впоследствии приходиться очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых «исправничьих барышень», как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У зрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и зрителя, любившего говорить с ним вообще о «премудрости». Ивана Федоровича, например, зритель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, «своим умом дойдя». Но к Алеше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алеше, если бы даже он и запоздал в острог, стоило пройти к зрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алеше все до последнего сторожа в остроге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей каморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Алешей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик.

— Своего бы не забыть чего, — пробормотал он единственно, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты чужого-то чего не забудь! — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспыхнул.

— Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракитину! — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости.

— Чего ты? Я пошутил! — вскрикнул Митя, — фу, черт! Вот они все таковы, — обратился он к Алеше, кивая на быстро уходившего Ракитина, — то все сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел! Тебе даже и головой не кивнул, совсем, что ли, вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал все утро. Ну да ничего! Наверстаем.

— Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, что ли? — спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин.

— С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья! Считает, что я... подлец. Шутки тоже не понимают — вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей, пропала теперь моя голова!

Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу.

— Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат? — с робким чувством проговорил Алеша.

— Ты это про что? — как-то неопределенно глянул на него Митя, — ах, ты про суд! Ну, черт! Мы до сих пор всё с тобой о пустяках говорили, вот всё про этот суд, а я об самом главном с тобою молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такою критикой в лице смотришь?

— Про что ты это, Митя?

— Идеи, идеи, вот что! Эфика. Это что такое эфика?

— Эфика? — удивился Алеша.

— Да, наука, что ли, какая?

— Да, есть такая наука... только... я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука.

— Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери! В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделение критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принести и карьере устроить. Ух, карьере они мастера! Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, Божий ты человек! Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

— Карл Бернар? — удивился опять Алеша.

— Нет, не Карл, стой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли?

— Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю.

— Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в шелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!

— Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша.

— Хочет он обо мне, об моем деле статью написать и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: *de мыслибус non est disputandum*<sup>1</sup>, хороша острота? По крайней мере, и я в классицизм вступил, — захохотал вдруг Митя.

— Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал? — перебил Алеша.

— Отчего пропал? Гм! В сущности... если все целое взять — Бога жалко, вот отчего!

— Как Бога жалко?

— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!)... есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки Бога жалко!

— Ну и то хорошо, — сказал Алеша.

<sup>1</sup> о мыслях не спорят (*ломан. лат.*).

— Что Бога-то жалко! Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только как же, — спрашиваю, — после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» — «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, — говорит, — человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, — говорит, — убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь.

Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел:

— «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность вразрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет?

— Нет, не понимаю, — сказал Алеша.

Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.

— И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, — говорит, — так теперь пишут, потому что такая уж среда...» Среды боятся. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

— Я слышал, — сказал Алеша.

— Слышал? А стишонки слышал?

— Нет.

— У меня они есть, вот, я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история. Шельма! Три недели назад меня дразнить вздумал: «Ты вот, — говорит, — влопался как дурак из-за трех тысяч, а я полтора ста их тятну, на вдовеце одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю». И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась. «Да чувствительна, — говорит, — уж очень, вот я ее на том и добыю. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну». И такая у него скверная сладострастная слюна на губах, — не на Хохлакову слюна, а на полтора ста эти тысяч. И уверил меня, уверил; все ко мне ходит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. «В первый раз, — говорит, — руки мараю, стихи пишу, для обольщения, значит, для полезного

дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! «А все-таки, — говорит, — лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить». Это что про Пушкина-то — я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гордился-то стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! «На выздоровление больной ножки моего предмета» — это он такое заглавие придумал — резвый человек!

Уж какая ж эта ножка,  
Ножка, вспухшая немножко!  
Доктора к ней ездят, лечат,  
И бинтуют, и калечат.

Не по ножкам я тоскую, —  
Пусть их Пушкин воспевает:  
По головке я тоскую,  
Что идей не понимает.

Понимала уж немножко,  
Да вот ножка помешала!  
Пусть же вылечится ножка,  
Чтоб головка понимала.

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И действительно «гражданскую»-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали. Скрежетал!

— Он уже отмстил, — сказал Алеша. — Он про Хохлакову корреспонденцию написал.

И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи».

— Это он, он! — подтвердил Митя, нахмурившись, — это он! Эти корреспонденции... я ведь знаю... то есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про Катю... Гм!

Он озабоченно прошелся по комнате.

— Брат, мне нельзя долго оставаться, — сказал, помолчав, Алеша. — Завтра ужасный, великий день для тебя: Божий суд над тобой совершится... и вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь бог знает о чем...

— Нет, не удивляйся, — горячо перебил Митя. — Что же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей! Его Бог убьет, вот увидишь, молчи!

Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись.

— Ракитин этого не поймет, — начал он весь как бы в каком-то восторге, — а ты, ты все поймешь. Оттого и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах, выразить, но молчал о главнейшем: время как будто все еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землю, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все — «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь все пришло... вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это Его привилегия, великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей без Бога? Врет Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землей Его сретим! Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у Которого радость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!

Митя, произнося свою дикую речь, почти задышался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы.

— Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землю! — начал он опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать, именно в этих облезлых стенах, во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое стра-

дание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь. Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван...

— Что брат Иван? — перебил было Алеша, но Митя не слышал.

— Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но все во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить. Брат Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван сфинкс и молчит, все молчит. А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что как Его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину. «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, — говорю, — без Бога-то сам еще на говядину цену набьешь, козь под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водички испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

— Что сказал? — поспешно поднял Алеша.

— Я ему говорю: стало быть, все позволено, коли так? Он нахмурился. «Федор Павлович, — говорит, — папенька наш, был поросенок, но мыслил он правильно». Вот ведь что отмочил. Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина.



— Да, — горько подтвердил Алеша. — Когда он у тебя был?

— Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу, все расскажу. Страшное тут дело одно... А ты будешь мне судьба в этом деле. А теперь и не начинай об этом, теперь молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я ничего не знаю.

— Ты с этим адвокатом говорил?

— Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, — спрашиваю, — в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, показания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после четырех-то тысяч пятисот! До конца оплатит, последний кодрант. Не хочу ее жертвы! Устыдят они меня на суде! Как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль нельзя? Да черт, все равно, вытерплю! А ее не жаль. Сама желает. Поделом вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. — Он опять горько усмехнулся. — Только... только Груша-то, Груша-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет! — воскликнул он вдруг со слезами. — Убивает меня Груша, мысль о ней убивает меня, убивает! Она давеча была у меня...

— Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена.

— Знаю. Черт меня дерит за характер. Приревновал! Отпуская, раскаялся, целовал ее. Прощенья не попросил.

— Почему не попросил? — воскликнул Алеша.

Митя вдруг почти весело рассмеялся:

— Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина — это, брат, черт знает что такое, уж в них-то я, по крайней мере, знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться в вине, «ви-

новат, дескать, прости, извини»: тут-то и пойдет град попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки, вычитает, чего даже не было, все возьмет, ничего не забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и всё тебе на голову сложит — такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение; не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замазает. Героя даже не замазает, Цезаря не замазает! Ну а прощения все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой Митя, от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения Груше чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею! Не видит только она этого, нет, все ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде! Прежде меня только изгибы inferнальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал! Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день... Что она тебе обо мне говорила?

Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен.

— Так не сердится, что ревную, — воскликнул он. — Прямо женщина! «У меня у самой жестокое сердце». Ух, люблю таких, жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не терплю! Драться будем. Но любить — любить ее буду бесконечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. А без нее я жить не могу...

Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.

— Так секрет, говорит, секрет? У меня, дескать, втроем против нее заговор, и «Катка», дескать, замешана? Нет, брат, Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху! Алеша, голубчик, эх, куда ни шло! Открою я тебе наш секрет!

Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать: старик сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало.

— Я тебе всю нашу тайну открою! — зашептал спеша Митя. — Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня всё. Я хоть и говорю, что Иван над нами выс-

ший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести, — тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора: приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай; я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не все открою. Я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? А впрочем, господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай: брат Иван мне предлагает *бежать*. Подробностей не говорю: все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот все то, что я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори: я ведь вижу, как ты смотришь: ты уж решил! Не решай, пощади меня, я без Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончил как иступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждающим, воспаленным взглядом.

— Каторжных разве венчают? — повторил он в третий раз, молящим голосом.

Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен.

— Скажи мне одно, — проговорил он, — Иван очень настаивает, и кто это выдумал первый?

— Он, он выдумал, он настаивает! Он ко мне все не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему все мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом.

До истерики хочет. Главное деньги: десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку, а на десять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.

— И мне отнюдь не велел передавать? — переспросил снова Алеша.

— Отнюдь, никому, а главное, тебе: тебе ни за что! Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!

— Ты прав, — решил Алеша, — решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит.

— Нового человека аль Бернара, тот и решит по-бернаровски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! — горько осклабился Митя.

— Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?

Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.

— Алеша, голубчик, тебе пора! — вдруг зашпешил он. — Смотритель закричал на дворе, сейчас сюда будет. Нам поздно, беспорядок. Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест...

Они обнялись и поцеловались.

— А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил!

Грустная усмешка выдавилась на его губах.

— Ты спрашивал его: верит он или нет? — спросил Алеша.

— Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да все равно, я ведь по глазам вижу. Ну, прощай!

Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять:

— Становись предо мной, вот так.

И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекошились, взгляд впился в Алешу.

— Алеша, говори мне полную правду, как пред Господом Богом: веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, веришь или нет? Полную правду, не лги! — крикнул он ему иступленно.

Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал это, как бы прошло что-то острое.

— Полно, что ты... — пролепетал было он как потерянный.

— Всю правду, всю, не лги! — повторил Митя.

— Ни единой минуты не верил, что ты убийца, — вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку

вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити.

— Спасибо тебе! — выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. — Теперь ты меня возродил... Веришь ли: до сих пор боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну иди, иди! Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя Бог! Ну, ступай, люби Ивана! — вырвалось последним словом у Мити.

Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше, — все это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчасные слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана. Не менее, как Митя, его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.

## V

### НЕ ТЫ, НЕ ТЫ!

По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван, может быть, сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.

— Ах, это только ты, — сказал сухо Иван Федорович. — Ну, прощай. Ты к ней?

— Да.

— Не советую, она «в волнении», и ты еще пуще ее расстроишь.

— Нет, нет! — прокричал вдруг голос сверху из отворившейся мигом двери. — Алексей Федорович, вы от него?

— Да, я был у него.

— Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. Слышите-те!

В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решил, однако же, податься опять, вместе с Алешей.

— Подслушивала! — раздражительно прошептал он про себя, но Алеша расслышал.

— Позвольте мне остаться в пальто, — проговорил Иван Федорович, вступая в залу. — Я и не сяду. Я более одной минуты не останусь.

— Садитесь, Алексей Федорович, — проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту.

— Что ж он велел передать?

— Только одно, — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо, — чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том... — он несколько замялся, — что было между вами... во время самого первого вашего знакомства... в том городе...

— А, это про земной поклон за те деньги! — подхватила она, горько рассмеявшись. — Что ж, он за себя или за меня боится — а? Он сказал, чтоб я щадила — кого же? Его иль себя? Говорите, Алексей Федорович.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.

— И себя, и его, — проговорил он тихо.

— То-то, — как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела. — Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, — грозно сказала она, — да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса.

— Вы покажете честно, — сказал Алеша, — только этого и надо.

— Женщина часто бесчестна, — проскрежетала она. — Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга... как до гада... и вот нет, он все еще для меня человек! Да убил ли он? Он ли убил? — воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может, всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой. — Я была у Смердякова... Это ты, ты убедил меня, что он отцеубийца. Я только тебе и поверила! — продолжала она, все обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот, как бы с натуги, усмехнулся. Алеша вздрогнул, услышав это *ты*. Он и подозревать не мог таких отношений.

— Ну, однако, довольно, — отрезал Иван. — Я пойду. Приду завтра. — И, тотчас же повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки.

— Ступайте за ним! Догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты, — быстро зашептала она. — Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! Мне доктор говорил, идите, бегите за ним...

Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и пятидесяти шагов.

— Чего тебе? — вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот его догоняет, — велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть, — раздражительно прибавил он.

— Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен, — сказал Алеша. — Я сейчас смотрел у ней на твое лицо: у тебя очень болезненное лицо, очень, Иван!

Иван шел не останавливаясь. Алеша за ним.

— А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? — спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство.

— Нет, не знаю; полагаю, что много разных видов сумасшествия.

— А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?

— Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае, — с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки примолк.

— Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, пожалуйста, тему, — сказал он вдруг.

— А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, — робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.

— А, это от того бесенка! — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Ключья разлетелись. — Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.

— Как предлагается? — воскликнул Алеша.

— Известно, как развратные женщины предлагают.

— Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился Алеша. — Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит... Я не мог тебе не передать ее письма... Я, напротив, от тебя хотел что услышать... чтобы спасти ее.

— Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей. Не продолжай. Я об этом даже не думаю.

Помолчали опять с минуту.

— Она теперь всю ночь молить Божию Матерь будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить, — резко и злобно заговорил он вдруг опять.

— Ты... ты об Катерине Ивановне?

— Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ей явиться? О том молить будет, чтоб озарило ее душу. Сама еще, видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал!

— Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чувством проговорил Алеша.

— Может быть. Только я до нее не охотник.

— Она страдает. Зачем же ты ей говоришь... иногда... такие слова, что она надеется? — с робким упреком продолжал Алеша. — ведь я знаю, что ты ей подавал надежду, прости, что я так говорю, — прибавил он.

— Не могу я тут поступить, как надо, разорвать и ей прямо сказать! — раздражительно произнес Иван. — Надо подождать, пока скажут приговор убийце. Если я разорву с ней теперь, она из мщениия ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут все ложь, ложь на лжи! Теперь же, пока я с ней не разорвал, она все еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!

Слова «убийца» и «изверг» больно отозвались в сердце Алеши.

— Да чем таким она может погубить брата? — спросил он, вдумываясь в слова Ивана. — Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю?

— Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ есть, собственноручный, Митенькин, математически доказывающий, что он убил Федора Павловича.

— Этого быть не может! — воскликнул Алеша.

— Как не может? Я сам читал.

— Такого документа быть не может! — с жаром повторил Алеша. — Не может быть, потому что убийца не он. Не он убил отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.

— Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно, по-видимому, спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.

— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша.

— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.



— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он задышался.

— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.

— Я одно только знаю, — все так же почти шепотом проговорил Алеша. — Убил отца *не ты*.

— «Не ты»! Что такое не ты? — остолбенел Иван.

— Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша.

С полминуты длилось молчание.

— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.

— Когда я говорил?.. Я в Москве был... Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван.

— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца, — по-прежнему тихо и отдельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуюсь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это сказать.

Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и всё смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.

— Ты был у меня! — скрежещущим шепотом проговорил он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавайся... ты его видел, видел?

— Про кого ты говоришь... про Митю? — в недоумении спросил Алеша.

— Не про него, к черту изверга! — иступленно завопил Иван. — Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори!

— Кто *он*? Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепетал Алеша уже в испуге.

— Нет, ты знаешь... иначе как же бы ты... не может быть, чтобы ты не знал...

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.

— Брат, — дрожащим голосом начал опять Алеша, — я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь.

И это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня...

Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел овладеть собой.

— Алексей Федорович, — проговорил он с холодною усмешкой, — я пророков и эпилептиков не терплю; посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же перекрестке, меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?

Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь.

— Брат, — крикнул ему вслед Алеша, — если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!..

Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо, на разных квартирах: ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан; Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортабельное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове-чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и встававшая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобною дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за две от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом и которой Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков с самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.

## VI

## ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ

Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда, затем посетил его еще раз две недели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил, так что теперь с лишком месяц, как он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился же тогда Иван Федорович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его: погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул для посылки телеграммы к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждения в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил все про те же три тысячи, которые «украл» у него покойник. «Деньги мои, они были мои, — твердил Митя, — если бы даже украл их, то был бы прав». Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал и если толковал факты в свою пользу, то

опять-таки очень сбивчиво и нелепо — вообще как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это «черт отворил». Но никаких связных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что «все позволено». Вообще на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Митей Иван Федорович и направился тогда к Смердякову.

Еще в вагоне, летя из Москвы, он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Много смущало его, многое казалось подозрительным. Но, давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Все отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: «Не притворялся ли он в день катастрофы?» Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно (прибавил доктор Герценштубе), что рассудок его останется отчасти расстроен, «если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время». На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, «стало быть, он теперь сумасшедший?», ему ответили, что «этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности». Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо готовый завтра или послезавтра умереть; разговору он помешать не мог. Смердяков осклабилс недoverчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже сробел. Так, по крайней мере, мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение, напротив, во все остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович не-

сомненно убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии: он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком; очень похудел и пожелтел. Во все минут двадцать свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое, сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что-то намекающий левый глазок выдавал прежнего Смердякова. «С умным человеком и поговорить любопытно», — тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевелинулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно.

— Можешь со мной говорить? — спросил Иван Федорович, — очень не утомлю.

— Очень могу-с, — проямлил Смердяков слабым голосом. — Давно приехать изволили? — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившего посетителя.

— Да вот только сегодня... Кашу вашу здешнюю расхлебывать. Смердяков вздохнул.

— Чего вздыхаешь, ведь ты знал? — прямо брякнул Иван Федорович.

Смердяков солидно помолчал.

— Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только как же было и знать-с, что так поведут?

— Что поведут? Ты не виляй! Ведь вот ты же предсказал, что с тобой падучая будет тотчас, как в погреб полезешь? Прямо так на погреб и указал.

— Вы это уже в допросе показали? — спокойно любопытствовал Смердяков.

Иван Федорович вдруг рассердился:

— Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собой играть не позволю!

— А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас все мое упование, единственно как на Господа Бога-с! — проговорил Смердяков, все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки.

— Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что падучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал день и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в падучей нарочно?

— В погреб надлежало и без того идти-с, в день по несколько даже раз-с, — не спеша протянул Смердяков. — Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что падучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь.

— А ты предсказал день и час!

— Насчет моей болезни падучей-с осведомьтесь всего лучше, сударь, у докторов здешних: истинная ли была со мной али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

— А погреб? Погреб-то как ты предузнал?

— Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: «Вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь али нет?» — и от самого этого сумления вдруг схватила меня в горле эта самая неминуемая спазма-с... ну и полетел. Все это самое и весь разговор наш предыдущий с вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой страх сообщил и про погреб-с, — все это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе и следователю Николаю Парфеновичу, и всё они в протокол записали-с. А здешний доктор господин Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнительности, «что вот, дескать, упаду аль не упаду?». А она тут и подхватила. Так и записали-с, что беспременно этому так и надо было произойти, от единого то есть моего страху-с.

Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевел дыхание.

— Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказалось, что тот уж и сам все объявил.

— Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запишут, — твердо произнес Смердяков.

— И про наш разговор с тобой у ворот все до слова рассказал?

— Нет, не то чтобы все до слова-с.

— А что представляться в падучей умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал?

— Нет, этого тоже не сказал-с.

— Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в Чермашню посылал?

— Боялся, что в Москву уедете, в Чермашню все же ближе-с.

— Врешь, ты сам приглашал меня уехать: уезжайте, говорил, от греха долой!

— Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. Только себя больше вашего сожалел-с. Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить.

— Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван Федорович.

— Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скандалу и самые эти деньги не унесли, так как их все равно что за свои почитали, а вот кто же знал, что таким убивством кончится? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот убили-с. Где же и вам угадать было, сударь?

— Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь? — вдумываясь, проговорил Иван Федорович.

— А потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню направляю вместо этой Москвы-с.

— Да как тут догадаться!

Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минутой.

— Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Москвы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствия вашего здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко, а Дмитрий Федорович, знавши, что вы недалеко, не столь ободрены будут. Да и меня могли в большей скорости, в случае чего, приехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильича к тому же указывал, да и то, что падучей боюсь. А объяснив вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе останетесь.

«Он очень связно говорит, — подумал Иван Федорович, — хоть и мямлит; про какое же Герценштубе говорил расстройство способностей?»

— Хитришь ты со мной, черт тебя дери! — воскликнул он, осердившись.

— А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались, — с самым простодушным видом отпарировал Смердяков.

— Кабы догадался, так остался бы! — вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув.

— Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадавшись, скорее как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страху-с.

— Ты думал, что все такие же трусы, как ты?

— Простите-с, подумал, что и вы, как и я.

— Конечно, надо было догадаться, — волновался Иван, — да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны... Только ты врешь, опять врешь, — вскричал он, вдруг припомнив. — Помнишь, как ты к тарантасу тогда подошел и мне сказал: «С умным человеком и поговорить любопытно». Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил?

Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась краска.

— Если был рад, — произнес он, несколько задыхаясь, — то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. Потому все же ближе; а только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с.

— В какой попрек?

— А то, что, предчувствуя такую беду, собственного родителя оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с.

— Черт тебя дери! — опять обругался Иван. — Стой: ты про знаки, про стуки эти, следователю и прокурору объявил?

— Все как есть объявил-с.

Иван Федорович опять про себя удивился.

— Если я подумал тогда об чем, — начал он опять, — то это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей стороны. Дмитрий мог убить, но что он украдет — я тогда не верил... А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты это сказал?

— По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в падучей нарочно, а так только, чтоб похвалиться пред вами, сказал. Одна глупость-с. Полюбил я вас тогда очень и был с вами по всей простоте.

— Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл.

— Да им что же больше остается? — горько осклабился Смердяков, — и кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то Григорий Васильевич отпертую видели-с, после этого как же-с. Да что уж, бог с ними! Себя спасая, дрожат...

Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил:

— Ведь вот-с, опять это самое: они на меня свалить желают, что это моих рук дело-с, — это я уже слышал-с, — а вот хоть бы это самое, что я в падучей представляться мастер: ну сказал ли бы



я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убийство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну родному, помилуйте-с?! Похоже это на вероятие? Это, чтоб это могло быть-с, так, напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого Провидения-с, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня вконец защитить-с: ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут.

— Слушай, — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять... напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем?

— Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди.

— До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу... да и тебе советую не показывать, — проговорил вдруг почему-то Иван.

— Оченно понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю...

Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и, проговорив: «Глупости!» — он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было — он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие несколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в Мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных «стуках» поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показание Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича прямо заявила ему, что Смердяков всю

ту ночь лежал у них за перегородкой, «трех шагов от нашей постели не было», и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет: «Все время стонал, беспрерывно стонал». Поговорив с Герценштубе и сообщив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно занимается? — спросил он Ивана Федоровича, — французские вокабулы наизусть учит; у него под подушкой тетрадка лежит и французские слова русскими буквами кем-то записаны, хе-хе-хе!» Иван Федорович оставил наконец все сомнения. О брате Дмитрие он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было все-таки странно: что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а, «по всей вероятности», Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством: приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни: это все могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю, предприиму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: «Я-то до нее не охотник», — то страшно лгал в ту минуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилась много причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил, — о, она слишком это знала, — и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с Иваном (а их было много) прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря с Алешей, «ложью на лжи». Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича... но все это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И, однако, две неде-

ли спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить все те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это потом, почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, а въезжая в Москву, сказал себе: «Я подлец!» И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже и Катерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели! Как раз, подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос:

— Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что «право желаний» оставляю за собой, — скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца, или нет?

— Подумал, — тихо ответил Алеша.

— Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб «один гад съел другую гадину», то есть чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее... и что и сам я поспособствовать даже не прочь?

Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.

— Говори же! — воскликнул Иван. — Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо: правду, правду! — Он тяжело перевел дух, уже заранее с какою-то злобой смотря на Алешу.

— Прости меня, я и это тогда подумал, — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного «облегчающего обстоятельства».

— Спасибо! — отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своею дорогой. С тех пор Алеша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы невзлюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту, сейчас после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердякову.

## VII

### ВТОРОЙ ВИЗИТ К СМЕРДЯКОВУ

Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с мате-

рю, а в другой Смердяков, особливо. Бог знает на каких основаниях он у них поселился: даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас... Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновой, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану, и все это он сразу обхватил и заметил, а главное — взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «Чего, дескать, шляешься, обо всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел?» Иван Федорович едва сдержал себя.

— Жарко у тебя, — сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто.

— Снимите-с, — позволил Смердяков.

Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.

— Во-первых, одни ли мы? — строго и стремительно спросил Иван Федорович. — Не услышат нас оттуда?

— Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.

— Слушай, голубчик: что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в падучей, то и ты-де не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Что это такое *всего*? Что ты мог тогда разуместь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступал, боюсь тебя, что ли?

Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: «Хочешь, дескать, начистоту, так вот тебе и эта самая чистота».

— А то самое я тогда разумел, и для того я тогда это произносил, что вы, знавши наперед про это убийство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем, — вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою, по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарыбило.

— Как? Что? Да ты в уме али нет?

— Совершенно в полном своем уме-с.

— Да разве я *знал* тогда про убийство? — вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. — Что значит: «об чем ином прочем»? — говори, подлец!

Смердяков молчал и все тем же наглým взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.

— Говори, смердящая шельма, об чем «ином прочем»? — завопил тот.

— А об том «ином прочем» я сею минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откатнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами, и, проговорив: «Стыдно, сударь, слабого человека бить!» — он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.

— Довольно! Перестань! — повелительно сказал наконец Иван Федорович, садясь опять на стул. — Не выводите меня из последнего терпения!

Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.

— Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?

— Мыслей ваших я тогдашних не знал-с, — обиженно проговорил Смердяков, — а потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с.

— Что испытать? Что?

— А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?

Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.

— Это ты его убил! — воскликнул он вдруг.

Смердяков презрительно усмехнулся:

— Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.

— Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?

— Как уже известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а я сам пропаду заодно, как муха.

— Слушай, ты две недели назад не то говорил.

— То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с.

— Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

— И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

— Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? — ядовито и как-то даже отместительно подхватил Смердяков. — Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прійтись, а может, и того больше-с, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо она очень неглупые-с, так что вам всем трем братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с: стоило этой

барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали.

Иван Федорович со страданием сдержал себя.

— Хорошо, — проговорил он наконец, — ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше: стало быть, я, по твоemu, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал?

— Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспрерменно тогда рассчитывали!

— Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так, уж конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости... тогда... я помню мое впечатление!

— И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, — насмешливо осклабился Смердяков, — так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь убить родителя, я не препятствую.

— Подлец! Ты так понял!

— А всё чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердитесь! Собираетесь в Москву и на все просьбы родителя ехать в Чермашню отказались-с! И по одному только глупому моему слову вдруг согласились-с! И на что вам было тогда соглашаться на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали.

— Нет, клянусь, нет! — завопил, скрежеща зубами, Иван.

— Как же это нет-с? Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать-с... по крайности по мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, напротив, нимало не рассердимшись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя... Как же мне было не заключить?

Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена.

— Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, — горько усмехнулся он. — В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто ж бы

мне поверил и на что я мог указать, ну а по мордасам... ух, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу.

Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.

— В обыкновенных случаях жизни, — проговорил он тем самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, — в обыкновенных случаях жизни мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все перестали бить-с, ну а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, все одно продолжают бить, как и при Адаме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличительном случае тогда не посмели-с.

— Что это ты французские вокабулы учишь? — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.

— А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть.

— Слушай, изверг, — засверкал глазами Иван и весь затрясся, — я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня что хочешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!

— А по-моему, лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности и кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу-с, ибо как же бы мне не защитит себя?

— Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?

— Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с.

— Это значит опять-таки что: «с умным человеком и поговорить любопытно» — а? — проскрежетал Иван.

— В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.

Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. «Идти объявить сейчас на Смердякова? Но что же объявить: он все-таки невинен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? — спрашивал Иван Федорович. — Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав...» И ему опять в сотый раз припомнилось, как



он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте как пронзенный: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением: он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, все ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм:

— Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его — еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я.

Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкапу, вынула какую-то бумажку и положила ее перед Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше как о «математическом доказательстве», что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было испуленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст, — и все это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязенький клочок обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, не достало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи, и прощай —

великого гнева женщина, но прощай и любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

P. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Димитрий не вор, а убийца! Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.

P.P. S. Ноги твои целую, прощай!

P.P. SS. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут — в крови! Убей меня!

Раб и враг

*Д. Карамазов».*

Когда Иван прочел «документ», то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то, стало быть, и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Через несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решил презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные,

но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слышал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее «возвраты» к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за «возвраты» к нему Кати ненавидел его, а именно *за то, что он убил отца!* Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства — план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая не заживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решил жертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтобы устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» — спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом... Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алеше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он (то есть Митя) убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это *она*, она ему выложила тогда «документ» и доказала виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердякова!» Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити! И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его, может быть, в этот раз», — подумал он дорогой.

## VIII

## ТРЕТЬЕ, И ПОСЛЕДНЕЕ, СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ

Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:

Ах, поехал Ванька в Питер,  
Я не буду его ждать!

Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.

Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то есть Смердяков) очень больны-с, не то что лежат-с, а почти как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.

— Что ж он, буянит, что ли? — грубо спросил Иван Федорович.

— Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не очень долго разговаривайте... — попросила Марья Кондратьевна.

Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу. Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми

подушками. На постеле сидел Смердяков все в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее, он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.

— Да ты и впрямь болен? — остановился Иван Федорович. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?

Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел.

— Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?

Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.

— Чего ты? — воскликнул Иван.

— Ничего.

— Что ничего?

— Ну была, ну и все вам равно. Отстаньте-с.

— Нет, не отстану! Говори, когда была?

— Да я и помнить об ней забыл, — презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то иступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц назад.

— Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на вас нет, — проговорил он Ивану.

— Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.

— А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?

Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.

— Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! — в страшном раздражении крикнул Иван.

— Чего вы ко мне пристааете-с? Чего меня мучите? — со страданием проговорил Смердяков.

— Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.

— Нечего мне вам отвечать! — опять потупился Смердяков.

— Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!

— Чего вы всё беспокоитесь? — вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже гадливостью, — это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

— Не понимаю я тебя... чего мне бояться завтра? — удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.

— Не по-ни-маете? — протянул он укоризненно. — Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!

Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.

— Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, *не вы убили*.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.

— Я знаю, что не я... — пролепетал было он.

— Зна-е-те? — опять подхватил Смердяков.

Иван вскочил и схватил его за плечо:

— Говори все, гадина! Говори все!

Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами.

— Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал он ему.

Иван опустил на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся:

— Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?

— Да и в прошлый раз стояли предо мной и всё понимали, понимаете и теперь.

— Понимаю только, что ты сумасшедший.

— Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али всё еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.

— Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван.

Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его наконец поразила своею искренностью испуг Ивана.

— Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.

Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык.

Ах, поехал Ванька в Питер,  
Я не буду его ждать, —

прозвенело вдруг в его голове.

— Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? — пролепетал он.

— Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут Он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.

— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.

— Третий этот — Бог-с, самое это Провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.

— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. — Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!

Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще он никак не мог победить своей недоверчивости, все еще казалось ему, что Иван «все знает», а только так представляется, чтоб «ему же в глаза на него одного свалить».

— Подождите-с, — проговорил он наконец слабым голосом и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.

— Сумасшедший! — завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, нимало не смутившись его испугом, все еще копался в чулке, как будто все силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.

— Вот-с! — сказал он тихо.

— Что? — ответил, трясясь, Иван.

— Извольте взглянуть-с, — так же тихо произнес Смердяков.

Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосновения какого-то отвратительного, страшного гада.

— Пальцы-то у вас всё дрожат-с, в судороге, — заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.

— Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с, — пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустил на стул. Он был бледен как платок.

— Ты меня испугал... с этим чулком... — проговорил он, как-то странно ухмыляясь.

— Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? — спросил еще раз Смердяков.

— Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах! — Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай: ты один убил? Без брата или с братом?

— Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с.

— Хорошо, хорошо... Обо мне потом. Чего это я все дрожу... Слова не могу выговорить.

— Всё тогда смелы были-с, «все, дескать, позволено», говорили-с, а теперь вот так испугались! — пролепетал, дивясь, Смердяков. — Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая, чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.

— Не хочу лимонаду, — сказал он. — Обо мне потом. Садись и говори: как ты это сделал? Все говори...

— Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.

Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.

— Говори же, пожалуйста, говори!

Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков *все* теперь скажет.

— Об том, как это было сделано-с? — вздохнул Смердяков. — Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов...

— Об моих словах потом, — прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. — Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Всё по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное подробности. Прошу.

— Вы уехали, я упал тогда в погреб-с...

— В падучей или притворился?

— Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.



— Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?

— Никак нет-с. На другой же день, наутро, до больницы еще, ударила настоящая, и столь сильная, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.

— Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.

— Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатъевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные оне всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича.

— Как ждал, к себе?

— Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь придут, ибо им, меня лишимшись и никаких сведений не имея, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить.

— А если бы не пришел?

— Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.

— Хорошо, хорошо... говори понятнее, не торопись, главное — ничего не пропускай!

— Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с... это наверно-с. Потому я их уже так приготовил... в последние дни-с... а главное — те знаки им стали известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно. Я так их и ожидал-с.

— Стой, — прервал Иван, — ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

— Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенести, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке, по крайней мере, под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убийство, то, ничего не найдя, или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убийцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на другой день

али даже в ту же самую ночь-с за образа слазить и деньги эти самые унести-с, все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.

— Ну а если б он не убил, а только избил?

— Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что избьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Федорович, их избимши, деньги похитили.

— Стой... я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?

— Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они... да не хочу я теперь пред вами лгать, потому... потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все знавши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

— Почему, почему я убийца? О боже! — не выдержал наконец Иван, забыв, что все о себе отложил под конец разговора. — Это все та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?

— Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило али с Дмитрием Федоровичем в товарищах; напротив, от других защитили бы... А наследство получив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили, а то, женившись на Аграфене Александровне, вышел бы вам один только шиш.

— А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю жизнь! — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?

— А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы али остались. Если б остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не

посмеете и три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде-с, то есть не то, что я украд аль убил, — этого бы я не сказал-с, — а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово — в публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.

— Так имел, так имел я эту жажду, имел? — проскрежетал опять Иван.

— Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело молча тогда разрешили-с, — твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал.

— Продолжай дальше, — сказал он ему, — продолжай про ту ночь.

— Дальше что же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и вышли и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с — вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул налево-то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю! Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. «Григория убил!» — «Где?» — шепчу ему. «Там, в углу», — указывает, сам тоже шепчет. «Подождите», — говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и живы еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец: «Где здесь? Где?» — так и охает, а сам еще не верит. «Там, — говорю, — стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг

я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня и не пускает всего. «Где она, где она?» — смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится — плохо! и тут у меня даже ноги ослабели от страха у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатъевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам, должно быть, бледен пред ними стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, — говорю, — не видели?» — «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» — «Да боится, — говорю, — крику испугалась, в куст спряталась, подите крикните, — говорю, — сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, — кричит, — Грушенька, здесь ты?» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страха, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, — говорю (подошел я к окну, сам весь высунулся), — вон она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое преспапье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, преспапье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблонке, что с дуплом, — вы дупло-то это знаете, а я его уж давно нагляддел, в нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там с лишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег, да и думаю в страхе: «Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили и деньги унесли-с». Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатъевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, — выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут-с все это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.

Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвом молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что.

— Стой, — подхватил, соображая, Иван. — А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел прежде тебя?

Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.

— Насчет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, — искривленно усмехнулся Смердяков. — Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел, — вот это уж и не собыете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того вконец уличат.

— Слушай, — проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — слушай... Я много хотел спросить тебя еще, но забыл... Я все забываю и путаюсь... Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес... Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить... а почему так надо — не могу понять...

— А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если бы примерно это он убил, стал бы тогда, после убийства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете бесприменно лежат-с? Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели, и вот как достали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее и распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли в нем в самом деле

эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непри-вычный-с и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись заранее вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в опросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, — так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с...

— Так неужели, неужели ты все это тогда же так на месте и обдумал? — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.

— Помилосердуйте, да можно ли это все выдумать в таких по-пыхах-с? Заранее все обдуманно было.

— Ну... ну, тебе, значит, сам черт помогал! — воскликнул опять Иван Федорович. — Нет, ты неглуп, ты гораздо умней, чем я ду-мал...

Он встал с очевидным намерением пройти по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо сто-ла и стены почти приходилось пролезать, то он только повернул-ся на месте и сел опять. То, что он не успел пройти, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил:

— Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, — поднял Иван руку кверху, — может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб... умер отец, но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но все рав-но, я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил! Я все ска-жу, все. Но мы явимся вместе с тобою! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал — принимаю и не боюсь тебя; сам все подтверждаю! Но и ты должен пред судом со-знаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!

Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.

— Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас со-всем глаза-с, — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.

— Вместе пойдем! — повторил Иван, — а не пойдешь — все равно я один сознаюсь.

Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.

— Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, — решил он наконец безапелляционно.

— Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул Иван.

— Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?

— Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить.

Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону.

— Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, — вздохнул Смердяков.

— Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? — с большим удивлением посмотрел на него Иван.

— Не надо мне их вовсе-с, — дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. — Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али, пуще того, за границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.

— Своим умом дошел? — криво усмехнулся Иван.

— Вашим руководством-с.

— А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.

— Так зачем отдаешь?

— Полноте... нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой. — Вы вот сами тогда всё говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти... Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! — твердо и убежденно решил опять Смердяков.

— Увидишь! — проговорил Иван.

— Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть

женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, из всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

— Ты неглуп, — проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, — я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

— От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.

— Завтра их на суде покажу, — сказал он.

— Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.

Иван встал с места.

— Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

— А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!

— До завтра! — крикнул Иван и двинулся идти.

— Пойдите... покажите мне их еще раз.

Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.

— Ну, ступайте, — проговорил он, махнув рукой. — Иван Федорович! — крикнул он вдруг ему вслед опять.

— Чего тебе? — обернулся Иван уже на ходу.

— Прощайте-с!

— До завтра! — крикнул опять Иван и вышел из избы.

Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, все так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил



помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут щедрою рукой «на расходы». Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет... Однако как я в силах наблюдать за собой, — подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением, — а они-то решили там, что я с ума схожу!» Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому. «Завтра всё вместе!» — прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилён. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоящий у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило.

## IX

### ЧЕРТ. КОШМАР ИВАНА ФЕДОРОВИЧА

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю. Забегая вперед, скажу лишь

одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискнул высказать предположение, что действительно, может быть, ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройств в мозгу, и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, — решил доктор, — хотя надо бы их и проверить... вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь — дело другое, тогда пусть лечит кто хочет», — решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine»<sup>1</sup>, как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бороде клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и у всех шикаватых джентльменов, но белье, если взглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слиш-

<sup>1</sup> «под пятьдесят» (фр.).

ком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, выдавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, — обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть, и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к Рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смиренно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — начал он Ивану Федоровичу, — ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел ничего об ней не узнав, верно, забыл...

— Ах да! — вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, — да, я забыл... Впрочем, теперь все равно, все до завтра, — пробормотал он про себя. — А ты, — раздражительно обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

— А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «Дескать, реалист, а не материалист, хе-хе!»

— Слушай, — встал вдруг из-за стола Иван Федорович. — Я теперь точно в бреду... и уж, конечно, в бреду... ври что хочешь, мне все равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я сам говорю, а не ты!* Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

— Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на *ты*, — начал было гость.

— Дурак, — засмеялся Иван, — что ж я *вы*, что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

— *C'est charmant!*<sup>1</sup>, приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — как-то яростно даже вскричал Иван. — Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно проработать. Ты моя галлюцинация. Ты

<sup>1</sup> Это восхитительно (фр.).

воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от него узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, — мягко засмеялся джентльмен.

— Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

— А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

— Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! — опять засмеялся Иван.

— Бранишься, а сам смеешься, — хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение...

— Молчи про решение! — свирепо вскричал Иван.

— Понимаю, понимаю, *c'est noble, c'est charmant*<sup>1</sup>, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву... *c'est chevaleresque*<sup>2</sup>.

— Молчи, я тебе пинков надаю!

— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

— Браня тебя, себя браню! — опять засмеялся Иван, — ты — я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

— Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, — с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.

— Только всё скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! — проскрежетал Иван.

— Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, — в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал

<sup>1</sup> это благородно, это прекрасно (фр.).

<sup>2</sup> это по-рыцарски (фр.).

гость. — Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно — о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен — не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта — это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил, — если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, — помолчал немного джентльмен. — Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору... ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

— Дурак! — отрезал Иван.

— Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли...

— Дурак, — повторил опять Иван.

— Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

— У черта ревматизм?

— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана *sum et nihil humanum a me alienum puto*<sup>1</sup>.

— Как, как? Сатана *sum et nihil humanum*... это неглупо для черта!

— Рад, что наконец угодил.

---

<sup>1</sup> Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно...

— *C'est du nouveau n'est ce pas?*<sup>1</sup> На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

— Друг мой, сегодня я взял особую методику, я потом тебе растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там...

— Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? — почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его: очевидно, не помогало.

— У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, — ты сердисься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-

<sup>1</sup> Это ново, не правда ли? (фр.)

то этой, я же бе над твердию, — ведь это такой мороз... то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

— Что станется в пространстве с топором? *Quelle idée!*<sup>1</sup> Если куда попадет подалее, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все.

— Ты глуп, ты ужасно глуп! — строптиво сказал Иван, — вривнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты ешь, но я не хочу верить, что ты ешь! Не поверю!!

— Да я и не вру, все правда; к сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу...

— Не философствуй, осел!

— Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболит у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это

<sup>1</sup> Что за мысль! (фр.)



не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я единственно, чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан написал: прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази: мальц-экстракт Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил полторы склянки, и хоть танцевать, все как рукой сняло. Непременно положил ему «спасибо» в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то редакции не принимают! «Ретроградно очень будет, — говорят, — никто не поверит, le diable n'existe point<sup>1</sup>. Вы, — советуют, — напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «Это в Бога, — говорю, — в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». — «Понимаем, — говорят, — кто же в черта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как, например, благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением.

— Опять в философию въехал! — ненавистно проскрежетал Иван.

— Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседолого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен отрицать, между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила чрез горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что

<sup>1</sup> дьявола-то больше не существует (фр.).

без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие: все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердисься. Ты вечно сердисься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить.

— Уж и ты в Бога не веришь? — ненавистно усмехнулся Иван.

— То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

— Есть Бог или нет? — опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван.

— А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.

— Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — я, ты есть я, и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

— То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis<sup>1</sup>, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, Бог и даже сам сатана — все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего довременно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь.

— Лучше бы ты какой анекдот! — болезненно проговорил Иван.

— Анекдот есть и именно на нашу тему, то есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь-де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас там все теперь помutilись, и всё от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли

<sup>1</sup> Я мыслю, следовательно, я существую (фр.).

у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще — так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное — суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные «сведения». Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков, — не ваших, а наших, — и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, «всё отвергал, законы, совесть, веру», а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, — говорит, — противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё простят...

— А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.

— Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне все больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет во все. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, — один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, — вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

— На чем же он там улегся?

— Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься?

— Молодец! — крикнул Иван, все в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. — Ну что ж, и теперь лежит?

— То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул Иван, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая. — Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет ходу?

— Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?

— Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердую, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и всё в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

— Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

— А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — и это по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой), — не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осанну», да и пересолит, так что иные там, с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

— Я тебя поймал! — вскричал Иван с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив, — этот анекдот о квадриллионе лет — это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнился теперь бессознательно — мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон и не существуешь!

— По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

— Нимало! На сотую долю не верю!

— Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десяти тысячную...

— Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. — Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! — странно вдруг прибавил он.

— Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

— Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты ешь.

— Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб — да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо тебе очень, очень того втайне хочется, акриды кушать будешь, спастись в пустыню потащишься!

— Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

— Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

— Шут! А искушал ты когда-нибудь вот таких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

— Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок — и полетит человек «вверх тормашки», как говорит актер Горбунов.

— Ну и что ж, отходил с носом?

— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом все же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу-иезуиту. Я присутствовал — просто прелесть. «Возвратите мне, — говорит, — мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам Провидения все восполняется и видимая беда влечет иногда за

собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». — «Отец святой, это не утешение! — восклицает отчаянный, — я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» — «Сын мой, — вздыхает патер, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на Провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом...»

— Фу, как глупо! — крикнул Иван.

— Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая иезуитская казуистика, и, клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уже на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. «Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. — восклицает патер. — O Sancta Maria<sup>1</sup>, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!» — «Ah mon père<sup>2</sup>, — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!»<sup>3</sup> Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступил: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, а ведь старик — кремень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротить нос, опять сердиться? Не знаю уж, чем и угодить тебе...

— Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар, — болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, — мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

<sup>1</sup> «О святая Мария!» (лат.)

<sup>2</sup> «Ах, отец мой» (фр.).

<sup>3</sup> «Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!» (фр.)

— Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня «все-го великого и прекрасного» и увидишь, как мы дружно с тобою уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. — Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт? Нет, в тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек. Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительно-го статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил, по крайней мере, Полярную звезду али Сириуса. И все ты о том, что я глуп. Но, бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях Своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянись же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна»! Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в ту же минуту, — что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пако-сти. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рывкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнет-

ся во всем мире. благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и скрепя сердце исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... Ты заснул?

— Еще бы, — злобно простонал Иван, — все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, — ты мне же подносишь как какою-то новость!

— Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне, а, не правда ли?

— Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?

— Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского барчонка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием «Великий инквизитор»... Я его только и имел в виду!

— Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе», — воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

— Ну а «Геологический-то переворот»? Помнишь? Вот это так уж поэмка!

— Молчи, или я убью тебя!

— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, параллельно геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все,



что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную...» ну и прочее, и прочее, в том же роде. Премило!

Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

— Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «все позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог — там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «все дозволено», и шабаш! Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора.

— Ah, mais c'est bête enfin!<sup>1</sup> — воскликнул тот, вскакывая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, — вспомнил Люте-

<sup>1</sup> Ах, но это же глупо, наконец! (*фр.*)

рову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричал гость, — это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

— Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и, уж конечно, он недаром, конечно, с «известием»!.. — воскликнул иступленно Иван.

— Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. *Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors...*<sup>1</sup>

Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечи почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

— Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это все сейчас было! — вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку. — Алеша, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул он брату. — В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?

— Час тому назад повесился Смердяков, — ответил со двора Алеша.

— Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, — сказал Иван и пошел отворять Алеше.

## Х

### «ЭТО ОН ГОВОРИЛ!»

Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу этта к нему

---

<sup>1</sup> Известно ли мсье, какая стоит погода? В такую погоду и собаку на двор не выгоняют... (фр.)

самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит». На вопрос Алеши: «Заявила ль она кому следует?» — ответила, что никому не заявляла, а «прямо бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала бегом». Она была как помешанная, передавал Алеша, и вся дрожала как лист. Когда же Алеша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова все еще висевшим. На столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику, у него обо всем заявил, «а оттуда прямо к тебе», заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И все время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз, как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица.

— Брат, — вскричал он вдруг, — ты, верно, ужасно болен! Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю.

— Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слышав восклицания Алеши. — А ведь я знал, что он повесился.

— От кого же?

— Не знаю от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил...

Иван стоял среди комнаты и говорил все так же задумчиво и смотря в землю.

— Кто он? — спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом.

— Он улизнул.

Иван поднял голову и тихо улыбнулся:

— Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим». Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим... Громовый вопль восторга серафимов! Что такое серафим? Может быть, целое созвездие. А может быть, все-то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула... Есть созвездие Льва и Солнца, не знаешь ли?

— Брат, сядь! — проговорил Алеша в испуге, — сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет?

— Дай полотенце, вот тут на стуле, я давеча сюда бросил.

— Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит; вот оно, — сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты, у туалетного столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце; память как бы вмиг воротилась к нему.

— Постой, — привстал он с дивана, — я давеча, час назад, это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда... как же оно сухое? Другого не было.

— Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша.

— Да, и ходил по комнате, час назад... Почему так свечки сгорели? Который час?

— Скоро двенадцать.

— Нет, нет, нет! — вскричал вдруг Иван, — это был не сон! Он был, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан... вот этот... Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны... но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу... а сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване... Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп, — засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате.

— Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? — опять тоскливо спросил Алеша.

— Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый... Алеша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? Что? холодный? Хочешь, велю поставить? *C'est à ne pas mettre un chien dehors...*

Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него.

— Что ты мне давеча говорил про Лизу? — начал опять Иван. (Он становился очень словоохотлив.) — Мне нравится Лиза. Я сказал про нее тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравится... Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю! Да, она это думает! Так вот нет же! Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишиться себя жизни, Алеша! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это он мне сказал...

— И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? — спросил Алеша.

— Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? А он — это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное! Да, я «романтик», он это подметил... хоть это и клевета. Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про

меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, — ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, — я бы очень желал, чтоб он в самом деле был он, а не я!

— Он тебя измучил, — сказал Алеша, с состраданием смотря на брата.

— Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». Это он говорил, это он говорил!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! Пусть он унесет с собою все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит!

— Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша, — с содроганием обиды проговорил Иван. — Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца...»

— Брат, — прервал Алеша, — удержись: не ты убил. Это неправда!

— Это он говорит, он, а он это знает. «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный». Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит...

— Это ты говоришь, а не он! — горестно воскликнул Алеша, — и говоришь в болезни, в бреде, себя мучая!

— Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: «Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

— Брат, успокойся, перестань! — упрасивал Алеша.

— Нет, он умеет мучить, он жесток, — продолжал, не слушая, Иван. — Я всегда предчувствовал, зачем он приходит. «Пусть, — говорит, — ты шел из гордости, но ведь все же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь *нравственно* (слышишь, он тут смеялся!),

а другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков, повесился, — ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?» Это страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы!

— Брат, — прервал Алеша, замирая от страха, но все еще как бы надеясь образумить Ивана, — как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому узнать?

— Он говорил, — твердо произнес Иван, не допуская и сомнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. «И добро бы ты, — говорит, — в добродетель верил: пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идешь! И будто ты решился? Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь — это уж сам угадай, вот тебе загадка!» Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал, Алеша! *Le mot de l'énigme*<sup>1</sup>, что я трус! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил. Его надо убить! Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза презирать начнет! «Идешь, чтоб тебя похвалили» — это зверская ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза!

Он вскочил в исступлении, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его: «Как будто я сплю наяву... Хожу, говорю и вижу, а сплю». Именно как будто это совершалось теперь. Алеша не отходил от него. Мелькнула было у него мысль бежать к доктору и привезть того, но он побоялся оставить брата одного: поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал

<sup>1</sup> Отгадка в том (фр.).

себя довести до постели, Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, которому он не верил, и правда Его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. «Да, — неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке, — да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет!» Алеша тихо улыбнулся. «Бог победит! — подумал он. — Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», — горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.



## Книга двенадцатая СУДЕБНАЯ ОШИБКА

### I

#### РОКОВОЙ ДЕНЬ

На другой день после описанных мною событий, в десять часов утра, открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым.

Скажу вперед, и скажу с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребовалась бы целая книга, и даже преобладающая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимые черты... А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел.

И во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно: все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые два месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого, да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все



билеты были расхvatаны. Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд: там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам — наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце залы за эстрадой была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов, и они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла все «дело» густо сомкнувшеюся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества, и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере огромное большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому, что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала; про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного, про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступление, рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости (она почти никому в нашем городе не сделала визитов), об «аристократических связях». Говорили, что она намерена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С не меньшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц — аристократической гордой девушки и «гетеры»; Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее, «погубительницу Федора Павловича и несчастного сына его», выдали наши дамы и прежде, и все, почти до единой, удивлялись, как в такую «самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мешчанку» могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что,

собственно, в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на все это ужасное дело, и естественно после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только нерасположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что, в противоположность дамскому, весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскорбить лично во время своего у нас пребывания. Конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны собственно к судьбе Мити, но все же опять-таки не к рассматривавшемуся делу; все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь, так сказать, современно-юридическая. Всех волновал проезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре, и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и все его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить ввиду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались: наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем

думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь.

Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. Притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента и проч. и проч. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало.

Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда стоял стол с «вещественными доказательствами». На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, которою он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше, в глубь залы, начинались места для публики, но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В десять часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет пятидесяти, с темными с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте — не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем,

очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу: все ли явились присяжные заседатели?.. Вижу, однако, что так более продолжать не могу, уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомянуть, а главное, потому, что, как уже и сказал я выше, если все припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не останется у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей, тою и другою стороною, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же двенадцати присяжных запомнил: четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы: «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам и что-де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?» В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые, — один только из них был несколько помоложе, — в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жалованье, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть, даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и, уж разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бороду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. Двое из них были тоже в немецком платье и оттого-то, может быть, грязнее и непригляднее на вид, чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел: «Что могут такие постичь в таком деле?» Тем не менее лица их производили какое-то странно-внушительное и почти грозящее впечатление, были строги и нахмурены.

Наконец председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова, — не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю, как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатле-

ние. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в шегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же, сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек, с длинными, тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими, изредка кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и проч. Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный; четверо из свидетелей не явились: Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание которого имелось еще в предварительном следствии, госпожа Хохлакова и помещик Максимов по болезни и Смердяков за внезапную смерть, причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это — внезапная выходка Мити: только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу:

— Собаке собачья смерть!

Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил вполголоса защитнику:

— Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду!

И, уж конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт.

Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главные причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду, и так далее. Тем не менее он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

Митя вдруг встал с места.

— Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом, — в лени и в дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца, — невиновен! Но в ограблении его — нет, нет, невиновен, да и не могу быть виновным: Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!

Прокричав это, он сел на место, видимо весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетелей увели и рассадили по возможности порознь. Затем стали вызывать их по одному.

## II

### ОПАСНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предположено было вызывать их. Должно быть, все это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением, а эти две замечательные речи я, по крайней мере местами, записал в полноте и передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравший-

ся внезапно еще до судебных прений и несомненно повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого «дела», всеми замеченная, именно: необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем, может быть, стало понятно еще с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что, в сущности, никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интересного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают — в этом, странное дело, все дамы были окончательно убеждены почти до самой последней минуты: «виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли», и проч. и проч. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя: что может сделать из такого потерянного дела, из такого выеденного яйца даже и такой талант, как Фетюкович? — а потому с напряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель, но какая она — угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, однако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в какие-нибудь три дня может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и «до тонкости изучил его». С наслаждением рассказывали, например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел вовремя «подвести» и по возможности сбить, а главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания. Полагали, впрочем, что он делает это много-много что для игры, так сказать, для некоторого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов: ибо все были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими

«подмарываниями» не мог достичь и, вероятно, это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придет срок. Но пока все-таки, сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Федора Павловича, дававшего самое капитальное показание об «отворенной в сад двери», защитник так и вцепился в него, когда ему в свою очередь пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильев предстал в залу, не смутившись нимало ни величием суда, ни присутствием огромной слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не величавым. Он давал свои показания с такою уверенностью, как если бы беседовал наедине со своею Марфой Игнатьевной, только разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и «не так воспитал детей. Его, малого мальчика, без меня вши бы заели, — прибавил он, повествуя о детских годах Мити. — Тоже не годилось отцу сына в имении его материнском, родовом, обижать». На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Федор Павлович обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но все-таки стоял на том, что расчет с сыном был «неправильный» и что это точно ему «несколько тысяч следовало доплатить». Замечу кстати, что этот вопрос — действительно ли Федор Павлович не доплатил чего Мите, прокурор с особенною настойчивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Федоровича, но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного сведения; все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, — мрачное впечатление пронеслось по зале, тем более что старый слуга рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразился, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а пуще безбожник, и что его безбожеству Федор Павло-



вич и старший сын учили. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смердяков, во время оно, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это «золотой подарил» и впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем, его так много расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец, опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором «будто бы» спрятаны были Федором Павловичем три тысячи рублей для «известной особы». «Видели ли вы его сами — вы, столь многолетне приближенный к вашему барину человек?» Григорий ответил, что не видел, да и не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, «до самых тех пор, как вот начали теперь все говорить». Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такою же настойчивостью, как и прокурор свой вопрос о разделе имущества, и ото всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нем слышали. Эту настойчивость защитника на этом вопросе все с самого начала заметили.

— Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите, — вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюкович, — из чего состоял тот бальзам, или, так сказать, та настойка, посредством которой вы в тот вечер, пред сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться?

Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав несколько, пробормотал:

- Был шалфей положен.
- Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?
- Подорожник был тоже.
- И перец, может быть? — любопытствовал Фетюкович.
- И перец был.
- И так далее. И все это на водочке?
- На спирту.

В зале чуть-чуть пронесся смешок.

— Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки, с некоею благочестивою молитвой, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?

- Выпил.
- Много ли примерно выпили? Примерно? Рюмочку, другую?
- Со стакан будет.
- Даже и со стакан. Может быть, и полтора стаканчика?

Григорий замолк. Он как бы что-то понял.

— Стаканчика полтора чистенького спиртику — оно ведь очень недурно, как вы думаете? Можно и «райские двери отверсты» увидеть, не то что дверь в сад?

Григорий все молчал. Опять прошел смешок в зале. Председатель пошевелился.

— Не знаете ли вы наверно, — впивался все более и более Фетюкович, — почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?

— На ногах стоял.

— Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще смешок в зале). Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чем, — ну, например, о том, который у нас теперь год?

— Этого не знаю.

— А который у нас теперь год, нашей эры, от Рождества Христова, не знаете ли?

Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год.

— Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев?

— Я человек подневольный, — вдруг громко и раздельно проговорил Григорий, — коли начальству угодно надо мною надсмехаться, так я снести должен.

Фетюковича как бы немножко осаждало, но ввязался и председатель и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячок сомнения в показании человека, имевшего возможность «видеть райские двери» в известном состоянии лечения и, кроме того, даже не ведущего, какой нынче год от Рождества Христова; так что защитник своей цели все-таки достиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил: не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний?

— Кроме двери, во всем правду сказал, — громко крикнул Митя. — Что вшей мне вычесывал — благодарю, что побои мне простил — благодарю; старик был честен всю жизнь и верен отцу как семьсот пуделей.

— Подсудимый, выбирайте ваши слова, — строго проговорил председатель.

— Я не пудель, — проворчал и Григорий.

— Ну так это я пудель, я! — крикнул Митя. — Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощения прошу: был зверь и с ним жесток! С Езопом тоже был жесток.

— С каким Езопом? — строго поднял опять председатель.

— Ну с Пьеро... с отцом, с Федором Павловичем.

Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтоб он осторожнее выбирал свои выражения.

— Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших.

Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей и которым несомненно дорожил прокурор. Оказалось, что он все знал, удивительно много знал, у всех-то он был, все-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактуре «Столичный город», все компрометирующие того слова и жесты и передал историю о «мочалке» штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта, остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мите при расчете по имению — даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера: «кто, дескать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить?» Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении, и потом уже в речи своей (что увидим ниже) цитовал несколько мыслей из этой статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно подкрепила «обвинение». Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостию мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два-три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин, все же как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и тою высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об Аграфене Александровне несколько презрительно, как о «содержанке купца Самсонова». Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. И все потому, что Ракитин совсем

не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом.

— Позвольте узнать, — начал защитник с самою любезною и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тот самый и есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием?

— Я написал не для печати... это потом напечатали, — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом.

— О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу... Но я вот о чем, главное, желал бы у вас полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой? (*Nota bene!* Фамилия Грушеньки оказалась «Светлова». Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса.)

— Я не могу отвечать за все мои знакомства... Я молодой человек... и кто же может отвечать за всех тех, кого встречает, — так и вспыхнул весь Ракитин.

— Понимаю, слишком понимаю! — воскликнул Фетюкович, как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться, — вы, как и всякий другой, могли быть в свою очередь заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но... я хотел лишь осведомиться: нам известно, что Светлова месяца два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым, Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать двадцать пять рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагическою катастрофой, послужившею основанием настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и — получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светловой, вот что я желал бы от вас услышать?

— Это была шутка... Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки... и чтобы потом отдать...

---

<sup>1</sup> Заметь особо (*лат.*).

— Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор... или отдали?

— Это пустое... — бормотал Ракитин, — я не могу на этикие вопросы отвечать... Я, конечно, отдам.

Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошел со сцены несколько подсаженный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено, и Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике: «вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити: взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: «Бернар!» Когда же председатель, по окончании всего опроса Ракитина, обратился к подсудимому: не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:

— Он у меня уже у подсудимого деньги таскал взаймы! Бернар презренный и карьерист, и в Бога не верует, преосвященного надул!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выражений, но господин Ракитин был dokonчен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и, несмотря на все предосторожности и предварительную «экспертизу», вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.

— Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне Бог там заплатит-с.

— Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?

— Илюшечка, сыночек мой: «Папочка, папочка, как он тебя унизил!» У камушка произнес. Теперь помирает-с...

Штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели, при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе.

Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и все более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Так, например, показание Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатление и, уж конечно, было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно, чуть не по пальцам, высчитал, что Митя, в первый приезд свой в Мокрое, за месяц почти пред катастрофой, не мог истратить менее трех тысяч или «разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано! Нашим-то, нашим-то вшивым мужикам не то что «полтиною по улице шибали», а по меньшей мере двадцати-пятирублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько

у них тогда просто украли-с! Ведь кто украл, тот руки своей не оставил, где же его поймать, вора-то-с, когда сами зря разбрасывали! Ведь у нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, девкам-то нашим деревенским что пошло! Разбогатели у нас с той поры, вот что-с, прежде бедность была». Словом, он припомнил всякую издержку и вывел все точно на счетах. Таким образом, предположение о том, что истрачены были лишь полторы тысячи, а другие отложены в ладонку, становилось немыслимым. «Сам видел, в руках у них видел три тысячи как одну копеечку, глазами созерцал, уж нам ли счету не понимать-с!» — восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить «начальству». Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти и не пробуя опровергать показание, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в Мокром, в этот первый кутеж, еще за месяц до ареста, сто рублей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю. «Ну так возвратили вы тогда эти сто рублей господину Карамазову или нет?» Трифон Борисович как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил «по самой честности, и что вот только оне сами, будучи в то время совсем пьяными-с, вряд ли это могут припомнить». Но так как он все-таки до призыва свидетелей-мужиков в находке ста рублей отрицался, то и показание его о возврате суммы хмельному Мите, естественно, подверглось большому сомнению. Таким образом, один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки заподозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба «служили короне», и что «пан Митя» предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Муссялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы и, видя, что это только возвышает его в глазах председателя и прокурора, возвысил наконец свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фетюкович поймал и их в свои тенета: как ни вилял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Муссялович, мечта банк, передернул карту. Это уже подтвердил Калганов, давая в свою очередь показание, и оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики.

Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нрав-

ственно размарать и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались и лишь недоумевали опять-таки, к чему такому большому и окончательному все это могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, все более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности «великого мага» видели, что он был спокоен, и ждали: недаром же приехал из Петербурга «таков человек», не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.

### III

#### МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОДИН ФУНТ ОРЕХОВ

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетюкович, кажется, не очень на нее рассчитывал, что и оказалось впоследствии. В основании своем она произошла единственно по настоянию Катерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита, конечно, ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем, отчасти вышло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами явились: приехавший знаменитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и, наконец, молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором. Первым спрошен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего роста, крепкого сложения. Его все у нас в городе очень ценили и уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и благочестивый, какой-то гернгутер или «моравский брат» — уж не знаю наверно. Жил у нас уже очень давно и держал себя с чрезвычайным достоинством. Он был добр и человеколюбив, лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги на лекарство, но притом был и упрям, как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но все же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, доктор Герценштубе, и вот знаменитый врач с чрезвычайною резкостью окриковал везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, прямо

спрашивал: «Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? Хе-хе!» Доктор Герценштубе, конечно, все это узнал. И вот все три врача появились один за другим для опроса. Доктор Герценштубе прямо заявил, что «ненормальность умственных способностей подсудимого усматривается сама собой». Затем, представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он прибавил, что ненормальность эта усматривается, главное, не только из прежних многих поступков подсудимого, но и теперь, в сию даже минуту, и когда его попросили объяснить, в чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик доктор со всею прямою своего простодушия указал на то, что подсудимый, войдя в залу, «имел необыкновенный и чудный по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы», заключил старичок своим своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по-русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что, впрочем, никогда не смущало его, ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, «за лучшую, чем даже у русских», и даже очень любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, что русские пословицы лучшие и выразительнейшие из всех пословиц в мире. Замечу еще, что он, в разговоре, от рассеянности ли какой, часто забывал слова самые обычные, которые отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выскакивали. То же самое, впрочем, бывало, когда он говорил по-немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как бы ища ухватить потерянное словечко, и уж никто не мог бы принудить его продолжать начатую речь, прежде чем он не отыщет пропавшего слова. Замечание его насчет того, что подсудимый, войдя, должен был бы посмотреть на дам, вызвало игривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили все дамы, знали тоже, что он, холостой всю жизнь человек, благочестивый и целомудренный, на женщин смотрел как на высшие и идеальные существа. А потому неожиданное замечание его всем показалось ужасно странным.

Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте, и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно,



совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но, кроме аффекта, доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству. (NB. Я передаю своими словами, доктор же изъяснялся очень ученым и специальным языком.) «Все действия его наоборот здравому смыслу и логике, — продолжал он. — Уже не говорю о том, чего не видал, то есть о самом преступлении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня, во время разговора со мной, у него был необъяснимый неподвижный взгляд. Неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздражение, странные слова: “Бернар, эфика” и другие, которых не надо». Но особенно усматривал доктор эту манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти исступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он бескорыстен и нестяжателен. «Насчет же мнения ученого собрата моего, — иронически присовокупил московский доктор, заканчивая свою речь, — что подсудимый, входя в залу, должен был смотреть на дам, а не прямо перед собою, скажу лишь то, что, кроме игривости подобного заключения, оно, сверх того, и радикально ошибочно; ибо, хотя я вполне соглашаюсь, что подсудимый, входя в залу суда, в которой решается его участь, не должен был так неподвижно смотреть перед собой и что это действительно могло бы считаться признаком его ненормального душевного состояния в данную минуту, но в то же время я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда и от защиты которого зависит теперь вся его участь». Мнение свое доктор выразил решительно и настоятельно. Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый как теперь, так и прежде находится в совершенно нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был пред арестом находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых очевидных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать в себе никакого особенного «аффекта», о котором сейчас говорилось. Что же до того, налево или направо

должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту», с некоторым жаром заключил молодой врач свое «скромное» показание.

— Браво, лекарь! — крикнул Митя со своего места, — именно так!

Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласилось. Впрочем, доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний, весьма интересных для «обвинения», и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил:

— И, однако, бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве, и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: «Если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только...»

— Ум хорошо, а два — лучше, — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить.

— О, д-да, и я то же говорю, — упрямо подхватил он, — один ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил... Как это, куда он его пустил? Это слово — куда он пустил свой ум, я забыл, — продолжал он, вертя рукой пред своими глазами, — ах да, шпацирен.

— Гулять?

— Ну да, гулять, и я то же говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем это был благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке...

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался.

— О да, я сам был тогда еще молодой человек... Мне... ну да, мне было тогда сорок пять лет, а я только что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя: почему я не могу купить ему один фунт... Ну да, чего фунт? Я забыл, как это называется... фунт того, что дети очень любят, как это, — ну, как это... — замахал опять доктор руками, — это на дереве растет, и его собирают и всем дарят...

— Яблоки?

— О н-не-е-ет! Фунт, фунт, яблоки десяток, а не фунт.... нет, их много и все маленькие, кладут в рот и кр-р-рах!..

— Орехи?

— Ну да, орехи, и я то же говорю, — самым спокойным образом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор, — и я принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто еще не приносил фунт орехов, и я поднял мой палец и сказал ему: «Мальчик! Gott der Vater»<sup>1</sup>. Он засмеялся и говорит: «Gott der Vater. — Gott der Sohn»<sup>2</sup>. Он еще засмеялся и лепетал: «Gott der Sohn. — Gott der heilige Geist»<sup>3</sup>. Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог: «Gott der heilige Geist». А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: «Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn», и только забыл «Gott der heilige Geist», но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и, смеясь, говорит: «Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist! Я сейчас приехал и пришел вас благодарить за фунт орехов; ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов». И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, и я сказал: «Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоём детстве». И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, но он и плакал... ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..

<sup>1</sup> «Бог Отец» (нем.).

<sup>2</sup> «Бог Отец. — Бог Сын» (нем.).

<sup>3</sup> «Бог Сын. — Бог Дух Святой» (нем.).

— И теперь плачу, немец, и теперь плачу, Божий ты человек! — крикнул вдруг Митя со своего места.

Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели à décharge<sup>1</sup>, то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите и — что всего замечательнее — неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.

#### IV

#### СЧАСТЬЕ УЛЫБАЕТСЯ МИТЕ

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека, может быть, и неистового и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если бы от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни, из-за страсти к Грушеньке, из-за соперничества с отцом, в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему, обманом отца, наследство и что, будучи вовсе не корыстолюбивым, даже не мог заговорить об этих трех тысячах без исступления и бешенства. Про соперничество же двух «особ», как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать.

— Говорил ли вам, по крайней мере, брат ваш, что намерен убить своего отца? — спросил прокурор. — Вы можете не отвечать, если найдете это нужным, — прибавил он.

— Прямо не говорил, — ответил Алеша.

---

<sup>1</sup> защиты (фр.).

— Как же? Косвенно?

— Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что... в крайнюю минуту... в минуту омерзения... может быть, и мог бы убить его.

— И вы, услышав, поверили тому?

— Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что *не он* убил отца моего, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, слышавший трубный сигнал.

— Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обуславливая и не ассимилируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурою. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью: какие именно данные руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невинности брата вашего, и, напротив, в виновности другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии?

— На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, — тихо и спокойно проговорил Алеша, — а не шел сам с обвинением на Смердякова.

— И все же на него указали?

— Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то...

— То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невинности вашего брата?

— Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

— Только по лицу? В этом все ваши доказательства?

— Более не имею доказательств.

— И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его?

— Да, не имею иного доказательства.

На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление.

О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда, кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал, говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности лакея, и вот — ничего, никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого.

Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том: когда именно подсудимый говорил ему, Алеше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой, Алеша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив:

— Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь...

И Алеша с увлечением, видимо сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, «в верхнюю часть груди», несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, вот тут, на его груди... «Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце и что он содрогается, как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие, а между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди, так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи, и все указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладонку, в которой защиты были эти полторы тысячи!..»

— Именно! — крикнул вдруг Митя с места. — Это так, Алеша, так, я тогда об нее стучал кулаком!

Фетюкович бросился к нему впопыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлеченный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог возратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он все-таки ре-

шил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увоз Грушеньки, если б она согласилась...

— Это так, это именно так, — восклицал во внезапном возбуждении Алеша, — брат именно восклицал мне тогда, что половину, половину позора (он несколько раз выговорил: *половину!*) он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает... знает заранее, что этого не может и не в силах сделать!

— И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? — жадно допрашивал Фетюкович.

— Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда: зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне тогда же показалась моя мысль глупою... я это помню, что показалась глупою... это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор! Именно он на эту ладонку указывал как на то, что у него есть средства, но что он не отдаст эти полторы тысячи! А при аресте, в Мокром, он именно кричал, — я это знаю, мне передавали, — что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину (именно половину!) долга Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами! А как он мучился, как он мучился этим долгом! — закончил, восклицая, Алеша.

Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще раз описать, как это все было, и несколько раз настаивал, спрашивая: точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что-то указывал? Может быть, просто бил себя кулаком по груди?

— Да и не кулаком! — восклицал Алеша, — а именно указывал пальцами, и указывал сюда, очень высоко... Но как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты!

Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что именно все так и было, что он именно указывал на свои полторы тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи, и что, конечно, это был позор, «позор, от которого не отрекаюсь, позорнейший акт во всей моей жизни! — вскричал Митя. — Я мог отдать и не отдал. Захотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал, а самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам! Прав, Алеша! Спасибо, Алеша!»

Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим самое мелкое, доказательство, почти только на-

мек на доказательство, но которое все же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладонка, что были в ней полторы тысячи и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в Мокром объявил, что эти полторы тысячи «были мои». Алеша был рад; весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя: «Как это я забыл! Как мог я это забыть! И как это так вдруг только теперь припомнилось!»

Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел «как платок», только что она вошла. Вся в черном, скромно и почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она была взволнована, но решимость сверкала в ее темном, сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно или, по крайней мере, усиливаясь быть спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться «иных струн» и уважая великое несчастье. Но Катерина Ивановна сама, с самых первых слов, твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленною невестой подсудимого «до тех пор, пока он сам меня не оставил...» — тихо прибавила она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила: «Я дала ему не прямо на почту; я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги... в ту минуту... Я дала ему эти три тысячи под условием, чтоб он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга...»

Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний.

— Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти три тысячи, только что получит от отца, — продолжала она, отвечая на вопросы. — Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности... высокой честности... в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей, и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распря, и всегда была и до сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне, по крайней мере, он ничего не говорил, никаких угроз. Если б он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоила бы его тревогу из-за должных мне



им этих несчастных трех тысяч, но он не приходил ко мне более... а я сама... я была поставлена в такое положение... что не могла его звать к себе... Да я и никакого права не имела быть к нему требовательною за этот долг, — прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе, — я сама однажды получила от него денежное одолжение еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря на то что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой...

В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу.

— Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? — осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то что был вызван из Петербурга отчасти и самою Катериной Ивановной, — все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей еще в том городе, и о «земном поклоне». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно с уверенностью предположить, что она сама, до самой последней минуты, не знала: расскажет она этот эпизод на суде или нет, и ждала какого-то вдохновения.)

Нет, никогда я не могу забыть этих минут! Она начала рассказывать, она *все* рассказала, весь этот эпизод, поведенный Митей Алеше, и «земной поклон», и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянула о том, что Митя, чрез сестру ее, сам предложил «прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами». Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибежала тогда к молодому офицеру, своим собственным порывом, надеясь на что-то... чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал, слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное, так что даже и от такой самовластной и презрительно-гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высокооткровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания. И для чего, для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым, к спасению его, произведя в его пользу хорошее впечатление! И в самом деле: образ офицера, отдающего свои последние пять тысяч рублей, — все, что у него оставалось в жизни, — и почтительно преклонившегося пред невинною девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но... у меня больно сжалось сердце! Я почувствовал, что может выйти потом (да и вышла потом, вышла!) клевета! Со злобным смешком

говорили потом во всем городе, что рассказ, может быть, не совсем был точен, именно в том месте, где офицер отпустил от себя девицу «будто бы только с почитительным поклоном». Намекали, что тут нечто «пропущено». «Да если б и не было пропущено, если б и все правда была, — говорили даже самые почтенные наши дамы, — то и тогда еще неизвестно: очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца?» И неужели Катерина Ивановна, с ее умом, с ее болезненною проницательностью, не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решилась же сказать все! Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту всё и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал! Много было приобретено: человек, отдающий, в благородном порыве, последние пять тысяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на три тысячи, — это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере, хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. «Дело» вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же... про него рассказывали, что он раз или два во время показания Катерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки:

— Катя, зачем меня погубила!

И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал:

— Теперь я приговорен!

А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно, может быть, погубила Митю. Ибо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не явись этого эпизода, преступнику, по крайней мере, дали бы снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о Грушеньке.

Она явилась в залу тоже вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах. Плавно, своею неслышною походкой,

с маленькою раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, один из таких, которые, чуть лишь заподозрят от кого презрение, — тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора. При этом была, конечно, и робость, и внутренний стыд за эту робость, так что немудрено, что разговор ее был неровен — то гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала искренняя сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть: «все-де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу...» На счет знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: «Всё пустяки, разве я виновата, что он ко мне привязался?» А потом через минуту прибавила: «Я во всем виновата, я смеялась над тем и другим — и над стариком, и над этим, — и их обоих до того довела. Из-за меня все произошло». Как-то коснулось дело до Самсонова: «Какое кому дело, — с каким-то наглым вызовом тотчас же огрызнулась она, — он был мой благодетель, он меня босоногую взял, когда меня родные из избы вышвырнули». Председатель, впрочем весьма вежливо, напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее сверкнули.

Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от «злодея», что есть у Федора Павловича какой-то пакет с тремя тысячами. «Только это все глупости, я смеялась и ни за что бы туда не пошла...»

— Про кого вы сейчас упомянули как о «злодее»? — осведомился прокурор.

— А про лакея, про Смердякова, что барина своего убил, а вчера повесился.

Конечно, ее мигом спросили: какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких.

— Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что, всему одна она причиной, вот что, — вся как будто содрогаясь от ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе.

Осведомились, на кого она опять намекает.

— А на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе меня тогда зазвала, шоколатом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что...

Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось, она готова была полететь хоть в бездну...

— При аресте в селе Мокром, — припоминая, спросил прокурор, — все видели и слышали, как вы, выбежав из другой комнаты, закричали: «Я во всем виновата, вместе в каторгу пойдем!» Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отцеубийца?

— Я чувств моих тогдашних не помню, — ответила Грушенька, — все тогда закричали, что он отца убил, я и почувствовала, что это я виновата и что из-за меня он убил. А как он сказал, что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить: не таков человек, чтобы солгал.

Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей «за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова».

— А что ж удивительного, что он деньги взял, — с презрительною злобой усмехнулась Грушенька, — он и все ко мне приходил деньги канючить, рублей по тридцати, бывало, в месяц выберет, все больше на баловство: пить-есть ему было на что и без моего.

— На каком же основании вы были так щедры к господину Ракитину? — подхватил Фетюкович, несмотря на то что председатель сильно шевелился.

— Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сестры. Он только все молил меня никому про то здесь не сказывать, стыдился меня уж очень.

Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью для всех, никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя речь господина Ракитина, все благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России — все это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был доволен: опять Бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремились на нее, когда она, кончив показание, уселась в зале довольно далеко от Катерины Ивановны.

Все время, пока ее спрашивали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю.

Появился свидетелем Иван Федорович.

## V

### ВНЕЗАПНАЯ КАТАСТРОФА

Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что, по внезапному нездоровью или какому-то припадку, свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слышал и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти не замечено: главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить ввиду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его, на меня по крайней мере, произвело болезненное впечатление: было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и простонал: ах! Я помню это. Но и это мало кто уловил.

Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, все показанное должно быть по совести, и т. д. и т. д. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него; но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся.

— Ну и что же еще? — громко спросил он.

Все затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился.

— Вы... может быть, еще не так здоровы? — проговорил он было, ища глазами судебного пристава.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, — ответил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович.

— Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение? — все еще с недоверчивостью продолжал председатель.

Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил, как бы заикаясь:

— Нет... не имею. Не имею ничего особенного.

Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, все более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговаривался незнанием. Про счета отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. «И не занимался этим», — произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого, про деньги в пакете слышал от Смердякова...

— Все одно и то же, — прервал вдруг с утомленным видом, — я ничего не могу сообщить суду особенного.

— Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства... — начал было председатель.

Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил:

— Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровым.

И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место.

— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка... знаете, как это: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу». За ней ходят с сарафаном али с поневой, что ли, чтоб она вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу...» Это в какой-то нашей народности...

— Что вы этим хотите сказать? — строго спросил председатель.

— А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — вот деньги... те самые, которые лежали вот в том пакете, — он кивнул на стол с вещественными доказательствами, — и из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте.

Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.

— Каким образом могли эти деньги очутиться у вас... если это те самые деньги? — в удивлении проговорил председатель.

— Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить... Кто не желает смерти отца?..

— Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя.

— То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти... р-рожи! — обернулся он вдруг на публику. —

Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые... Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиток, Христа ради! — схватил он вдруг себя за голову.

Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какою-то дикою искривленную улыбкой жадно смотрел и слушал брата.

— Успокойтесь, не помешанный, я только убийца! — начал опять Иван. — С убийцы нельзя же спрашивать красноречия... — прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся.

Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь наострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился:

— Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите... если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание... если вы только не бредите?

— То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показание... в пакете. Вам бы все пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей... Кроме только разве одного, — задумчиво усмехнулся он.

— Кто ваш свидетель?

— С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет! *Le diable n'existe point!*<sup>1</sup> Не обращайтесь внимания, дрянной, мелкий черт, — прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально, — он, наверно, здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами, где ж ему сидеть, как не там? Видите, слушайте меня: я ему сказал: не хочу молчать, а он про геологический переворот... глупости! Ну, освободите же изверга... он гимн запел, это потому, что ему легко! Все равно что пьяная каналья загорланит, как «поехал Ванька в Питер», а я за две секунды радости отдал бы квалдрильон квалдрильонов. Не знаете вы меня! О, как это все у вас глупо! Ну, берите же меня вместо него! Для чего же нибудь я пришел... Отчего, отчего это все, что ни есть, так глупо!

<sup>1</sup> Дьявола-то больше не существует! (фр.)

И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновалось. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку.

— Это что еще такое? — вскричал тот, взглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подросла, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомяну всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже всё успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу так досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был все время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он все говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно; что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показание. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этою сценой разразилась и другая: с Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтоб ее не уводили, и вдруг закричала председателю:

— Я должна сообщить еще одно показание, немедленно... немедленно!.. Вот бумага, письмо... возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого! — она указывала на Митю. — Это он убил отца, вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!

Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», которое Иван Федорович называл «математической» важности документом. Увы! за ним именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, может быть, и не погиб бы Митя, или, по крайней мере, не погиб бы так ужасно! Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь все это представляется в такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос: успокоилась ли она? — мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:



— Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать, — прибавила она, видимо все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее: какое это письмо и при каких обстоятельствах она его получила?

— Я получила его накануне самого преступления, а писал он его еще за день из трактира, стало быть, за два дня до своего преступления, — посмотрите, оно написано на каком-то счете! — прокричала она, задыхаясь. — Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этой тварью... и потому еще, что должен был мне эти три тысячи... О, ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости! Эти три тысячи вот как были — я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать: еще за три недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что, — вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увезти с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтоб отослать моей сестре в Москве, — и когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может когда хочет послать, «хоть еще через месяц». Ну как же, как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: «Тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!..» Я уличить его хотела, и что же? Он взял, он их взял, и унес, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь... Но он понял, он понял, что я все знаю, уверяю вас, что он тогда понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза и все понимал, все понимал, и взял, и взял, и унес мои деньги!

— Правда, Катя! — завопил вдруг Митя, — в глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня, и все-таки взял твои деньги! Презирайте подлеца, презирайте все, заслужил!

— Подсудимый, — вскричал председатель, — еще слово — я вас велю вывести.

— Эти деньги его мучили, — продолжала, судорожно торопясь, Катя, — он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверно зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил. А то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его

погубить! Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста, внимательнее, и вы увидите, что он в письме все описал, все заранее: как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста, не пропустите, там есть одна фраза: «Убью, только бы уехал Иван». Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет, — злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. — Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!

Так восклицала она вне себя и, уж конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: «Не прочесть ли это суду?» Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом: «Признает ли он это письмо?»

— Мое, мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но, клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!

Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том смысле: «что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне?»

— Да, да, я давеча солгала, все лгала, против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, — как безумная воскликнула Катя. — О, он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете — он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидела это... Я сейчас, тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его: «Все-таки ты сама тогда ко мне пришла». О, он не понял, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала, он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он думал, что и все такие, как он, — яростно проскрежетала Катя, совсем уже в исступлении. — А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство, потому, потому! Я всегда подозревала, что потому! О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать, — вот почему он на мне захотел жениться! Это так, это все так! Я пробовала победить его моею любовью, любовью без конца, даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может

что-нибудь понять! Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером, мне из трактира принесли, а еще утром, еще утром в тот день, я хотела было все простить ему, все, даже его измену!

Конечно, председатель и прокурор ее успокоивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самым стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать», и проч. и проч., — а показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайною ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы спасти «изверга и убийцу», своего брата.

— Он себя мучил, — восклицала она, — он все хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца и, может быть, сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он все мне открывал, все, он приходил ко мне и говорил со мной каждый день как с единственным другом своим. Я имею честь быть его единственным другом! — воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. — Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смердяков (потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков), то, может быть, виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца, и, может быть, думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат — отцеубийца! Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его видели так по улицам. Приезжий доктор, по моей просьбе, его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке, — все чрез него, все чрез изверга! А вчера он узнал, что Смердяков умер, — это его так поразило, что он сошел с ума... и все от изверга, все на том, чтобы спасти изверга!

О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни — в предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца; та же самая Катя, которая давеча, пред всею этою публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву,

рассказав про «благородный поступок Мити», чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого, и, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек! Она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию! И, однако, промелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения, — вот вопрос. Нет, нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон! Она сама верила в это, она была глубоко убеждена, с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерической и надорванной, из уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может, Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и все так долго и больно скоплавшееся в груди обиженной женщины разом, и опять-таки неожиданно, вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели.

— Митя! — завопила она, — погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала! — прокричала она, сотрясаясь от злобы, суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны: зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. «Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне признавался, что наяву видит видения, встречает на улице разных лиц, которые уже

померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил: продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания (Катерины Ивановны и Ивана Федоровича) занести в протокол.

Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но повторяю, все сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки, речей сторон и приговора. Фетюкович был, видимо, потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно восемь часов вечера, когда наш прокурор, Ипполит Кириллович, начал свою обвинительную речь.

## VI

### РЕЧЬ ПРОКУРОРА. ХАРАКТЕРИСТИКА

Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным, болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой *chef d'oeuvre*<sup>1</sup>, за *chef d'oeuvre* всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вложил все свое сердце и все сколько было у него ума и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и «проклятые» вопросы, по крайней мере, поскольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его слово, что было искренно: он искренно верил в виновность подсудимого; не на заказ, не по должности только обвинял его, и, взывая к «отмщению», действи-

<sup>1</sup> шедевр, образцовое произведение (*фр.*).

тельно сотрясался желанием «спасти общество». Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок.

«Господа присяжные заседатели, — начал обвинитель, — настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам-то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется. Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали, сколько-нибудь в полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: «пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди». Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляет на большой

дороге мать своего вождя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, что “она любит его как родного сына, и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей”. Пусть это изверг, но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же, как он, в душе своей бесчестен точно так же, как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть, спрашивает себя: “Да что такое честь и не предрассудок ли кровь?” Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевету чудовишно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда — то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: “Что будет там?”, без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все его знали, “он между нами жил”... Да, психологией русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы, и наши и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, с тем чтобы потом тотчас же забыть его в веселии и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: “Ах тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!” — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, гос-

пода, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но, на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо, если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь! А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас почище...»

Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображения русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике с угрозой «очистить залу» и лишь строго поглядел в сторону клакеров. Но Ипполит Кириллович был ободрен: никогда-то ему до сих пор не аплодировали! Человека столько лет не хотели слушать и вдруг возможность на всю Россию высказаться!

«В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества, — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, “как солнце в малой капле вод”, но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого “отца семейства”, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, не слабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — *après moi le déluge*<sup>1</sup>. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: “Гори хоть весь свет огнем, было бы

---

<sup>1</sup> после меня хоть потоп (фр.).



одному мне хорошо”. И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать — тридцать лет. Он обсчитывает родного сына, и на его же деньги, на наследство матери его, которые не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду, я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но довольно, довольно об этом несчастном старике, он получил свою мзду. Вспомним, однако, что это отец и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот, ибо лучше воспитаны, лучше образованы, а в сущности — почти такой же, как и он, философии. Но пусть я пессимист, пусть, мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства: один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди; про других скажу лишь вскользь. Из этих других, старший — есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его. Мы все его слышали, он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о нем несколько откровенно, конечно, не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера, самоубийством, на краю города, один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудержем: “Всё, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, — вот они чему меня всё учили”. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно, хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и падающая болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил. “Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так

это он, Иван Федорович!” На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын, — о, это еще юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к “народным началам” или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к “родной почве”, так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспять, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм — два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его».

За шовинизм и мистицизм опять раздалось было два-три клака. И, уж конечно, Ипполит Кириллович увлекся, да и все это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае, все это было только введением, затем речь пошла прямее и ближе к делу.

«Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед

нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность “европеизму” и “народным началам” братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную, — о, не всю, не всю, и боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россешка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера, и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, — именно обуреваемы, — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но, однако же, подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после, будем следить по порядку. Прежде всего пред нами бедный заброшенный мальчик, “на заднем дворе без сапожек”, как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождения иностранного! Еще раз повторю — никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер; за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и, конечно, — большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств-с, средств прежде всего, и вот, после долгих споров, порешено у него с отцом на последних шести тысячах рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается и этими шестью тысячами препирание с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали: тут честь, тут самопожертвова-

ние, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшею идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и обратная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать — почему так последовало. Но, однако, были же причины — почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же, он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но все же возвышенный, все же великодушный. У него же, у жениха этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей (изменил в убеждении, что она уже все должна впредь сносить от него, даже измену его), зная это, она нарочно предлагает ему три тысячи рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же. “Что ж, примешь или нет, будешь ли столь циничен”, — говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он смотрит на нее, понимает ее мысли совершенно (он ведь сам сознался здесь при вас, что он все понимал) и безусловно присваивает себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня с своею новою возлюбленною! Чему же верить? Первой ли легенде — порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью, или обратной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посредине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы природы широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракиным: “Ощущение низости падения так же необходимо этим разнужданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства”, — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент, — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка-Россия, мы всё вместим и со всем уживемся!

Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, чрез такой стыд, чрез такой позор, чрез последней степени унижение, — вообразите только, что он в тот же день возмог будто бы отделить из них половину, зашить в ладонку и целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды! Ни в пьяном кутеже по трактирам, ни тогда, когда ему пришлось лететь из города доставать бог знает у кого деньги, необходимейшие ему, чтоб увезти свою возлюбленную от соблазнов соперника, отца своего, — он не осмеливается притронуться к этой ладонке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревновал, он должен бы был распечатать свою ладонку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему наконец: “Я твоя”, чтоб лететь с нею куда-нибудь подальше, из теперешней роковой обстановки. Но нет, он не касается своего талисмана, и под каким же предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут: “Я твоя, вези меня, куда хочешь”, — то было бы на что увезти. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь, дескать, я ношу на себе эти деньги — “я подлец, но не вор”, ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив пред нею эту половину всей обманно присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать: “Видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсудимого), но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее, как и первую половину”. Удивительное объяснение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при таком позоре, — этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость и носит на своей шее тысячи рублей, не смея до них дотронуться! Сообразно ли это хоть сколько-нибудь с разбираемым нами характером? Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же соблазне, — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, — он бы расшил свою ладонку и отделил от нее, ну, положим, на первый случай хоть только сто руб-

лей, ибо к чему-де непременно относить половину, то есть полторы тысячи, довольно и тысячи четырехсот рублей — ведь все то же выйдет: “подлец, дескать, а не вор, потому что все же хоть тысячу четыреста рублей да принес назад, а вор бы все взял и ничего не принес”. Затем еще через несколько времени опять расшил бы ладонку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее как к концу месяца вынул бы наконец предпоследнюю сотню: дескать, и одну сотню принесу назад, все то же ведь выйдет: “подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а все же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил”. И наконец, уже прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе: “А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню, — давай и ту прокучу!” Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем! Легенда же об ладонке — это такое противоречие с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить все, а не это. Но мы к этому еще вернемся».

Обозначив в порядке все, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном, и еще, и еще раз выведя заключение, что по известным данным нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих трех тысяч рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.

## VII

### ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ

«Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже: был бы не в своем, то оказался бы, может быть, гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только пункте — в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрения, чтоб объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем склонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело: не в трех

тысячах, не в сумме собственно заключался предмет постоянного и иступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев. Причина эта — ревность!»

Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к «молодой особе», чтоб «избить ее», выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович, «но вместо того, чтоб избить, остался у ног ее — вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимого, — совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали же и встречали эту особу, — и зажглись эти оба сердца самую безудержною, самую карамазовскою страстью. Тут мы имеем ее собственное признание: “Я, — говорит она, — смеялась над тем и другим”. Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим; прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение, — и кончилось тем, что оба пали перед ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам, как Богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и все свое состояние, лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была “игра” молодой особы. Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая надежда была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своею мучительницей на коленях, простира к ней уже обогранные кровью своего отца и соперника руки: в этом именно положении он и был арестован. “Меня, меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всех виновата!” — восклицала эта женщина сама, уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, — все тот же господин Ракитин, о котором я уже упоминал, — в нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини: “Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольстителя-жениха, ее бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного богатого старика, которого она, впрочем, сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ранней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капи-

тал. Образовалась насмешливость и мстительность обществу”. После этой характеристики понятно, что она могла смеяться над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его чести, — подсудимый, кроме того, доходит почти до иступления, до бешенства от непрерывной ревности, и к кому же, к своему отцу! И главное, безумный старик сманивает и прельщает предмет его страсти — этими же самыми тремя тысячами, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело перенести! Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его!»

Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства, и проследил ее по фактам.

«Сначала мы только кричим по трактирам — весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все, даже самые inferнальные и опасные наши идеи, мы любим делиться с людьми и, неизвестно почему, тут же, сейчас же и требуем, чтоб эти люди тотчас же отвечали нам полнейшею симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир. (Следовал анекдот о штабс-капитане Снегиреве.) Видевшие и слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не одни крики и угрозы отцу, но что при таком иступлении угрозы, пожалуй, перейдут и в дело. (Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда.) Не думаю настойчиво утверждать, — продолжал Ипполит Кириллович, — что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее идея эта уже несколько раз предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее — на это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, — присовокупил Ипполит Кириллович, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я колебался лишь до се-



годня, до этого рокового документа, представленного сегодня суду госпожою Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ее восклицание: “Это план, это программа убийства!” — вот как определяла она несчастное “пьяное” письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим все значение программы и преднамерения. Оно написано за двое суток до преступления, и, таким образом, нам твердо теперь известно, что за двое суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый с клятвою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца, с тем чтобы взять у него деньги из-под подушки “в пакете с красною ленточкой, только бы уехал Иван”. Слышите: “только бы уехал Иван”, — тут, стало быть, уже все обдуманно, обстоятельства взвешены, — и что же: все потом и исполнено как по писаному! Преднамеренность и обдуманность несомненны, преступление должно было совершиться с целью грабежа, это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут: это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важнее: в пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй: к чему же он кричал о своем намерении по трактирам? Кто на такое дело решается *преднамеренно*, тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире “Столичный город”, он, против обыкновения, был молчалив, не играл на бильярде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика, но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать, факт огласки был совершен, его не воротить, и, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа! Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтоб обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтоб избежать кровавого исхода. “Буду завтра просить три тысячи у всех людей, — как пишет он своим своеобразным языком, — а не дадут люди, то прольется кровь”. Опять-таки в пьяном виде написано и опять-таки в трезвом виде как по писаному исполнено!»

Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию

всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путешествие к Лягавому — всё по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея, однако, на себе полторы тысячи рублей — и будто, о будто!), мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается наконец в город. Слава богу! Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы, и это весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) Затем стремится на наблюдательный пост “на задах” и там — и там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен — поле чисто, а “знаки” в руках его — какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется; он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатапия по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски: “Там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений”». Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: «успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, с “прежним” и “беспорным”, — ничего бы и не было. Но она опешила от страха, залялась-забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что сломя голову пустился за своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, зачем не другое какое оружие? Но если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней готовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, — это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие! А потому все же не бессознательно, все же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду — поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях, и, может быть, смеется над ним в эту минуту, — захватывает

ему дух. Да и не подозрение только, — какие уж теперь подозрения, обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами, — и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонаравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного, — и нас в этом хотя бы уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти!» Здесь по поводу «знаков» Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыслию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что, несмотря на все выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.

## VIII

### ТРАКТАТ О СМЕРДЯКОВЕ

«Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? — начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. — Первый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения, — и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и “по выражению его лица” — да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее: “Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не та-

ков человек, чтобы солгал”. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится, — можно этому поверить, можно это представить?»

Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, «прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоисступления и помешательства». Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически — бесшабашную жизнь покойного его барина, а может быть, и отца, Федора Павловича, а теоретически — разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение, — вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, — пояснил Ипполит Кириллович, — но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучею болезнью, Смердяков был “труслив как курица”. “Он падал мне в ноги и целовал мои ноги, — сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для себя невыгоды в таком сообщении, — это курица в падучей болезни”, — выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, — да и как бы он мог не сообщить! “Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с”, — говорил он на следствии, трясаясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. “Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с и живого на покаяние отпустили-с”. Вот собственные слова его, я их записал и запомнил: “Как закричит, бывало, на меня, я так на коленки перед ними и паду”. Будучи высокочестным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверен-

ность своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда склонны к непрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей “виновности” в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страха и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все опасения свои в виде ясного и категорического. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в “пьяном” письме Дмитрия Карамазова: “Убью старика, если только уедет Иван”, стало быть, присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый epileptик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей незащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: “Будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет?” И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания, на дно погреба. И вот в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он нарочно притворился больным! Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого

расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про медицину; наука, дескать, лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства, — пусть, пусть, но ответьте же мне, однако, на вопрос: для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебивало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьева, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человека: подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот, стало быть, откуда произошло это “хитрое” и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд.

Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только фактам и посмотрим, что скажут нам факты. Убил Смердяков, но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай, то есть что Смердяков убивает один. Конечно, если убил, то для чего же нибудь, из какой-нибудь выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и проч. и проч., Смердяков, без сомнения, мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу, — и к тому же в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно подсудимому, — все обстоятельства о деньгах и знаках: где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное, главное, сообщает про эти “знаки”, которыми к барину можно пройти. Что ж, он прямо, чтобы выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам пожелает войти и приобрести пакет? Да, скажут мне, но ведь он сообщил от страха. Но как же это? Человек, не смигнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить

его, — сообщает такие известия, которые знает только он в целом мире и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому, по крайней мере, про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал. Напротив, повторяю это, если б он промолчал хоть только о деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его, по крайней мере, в убийстве для грабежа, ибо денег этих ведь никто, кроме него, не видал, никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих за ним никто предварительно не приметил, а все видели, напротив, что он барином любим, почтен бариновою доверенностью, то, конечно, бы его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына убитого, Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили, — ведь Смердякову-убийце, уж конечно, было бы это выгодно? Ну, так вот этому-то сыну Дмитрию Смердякову, замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки, — как это логично, как это ясно!

Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, *притворившись*, в припадке падучей болезни, для чего? Уж конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых, конечно, для того, чтобы сам барин, видя, что его никто не караулит и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и свою осторожность. Наконец, и главное, конечно, для того, чтоб его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он, вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю ночь (как и

было, по показанию Григория и жены его), — и все это, все это для того, чтоб тем удобнее вдруг встать и потом убить барина!

Но скажут мне, может быть, он именно притворился, чтобы на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблазнился и сам пришел, и убил, и когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги и при этом, пожалуй, на шумит, нагремит, разбудит свидетелей, то тогда, видите ли, встанет и Смердяков, и пойдет, — ну, что же делать пойдет? А вот именно пойдет в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь? Мне самому стыдно делать такие предположения, а между тем, представьте себе это, именно ведь подсудимый это самое и утверждает: после меня, дескать, когда я уж вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчитать это все заранее и все предузнать как по пальцам, то есть что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопрос: где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять.

“А может быть, падучая была настоящая. Больной вдруг очнулся, услышал крик, вышел”, — ну и что же? Посмотрел, да и сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, что тут было, что тут происходило, ведь он до сих пор лежал в беспамятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям.

“Так-с, — скажут тонкие люди, — а ну как оба были в согласии, а ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда как же?”

Да, действительно, подозрение важное, и во-первых — тотчас же колоссальные улики, его подтверждающие: один убивает и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, притворившись в падучей, — именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрение, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но, может быть, это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое: может быть, запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, — заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в падучей, “а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю”. Но если и так, то



так как и опять-таки эта падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю, пусть он согласился; так ведь все-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов — убийца, прямой убийца и зачинщик, а Смердяков лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли, ведь суд-то это бы уже непременно мог различить, и вот, что же мы видим? Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает все на одного Смердякова и его *одного* обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного: один, дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело! Ну что это за сообщники, которые тотчас же начинают говорить один на другого, — да этого никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова: он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на лежащего. Так ведь тот, лежащий-то, мог рассердиться и из-за одного только самосохранения поскорее объявить правду истинную: оба, дескать, участвовали, только я не убивал, а лишь дозволил и попустил, от страха. Ведь он же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил степень его виновности, а стало быть, мог и рассчитать, что если его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того, главного убийцу, желающего все свалить на него. Но тогда, стало быть, уж поневоле сделал бы признание. Этого мы, однако же, не видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря на то что убийца твердо обвинял его и все время указывал на него как на убийцу единственного. Мало того: Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому *он сам* и что без него тот и не узнал бы ничего. Если бы он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это он все сам сообщил подсудимому? Напротив, стал бы запираться и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он, в припадке болезненной меланхолии от своей падучей и от всей этой разразившейся катастрофы, вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом: “Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить”. Ну что б ему прибавить в записке: убийца я, а не Карамазов. Но этого он не прибавил: на одно совести хватило, а на другое нет?

И что же: давеча сюда, в суд, приносят деньги, три тысячи рублей, — “те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете, что на столе с вещественными доказательствами, получил,

дескать, вчера от Смердякова”. Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь два-три соображения, выбирая из самых незначительнейших, — именно потому, что они незначительны, а стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки: от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился. (Ибо без угрызений совести он бы денег не отдал.) И, уж конечно, только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? Итак, он признался, почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объявил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и еще двум лицам в этой зале совершенно случайно стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, всего, стало быть, на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил все до утра? Полагаю, что имею право догадываться почему: уже неделю, как расстроенный в своем здоровье, сам признававшийся доктору и близким своим, что видит видения, что встречает уже умерших людей; накануне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его, он, внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение: “Человек мертв, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что Смердяков пред смертью мне отдал”. Вы скажете, это нечестно, хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения брата? Так, ну а что, если он солгал бессознательно, если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно пораженный в рассудке своим известием об этой внезапной смерти лакея? Вы ведь видели давешнюю сцену, видели, в каком положении был этот человек. Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За давешним показанием горячешного последовал документ, письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за два дня до совершения преступления, с подробною программой преступления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее составителей? Точь-в-точь по этой программе и совершилось, и совершилось не

кем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, “совершилось как по писаному!” И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отца окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и — покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника, но, убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооруженной медным пестом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что ее тут нет, он, однако же, не забыл засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами, разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему прехарактерное. Будь это опытный убийца и именно убийца с целью одного грабежа, — ну, оставил ли бы он обложку конверта на полу, в том виде, как нашли ее подле трупа? Ну будь это, например, Смердяков, убивающий для грабежа, — да он бы просто унес весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей; так как знал наверно, что в пакете есть деньги, — ведь при нем же их вкладывали и запечатывали, — а ведь унеси он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление? Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков, оставил ли бы он конверт на полу? Нет, именно так должен был поступить убийца иступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший, — ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтобы удостовериться, есть ли деньги, затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее на себя обвинение в виде разорванной обложки. Все потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему! Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слуга хватается его, останавливает и падает, пораженный медным пестом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Ну такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтоб убедиться: жив ли единственный свидетель его злодеяния? Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны! Заметьте, он над Гри-

горием трудится, обтирает ему платком голову и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной, — как же не подумал он, что он весь в крови и что его тотчас изобличат? Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови; это допустить можно, это очень возможно, это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно — адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в ту минуту лишь о том, где она. Ему надо было поскорее узнать, где она, и вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное и колоссальнейшее для себя известие: она уехала в Мокрое со своим “прежним”, “беспорным”!»

## IX

### ПСИХОЛОГИЯ НА ВСЕХ ПАРАХ. СКАЧУЩАЯ ТРОЙКА.

#### ФИНАЛ РЕЧИ ПРОКУРОРА

Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение, — Ипполит Кириллович особенно распространился о «прежнем» и «беспорном» и высказал на эту тему несколько в своем роде занимательных мыслей. «Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед “прежним” и “беспорным”. И тем более это странно, что прежде он совсем почти и не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он все представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов всегда живет лишь настоящею минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее все, все ее упование в жизни, — мигом поняв это, он смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не способен был проявить ее, высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав ее сердца, и когда же — в тот момент, когда из-за нее же он обагрил свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала в эту

минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение: “Что значит он и что может он значить *теперь* для нее, для этого любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим «прежним» и «беспорным», покающимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей *теперь*, что ей предложит?” Карамазов все это понял, понял, что преступление его заперло ему все дороги и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить! Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном иступленном плане, который, при характере Карамазова, не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход — самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой, на бегу, выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки свои отцовскою кровью. О, деньги теперь ему нужнее всего: умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить! Недаром же мы поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. “К ней, к ней, — и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подыдем заздравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем — тут же, у ног ее, разможим перед нею наш череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю!” Много картинности, романического иступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности, — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это *что-то* — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет все помирит, пистолет — единственный выход и нет другого, а там — я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов “*что будет там*”, и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, все подтвержденных свидетельствами, — и картина страшно повлияла на убеждение слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Виновность этого иступ-

ленно мятущегося и уже не берегущего себя человека выставилась неотразимо. «Нечего уже было беречь себя, — говорил Ипполит Кириллович, — два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только разве недоговаривал (здесь следовали показания свидетелей). Даже ямщику в дороге крикнул: “Знаешь ли, что ты убийцу везешь!” Но договорить все-таки ему нельзя было: надо было попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что “беспорный” соперник его вовсе, может быть, уж не так беспорен и что поздравлений с новым счастьем и заздравного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым и тут — о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, и даже самый страшный фазис из всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа! Положительно можно признать, господа присяжные, — воскликнул Ипполит Кириллович, — что поруганная природа и преступное сердце — сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия! Мало того: правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы, даже необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего “прежнего” и “беспорного”, что его, его, “Митю”, зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье, и это когда же? Когда уже все для него покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого: эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему, почему он не застрелился тогда же, почему оставил принятое намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же утолить и удержали его. В чаду пира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более, чем когда-либо, — он не отходит от нее, любит ее, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести! На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в беспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно: во-первых, пьяное

состояние, чад и гам, топот пляски, визг песен, и она, она, раскрасневшаяся от вина, поющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему! Во-вторых, ободряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере не близко, — разве на другой только день, лишь наутро, придут и возьмут его. Стало быть, несколько часов, это много, ужасно много! В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на виселицу: еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу и в конце только этой другой улицы страшная площадь! Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница все подвигается, — о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко, и вот он все еще бодро смотрит направо и налево и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему все еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в другую улицу — о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни уходило домов, он все будет думать: “Еще осталось много домов”. И так до самого конца, до самой площади. Так, представляю себе, было тогда и с Карамазовым. “Еще там не успели, — думает он, — еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будет время сочинить план защиты, сообразить отпор, а теперь, теперь — теперь она так прелестна!” Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать — иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в Мокром уже не раз, он там уже кутил двое суток. Этот старый, большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей — для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться сейчас, конечно, мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к *ней-то* тянет, ну а деньги? — деньги во всяком положении необходимы! Человек с деньгами — везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественною? Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один тоже самый тревожный и роковой для него момент, он отделил от трех тысяч половину и зашил себе в ладонку, и если, конечно, это неправда, что и дока-

жем сейчас, то все же эта идея Карамазову знакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку (которой никогда не бывало), то, может быть, и выдумал эту ладонку, тут же мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в Мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе, по внезапно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле нее, перед ней на коленях, она лежала на кровати, он простира к ней руки и до того забыл все в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа. И он и ум его были взяты врасплох.

И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека! Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что все пропало, но все еще борется, все еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом, и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унижительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения — ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе! И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих: “Кровь! Заслужил!” Но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить — все это пока еще у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицание: “В смерти отца невиновен!” Вот пока наш забор, а там, за забором, мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые восклицания свои он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. “В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа, кто убил? Кто же мог убить его, *если не я?*” Слышите это: спрашивает он нас же, нас же, пришедших к нему самому с этим самым во-



просом! Слышите вы это забегающее вперед словечко: “если не я”, эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпеливость? Не я убил, и думать не могли, что я. “Хотел убить, господа, хотел убить, — признается он поскорее (спешит, о, спешит ужасно!), — но все же неповинен, не я убил!” Он уступает нам, что хотел убить: видите, дескать, сами, как я искренен, ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда невероятно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос: “Да не Смердяков ли убил?” Так и случилось, чего мы ожидали: он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость: он вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова, напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставить, как не его, но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, присквав момент, в который сам же крикнет нам: “Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился: это он убил, и как же не он!” А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет: всех трех тысяч не разыскали, разысканы только полторы. И уж конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея об ладонке. Без сомнения, он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтоб уж вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело, самая главная задача следствия — не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, неправдоподобности и противоречии. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально, но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот

факт был у нас наготове, о, уже давно наготове: это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл, а что Григорий мог ее видеть, и не предполагал. Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам: “Это Смердяков убил, Смердяков!” — и вот выдал свою заветную, свою основную мысль в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из своей спальни, слышал стонущего за перегородкой Смердякова, — Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это-то мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладонке: так и быть, дескать, услышьте эту повесть! Господа присяжные, я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари: что можно сказать и представить неправдоподобнее, — то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут, главное, можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того, их ум создает лишь грандиозное целое, — и вот смеют им предлагать этакую мелочь! Но на этом-то их и ловят! Задают подсудимому вопрос: “Ну а где вы изволили взять материал для вашей ладонки, кто вам сшил ее?” — “Сам зашил”. — “А полотно где изволили взять?” Подсудимый уже обижается, он считает это почти обидною для себя мелочью, и, верите ли, искренно, искренно! Но таковы все они. “Я от рубашки моей оторвал”. — “Прекрасно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее клочком”. И сообразите, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку (а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала), — то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний! Но этого он не может сообразить. “Я не помню, может, не от рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил”. — “В какой такой чепчик?” — “Я у ней взял, у нее валялся, старая коленкоровая дрянь”. — “И вы это твердо

помните?» — «Нет, твердо не помню...» И сердится, сердится, а между тем представьте: как бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, ну на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте — вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних, он должен был помнить, как унижительно страдал он от страху с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли; как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку (в его квартире есть перегородка)... Но, господа присяжные, для чего я вам это все сообщаю, все эти подробности, мелочи! — воскликнул вдруг Ипполит Кириллович. — А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты! Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил; все это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся, — но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладонку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем». Ипполит Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он вопиал за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном «с низкой целью ограбления». Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого (не удержался Ипполит Кириллович), какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, все же вспомните, что в эту минуту вы в святылище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого! Да, вы здесь представляете Россию в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас, как защитников и судей своих, и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стремглав и, может, к гибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку.

И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!..»

Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлекся, но кончил-таки патетически — и действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьезные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но все же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича: «Наконец-то он заговорит и, уж конечно, всех победит!» Все поглядывали на Митю; всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только подымал голову и прислушивался. Особенно, когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: «Бернары!» Когда же Ипполит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про подвиги прокурора в Мокром, при допросе преступника, потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилловичем подсмеивались: «Не утерпел, дескать, человек, чтобы не похвастаться своими способностями». Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на двадцать минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил.

— Серьезная речь! — нахмуренно заметил господин в одной группе.

— Психологии наворотел уж много, — раздался другой голос.

— Да ведь все правда, неотразимая истина!

— Да, это он мастер.

— Итог подвел.

— И нам, и нам тоже итог подвел, — присоединился третий голос, — в начале-то речи, помните, что все такие же, как Федор Павлович?

— И в конце тоже. Только он это соврал.

— Да и неясности были.

— Увлекся маленько.

— Несправедливо, несправедливо-с.

— Ну нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал, хе-хе!

— Что-то защитник скажет?

В другой группе:

— А петербургского-то он напрасно сейчас задел: «биющих-то на чувствительность» помните?

— Да, это он неловко.

— Поспешил.

— Нервный человек-с.

— Вот мы смеемся, а каково подсудимому?

— Да-с, Митеньке-то каково?

— А вот что-то защитник скажет?

В третьей группе:

— Это какая такая дама, с лорнетом, толстая, с краю сидит?

— Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.

— То-то, с лорнетом.

— Фушера.

— Ну нет, пикантненькая.

— Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше.

— А ловко они его тогда в Мокром накрыли, а?

— Ловко-то ловко. Опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал.

— И теперь не утерпел. Самолюбие.

— Обиженный человек, хе-хе!

— И обидчивый. Да и риторики много, фразы длинные.

— Да и пугает, заметьте, все пугает. Про тройку-то помните?

«Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!» Это он ловко.

— Это он либерализму подкуривал. Боится!

— Да и адвоката боится.

— Да, что-то скажет господин Фетюкович?

— Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет.

— Вы думаете?

В четвертой группе:

— А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.

— И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать.

— А что?

— Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.

— Далеко куликам.

— Каким куликам? Почему далеко?

— А мы запрем Кронштадт, да и не дадим им хлеба. Где они возьмут?

— А в Америке? Теперь в Америке.

— Врешь.

Но зазвонил колокольчик, все бросилось на места. Фетюкович взошел на кафедру.

## Х

### РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Все затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто слышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинно патетического — и «ударить по сердцам с неведомою силой». Говорил он, может быть, неправильнее Ипполита Кирилловича, но без длинных фраз и даже точнее. Одно не понравилось было дамам: он все как-то изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, а как бы стремясь и летя к своим слушателям, причем нагибался именно как бы половиной своей длинной спины, как будто в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты на разбив, а в конце концов вышло целое. Речь его можно было бы разделить на две половины: первая половина — это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон и даже прием свой и разом возвысился до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что хотя поприще его

и в Петербурге, но он уже не в первый раз посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в невинности которых он или убежден, или предчувствует ее заранее. «То же самое произошло со мной и в настоящем случае, — объяснил он. — Даже только из одних первоначальных газетных корреспонденций мне уже мелькнуло нечто, чрезвычайно меня поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня прежде всего заинтересовал некоторый юридический факт, хотя и часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне кажется, в такой полноте и с такими характерными особенностями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формулировать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но, однако, я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею слабость приступить прямо к предмету, не припрятывая эффектов и не экономизируя впечатлений. Это, может быть, с моей стороны нерасчетливо, но зато искренно. Эта мысль моя, формула моя — следующая: подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе! Следя далее по слухам и по газетам, я утверждался в моей мысли все более и более, и вдруг я получил от родных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же поспешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот чтобы разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело».

Так начал защитник и вдруг возгласил:

«Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный, не обидел меня предварительно, как сотню, может быть, лиц в этом городе, отчего многие и предупреждены против него заранее. Конечно, и я сознаюсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено справедливо: подсудимый буен и необуздан. В здешнем обществе его, однако же, принимали, даже в семействе высокоталантливого обвинителя он был обласкан. (*Nota bene.* При этих словах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подавленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что прокурор допускал к себе Митю против воли, потому единственно, что его почему-то находила любопытным прокурорша — дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но фантастическая и своенравная и любившая в некоторых случаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко.)

Тем не менее я осмелюсь допустить, — продолжал защитник, — что даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как у моего оппонента, могло составиться против моего несчастного клиента некоторое ошибочное предубеждение. О, это так натурально: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с предубеждением. Оскорбленное же нравственное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда бывает несумолимо. Конечно, в высокоталантливой обвинительной речи мы услышали все строгий анализ характера и поступков подсудимого, строгое критическое отношение к делу, а главное, выставлены были такие психологические глубины для объяснения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и злостно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, например, обуряет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми Бог оделил наши способности. Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога, давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. Но вот, однако же, пример — беру первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый, ночью, в саду, убегая, перелезает через забор и повергает медным пестом вцепившегося в его ногу лакея. Затем тотчас же соскакивает обратно в сад и целых пять минут хлопочет над поверженным, стараясь угадать: убил он его или нет? И вот обвинитель ни за что не хочет поверить в справедливость показания подсудимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. “Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую минуту; это-де неестественно, а соскочил он именно для того, чтоб убедиться: жив или убит единственный свидетель его злодеяния, а стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совершил это злодеяние, так как не мог соскочить в сад по какому-нибудь другому поводу, влечению или чувству”. Вот психология; но возьмем ту же самую психологию и приложим ее к делу, но только с другого конца, и выйдет совсем не менее правдоподоб-



но. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтобы убедить-ся, жив или нет свидетель, а между тем только что оставил в кабинете убитого им отца своего, по свидетельству самого же обвинителя, колоссальную на себя улику в виде разорванного пакета, на котором было написано, что в нем лежали три тысячи. "Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым". Это изречение самого обвинителя. Ну так на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику, а как вот минуты две спустя ударил и убил другого человека, то тут сейчас же является самое бессердечное и расчетливое чувство предосторожности к нашим услугам. Но пусть, пусть это так и было: в том-то де и тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот. Но если уж я так кровожаден и жестоко расчетлив, что, убив, соскочил лишь для того, чтобы посмотреть, жив ли на меня свидетель или нет, то к чему бы, кажется, возиться над этою новою жертвою моею целых пять минут, да еще нажить, пожалуй, новых свидетелей? К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного, с тем чтобы платок этот послужил потом против меня же уликой? Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы было, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно и, искоренив свидетеля, снять с сердца всякую заботу? И наконец, я соскакиваю, чтобы проверить, жив или нет на меня свидетель, и тут же на дорожке оставляю другого свидетеля, именно этот самый пестик, который я захватил у двух женщин и которые обе всегда могут признать потом этот пестик за свой и засвидетельствовать, что это я у них его захватил. И не то что забыл его на дорожке, обронил в рассеянности, в потерянности: нет, мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его шагах в пятнадцати от того места, где был повержен Григорий. Спрашивается, для чего же мы так сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько стало, что мы человека убили, старого слугу, а потому в досаде, с проклятием и отбросили пестик, как оружие убийства, иначе быть не могло, для чего же его было бросать с такого размаху? Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека убили, то, конечно, уж потому, что отца не убили: убив отца, не соскочили бы к другому поверженному из жалости, тогда уже было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до самоспасения, и это, конечно, так. Напротив, повторяю, размоз-

жили бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять минут. Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывести все что угодно. Все дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею».

Здесь опять послышались одобрительные смешки в публике, и всё по адресу прокурора. Не буду приводить всей речи защитника в подробности, возьму только некоторые из нее места, некоторые главнейшие пункты.

## XI

### ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. ГРАБЕЖА НЕ БЫЛО

Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых трех тысяч рублей, а стало быть, и возможности их грабежа.

«Господа присяжные заседатели, — приступил защитник, — в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно: обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то: что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи, — а существовали ли они в самом деле — этого никто не знает. Рассудите: во-первых, как мы узнали, что были три тысячи, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью, один только слуга Смердяков. Он же сообщил о сем сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Федоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой. Но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали, видел опять-таки лишь Смердяков, но тут сам собою вопрос: если и правда, что они были и что видел их Смердяков, то когда он их видел в последний раз? А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком; подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка, и, однако же, постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежайшего, тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было постлано? Но скажут нам: а пакет-то на полу?

Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давеча я был даже несколько удивлен: высокоталантливый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам — слышите, господа, сам, — заявил про него в своей речи, именно в том месте, где он указывает на нелепость предположения, что убил Смердяков: “Не было бы этого пакета, не останься он на полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым”. Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению подсудимого в грабеже, “иначе-де не узнал бы никто, что был грабеж, а может быть, что были и деньги”. Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги и что деньги эти ограблены? “Но, — отвечают, — ведь видел их в пакете Смердяков”, но когда, когда он их видел в последний раз, вот об чем я спрашиваю? Я говорил с Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастрофой! Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной, вдруг вздумал бы, от нечего делать, вынуть пакет и его распечатать: “Что, дескать, пакет, еще, пожалуй, и не поверит, а как тридцать-то радужных в одной пачке ей покажу, небось сильнее подействует, потекут слюнки”, — и вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина, и, уж конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается: не было денег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предварительно самим хозяином? “Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович, в его доме при обыске не нашли?” Во-первых, в шкатулке у него часть денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить, наконец, свою мысль, свой план действий в самом основании и при этом совсем даже не найдя нужным докладывать об этом предварительно Смердякову? А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположе-

ния, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы, таким образом, вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или, по крайней мере, доказать непреложно, что она существовала. А ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет, мелкий разносчик с лотка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он был арестован, на нем, кроме пятнадцати рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно, и вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему последовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа присяжные, я называю уликой! Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти, о судьбе человека. “Так, — скажут, — но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей — откуда же он взял их?” Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить, именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил, а затем все время был на людях, а стало быть, не мог отделить от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиною предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? Ну не фантастическое ли, не романическое ли это предположение. И заметьте, ведь уничтожись только одно это предположение, то есть что спрятано в Мокром, — и все обвинение в грабеже взлетает на воздух, ибо где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что

подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую! Скажут: “Все-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, которые на нем обнаружены, кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег”. А кто же это знал? Но подсудимый дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги, и если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, — никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания и, кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман: человек с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладонку, напротив, если б и зашил, то расшивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким образом извел бы всё в один месяц. Вспомните, все это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо! Возразят, пожалуй: “Есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти три тысячи, взятые у госпожи Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как одну копейку, стало быть, не мог отделить от них половину”. Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет.

За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте три тысячи рублей госпожою Верховцевой, но вопрос: справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так; во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель “не хочет, не смеет” (его слова) дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я,

позволяет себе вдруг, разом, на суде, изменить первое свое показание, с прямою целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно, но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда может отплатить вверенные ему госпожою Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладонку: “Не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств”. Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона, любовь, — именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною. Скажет она ему: “Твоя, не хочу Федора Павловича”, и он схватит ее и увезет, — так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да он именно этим и болен был, этою заботой, — что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович трех тысяч подсудимому не выдает, напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. “Если не отдаст Федор Павлович, — думает он, — то ведь я перед Катериной Ивановной выйду вором”. И вот у него рождается мысль, что эти же полторы тысячи, которые он продолжает носить на себе в этой ладонке, он придет, положит пред госпожою Верховцевой и скажет ей: “Я подлец, но не вор”. И вот, стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи как зеницу ока, отнюдь не расшивять ладонку и не отколупывать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет, чувство чести в нем есть, положим, неправильное, положим, весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до страсти, и он доказал это. Но вот, однако же,

дело усложняется, мучения ревности достигают высшей степени, и всё те же, всё прежние два вопроса обрисовываются всё мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу подсудимого: “Отдам Катерине Ивановне: на какие же средства увезу я Грушеньку?” Если он безумствовал так, и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно, может быть, потому, что самому было горько, невмочь переносить. Эти два вопроса до того наконец обострились, что довели его наконец до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти три тысячи в последний раз, но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого, избитый отец не даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецом, но что все-таки он останется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется средством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему, почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, данному так чисто, так искренно, неподготовленно и правдоподобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в какой-то расщелине, в подвалах Удольфского замка? В тот же вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роковое письмо, и вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличение подсудимого в грабеже! “Буду просить у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под тюфяком, в пакете с розовою ленточкой, только бы уехал Иван” — полная-де программа убийства, как же не он? “Совершилось по написанному!” — восклицает обвинение. Но, во-первых, письмо пьяное и написано в страшном раздражении; во-вторых, опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал, а в-третьих, написано-то оно написано, но совершилось ли по написанному, это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой, нашел ли деньги, существовали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал, припомните, припомните! Он побежал сломя голову не грабить, а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая, — не по программе, стало быть, не по написанному, он побежал то есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве! “Да, — скажут, — но все-таки, прибежав и убив, захватил и деньги“. Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием: нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено, это аксиома! Но убил ли еще он, без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?»

## XII

## ДА И УБИЙСТВА НЕ БЫЛО

«Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового “пьяного” письма, представленного сегодня суду. “Совершилось как по писаному!” Но опять-таки повторяю: он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она? Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о “пьяном” письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. “Захватил, дескать, пестик” — и помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию: почему-де он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие и проч. и проч. Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль: ну что, если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? — ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о пестике как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, “потому-де, что Карамазов не мог не поссориться”. А я отвечаю на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному, то уж наверно бы не поссорился и с приказчиком, да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слышали: “Забудьте-де обо мне, если можете”, и это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети али пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: “Я убью тебя”, но ведь не убивают же. Да и самое это роковое письмо, — ну не пьяное ли оно раздражение тоже, не крик ли из кабака выходящего: «Убью, дескать, всех вас убью!» Почему не так, почему не могло быть так? Почему это письмо роковое, почему, напротив, оно не смешное? А вот



именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им, стало быть, и совершилось все по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава богу, мы дошли до точки: “коли был в саду, значит, он и убил”. Этими двумя словечками: коли *был*, так уж непременно и *значит*, все исчерпывается, все обвинение — “был, так и значит”. А если не *значит*, хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью: почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отца окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и “благочестивых” чувств, вдруг обувших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств? “Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту”, — показывает на следствии подсудимый, и вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. “Но он не мог увериться чрез окно”, — возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырваться какой-нибудь такой крик — и подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. “Да, но Григорий видел дверь отворенною, а стало быть, подсудимый был в доме наверно, а стало быть, и убил”. Об этой двери, господа присяжные... Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть, пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении, пусть, пусть он проник в дом, был в доме, — ну и что же, почему же непременно коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца, но, удостоверившись, что Светловой нет у него, убежал, радуясь, что ее нет и что убежал, отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что

не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И, однако же, обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии: “Пьяное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго ждать и проч. и проч.”. Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет! Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье, — о, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца! О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты! Я знаю подсудимого: дикая, деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, несовместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно; он не убил себя именно потому, что “мать замолила о нем”, и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова: он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика?

Повторяю, тут вся логика обвинения: кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрямь ли, действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебивавших в ту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я согласен, вполне невиняемы: это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков, и вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратно? Стоят двое: подсудимый и Смердяков — почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего

клиента единственно потому, что вам некого обвинить? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова, и только. Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих: это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное: во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого, сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убийцы! О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов — больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянною попыткой, замышленною притом же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но, однако же, все-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено. И, может быть, еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь пока в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним, он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем — о нет, это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О! обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное: я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кое-какие сведения: он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со

скрежетом зубов припоминал, что “от Смердящей произошел”. К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам (и на это есть факты) незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина: им, дескать, все, а ему ничего, им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы — суммы, которая могла бы составить его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидел три тысячи рублей в светленьких радужных кредитках (я об этом нарочно спросил его). О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении, на первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенною тонкостью очертил нам все pro и contra предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал: для чего тому было притворяться в падучей? Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем натурально, но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. Обвинение спрашивает: где момент совершения Смердяковым убийства? Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон) именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: “Отцеубивец!” Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок: он, естественно, мог уже час тому как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорает-

ся в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно в расстроенном и больном мозгу его создается мысль — страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денег и свалить все потом на барчонка: на кого же и подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить, как не барчонка, все улики, он тут был? Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае, и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить! И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план, чем, каким оружием, — а первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же, с какую же целью? А три-то тысячи, ведь это карьера. О! я не противоречу себе: деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. “Ну а обложка денег, а разорванный на полу пакет?” Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику, — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за два дня до того от самого Смердякова, мало того, он даже тем поразил меня: мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам вывел это самое соображение, и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут: а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И, однако, бедная собачонка, как известно стало, тявкнула всего только раза два-три во всю ночь. И это естественно; человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон, и опять через два часа, всего в ночь раза три. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться; про-

межутки сна, по два часа каждый, он проспал и не помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? “На одно-де хватило совести, а на другое нет!” Но позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки! Чем, чем неправдоподобно все то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность, абсурд! Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях — удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас, толкование об убийстве. А главное, главное, меня смущает и выводит из себя все та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна; эта кровь, эта с пальцев текущая кровь, белье в крови, эта темная ночь, оглашаемая воплем “отцеубивец!”, и кричащий, падающий с проломленную головой, а затем эта масса изречений, показаний, жестов, криков — о, это так влияет, так может подкупить убеждение, но ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение! Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас, но уж пусть, так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обагрив свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю, я ни на миг не сомневаюсь в его невинности, но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу... Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах. Но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни!..»

В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такою

искренно прозвучавшею нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслушав аплодисмент, громко пригрозил “очистить” залу суда, если еще раз повторится “подобный случай”. Все затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.

### ХIII

#### ПРЕЛЮБОДЕЙ МЫСЛИ

«Не совокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели, — возгласил он, — нет, моего клиента губит, по-настоящему, один лишь факт: это — труп старика отца! Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, — отвергли бы обвинение, по крайней мере, усумнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил! Но тут не простое убийство, а отцеубийство! Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною, и это в самом непредубежденном даже уме. Ну как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным — вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца — кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостями, моими успехами жившего! О, убить такого отца — да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, что такое отец, настоящий отец, что это за слово такое великое, какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души, — в настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе — ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению

высокоталантливому обвинителю. Но в своей горячей речи уважаемый мой противник (и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово), мой противник несколько раз воскликнул: "Нет, я никому не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга, — я обвинитель, я и защитник!" Вот что он несколько раз воскликнул и, однако же, забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то, обратно, не мог же ведь такой человек и не помнить, все эти двадцать три года, как он бегал босой у отца "на заднем дворе, без сапожек, и в панталончиках на одной пуговке", по выражению человеколюбивого доктора Герценшубе. О господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту "беду", повторять то, что все уже знают! Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при хороших наклонностях, при благодарном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки, он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая как сквозь сон свое детство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего! И что ж? Его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных денег; он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце, ежедневно "за коньячком", и, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги, любовницу, — о господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, марает его в обществе, вредит ему, клеветает на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем, только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей! Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставя, что он любит Шиллера, любит "прекрасное и высокое". Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя! Да, эти сердца, — о, дайте



мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые, — эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости, — жаждут бессознательно, и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовную и высшею любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной: это именно так всего чаще бывает в этих натурах! Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую, — вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа этот, по-видимому, грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным — “высоким и прекрасным”, как ни осмеено это слово! Давеча я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожою Верховцевой. Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали давеча не показание, а лишь крик исступленной и отмщающей женщины, и не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что она сама изменила! Если б имела хоть сколько-нибудь времени, чтоб одуматься, не дала бы она такого свидетельства! О, не верьте ей, нет, не “изверг” клиент мой, как она его называла! Распятый человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: “Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет...” Не погубим и мы души человеческой! Я спрашивал сейчас: что такое отец, и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом, господа присяжные, надо обращаться честно, и я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием: такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего, из ничего только Бог творит. “Отцы, не огорчайте детей своих”, — пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол. Не ради моего клиента привожу теперь эти святые слова, я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю — *vivos voco!*<sup>1</sup> Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я: пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшею волей — с нее слы-

<sup>1</sup> призываю живых! (лат.)

шит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: “Отцы, не огорчайте детей своих!” Да, исполним прежде сами завет Христов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами себе сделали их врагами! “В ню же меру мерите, возмерится и вам” — это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее сундук, про который никто не знал, его отперли и вынули из него трупик новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа присяжные, это ли мать детей своих? Да, она их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя матери? Будем смелы, господа присяжные, будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся “металла” и “жупела”. Нет, докажем, напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего развития, и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть — родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова “отец”, требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, *на веру*, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности, — в этой области мы, если хотим быть гуманными, христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреде, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот, вот тогда это и будет настоящим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом!..»

В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как бы умо-

ляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Все тотчас затихло. Оратор продолжал:

«Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, уже начинающих рассуждать? Нет, не могут, и не будем спрашивать от них невозможного воздержания! Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: “Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его”. Юноша невольно задумывается: “Да разве он любил меня, когда рождал, — спрашивает он, удивляясь все более и более, — разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть, разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству — вот все его благодеяния... Зачем же я должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?” О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: “Гони природу в дверь, она влетит в окно”, — а главное, главное, не будем бояться “металла” и “жупела” и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот как: пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: “Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?” — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, — то вот и настоящая нормальная семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец — конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий!»

Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики. Махали платками. Председатель изо всей силы начал звонить в колокольчик. Он был видимо раздражен поведением залы, но “очистить” залу, как угрожал недавно, решительно не посмел: аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках,

так что, когда угомонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием “очистить” залу, а торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь.

«Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын, через забор, проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с своим, родившим его, врагом и обидчиком. Изо всех сил настаиваю — не за деньгами он прибежал в ту минуту: обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не убить, о нет, вломился он к нему; если б имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы, по крайней мере, заранее хоть оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему, — я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту! Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть свято, будь это не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда, ударил бы, толкнул бы его, может быть, но и только, ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец — о, все сделал лишь вид отца, его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь — чудовищного соперника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: все поднялось в одну минуту! Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящий за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил, — я утверждаю это, я кричу про это, — нет, он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убийство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку! Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей! Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе: “Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я скви-

тался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток”. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его: “Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли достоин ее”, — вот что он воскликнет! О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта любви, оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как Бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда: “Я сквитался”, а скажет: “Я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее”. В слезах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет: “Люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня!” О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик вам слишком тяжело будет произнести: “Да, виновен”. Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то — вперед Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках!»

## XIV

## МУЖИЧКИ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯЛИ

Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержатъ его: женщины плакали, плакали и многие из мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик. «Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню» — как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренно растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз «обменяться возражениями» наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью: «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» — залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения; первые слова, первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны; он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз:

«...Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Недоставало только стихов. Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где доказательство, что он вынул деньги, кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, — разве это не поэма в байроновском вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма, это сфинкс, задающий загадки, которые и сам, уж конечно, не разрешит. Коль убил, так убил, а как же это, коли убил, так не убил — кто поймет это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий, и вот с этой трибуны “здравых понятий” раздается, с клятвою, аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок! Но если отцеубийство есть предрассудок и если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: “Отец, зачем я должен любить тебя?” — то что станется с нами, что станется с основами общества, куда денется семья? Отцеубийство — это, видите ли, только “жупел” московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда

представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. О, подавите его милосердием, восклицает защитник, — а преступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромнен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать учреждения стипендии имени отцеубийцы, для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении? Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, все мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа! *В ню же меру мерите, возмерится и вам*, восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют, — и это с трибуны истины и здравых понятий! Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта, по мере надобности, все по размеру надобности! А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает, мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас Бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие Бога нашего, Которого защитник удостоивает назвать лишь “распятым человеколюбом”, в противоположность всей православной России, взывающей к Нему: “Ты бо еси Бог наш!..”»

Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах, и проч. и проч., как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал, он взошел, только чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся «романов» и «психологии» и к слову повернул в одном месте: «Юпитер, ты сердисься, стало быть, ты не прав», чем вызвал одобрительный и многочисленный смехок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же «Христова лжеподобия» и того, что он не удостоил назвать Христа Богом, а назвал

лишь «распятым человеколюбцем», что «противно-де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий», — Фетюкович намекнул на «инсинуацию» и на то, что, собираясь сюда, он, по крайней мере, рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, «опасных для моей личности, как гражданина и верноподданного...». Но при этих словах председатель осадил и его, и Фетюкович, поклонясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был «раздавлен навеки».

Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее.

«Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как Богу исповедуюсь, и вам говорю: “В крови отца моего — нет, невиновен!” В последний раз повторяю: “Не я убил”. Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что я убил отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было! А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коль отпустите — помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коль осудите — сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропшу! Тяжело душе моей, господа... пощадите!»

Он почти упал на свое место, голос его пресекся, последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описывая в подробности. Наконец-то присяжные встали, чтоб удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: «Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность», и проч. и проч. Присяжные удалились, и наступил перерыв засе-



дания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны: «Оправдание-де неминуемое». Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы: не хотелось им оправдания! Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали.

— Есть, — сказал он в одной группе, как передавали потом, — есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны.

— А вот что-то наши мужички теперь скажут? — проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ.

— Да ведь не одни мужички. Там четыре чиновника.

— Да, вот чиновники, — проговорил, подходя, член земской управы.

— А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вот этот купец-то с медалью, присяжный-то?

— А что?

— Ума палата.

— Да он все молчит.

— Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте!

— Да помируйте, неужто не оправдают? — кричал в другой группе один из молодых наших чиновников.

— Оправдают наверно, — услышался решительный голос.

— Стыдно, позорно было бы не оправдать! — восклицал чиновник. — Пусть он убил, но ведь отец и отец! И наконец, он был в таком исступлении... Он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал: убил, но невиновен, вот и черт с вами!

— Да он так и сделал, только черт с вами не сказал.

— Нет, Михаил Семеныч, почти что сказал, — подхватил третий голосок.

— Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас Великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала?

— Да ведь не дорезала.

— Все равно, все равно, начала резать!

— А про детей-то как он? Великолепно!

— Великолепно.

— Ну а про мистику-то, про мистику-то, а?

— Да полноте вы о мистике, — вскричал еще кто-то, — вы вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его отселева дня! Ведь ему завтрашний день его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает.

— А она здесь?

— Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома сидит, зубы болят. Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!

В третьей группе:

— А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.

— Чего доброго, завтра весь «Столичный город» разнесет, десять дней пьянствовать будет.

— Эх ведь черт!

— Да черт-то черт, без черта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут.

— Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем?

— Колесница-то, колесница-то, помните?

— Да, из телеги колесницу сделал.

— А завтра из колесницы телегу, «по мере надобности, все по мере надобности».

— Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе?

Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть «убил ли с целью грабежа преднамеренно?» (текста не помню). Все замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил:

— Да, виновен!

И потом по всем пунктам пошло все то же: виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не ожидал, в

снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели — и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто все еще не сообразившись. Но, боже мой, что случилось с нашими дамами! Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг, на всю залу, послышались восклицания: «Да что это такое? Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им, верно, казалось, что все это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:

— Клянусь Богом и Страшным судом Его, в крови отца моего невиновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!

Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах, наверху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Пронесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыльце, при выходе:

- Двадцать лет рудничков понюхает.
- Не меньше.
- Да-с, мужички наши за себя постояли.
- И покончили нашего Митеньку!

*Конец четвертой и последней части*



## ЭПИЛОГ

### I

#### ПРОЕКТЫ СПАСТИ МИТЮ

На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея, сверх того, к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку; рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в беспомощности Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если бы и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштубе; московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился: было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении: она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша.

— О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. — Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести, — не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этою дверью лежит и что собой за брата пожертвовал (с сверкающими глазами прибавила Катя), — он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношения... Я вам уже кой-что сообщила... Видите, это произойдет, по всей вероятности, на третьем отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику третьего этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь... Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре: он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться — помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?

— Нет, не знаю, — сказал Алеша.

— Конечно, он тогда от вас скрыл: вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за три дня пред тем открыл все главное — вот тогда-то мы и начали ссориться и с тех пор все три дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась, — не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего... О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже, вместе с Дмитрием, бежит за границу! — воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. — Иван Федорович как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия и что, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому... И это тогда, когда я сама, уже давно пред тем, прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного! Я от злости только на эту тварь на него озлилась! Через три дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтоб я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь! Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге и что в случае, если он умрет или опасно заболит, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти десять тысяч, — вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он по-

сылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата и мне же, мне самой доверяет это дело спасения! О, это была жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович! Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю (а он бы непременно это подумал!), то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену! О, я несчастна! Таков мой характер — ужасный, несчастный характер! О, вы еще увидите: я сделаю, я доведу-таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но тогда... нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы вошли тогда и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то, как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что — помните — я вдруг закричала вам, что это *он, он один* уверил меня, что брат его Дмитрий убийца! Я нарочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца, напротив, в этом я, я сама уверяла его! О, всему, всему причину мое бешенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! Он захотел доказать мне, что он благороден и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде... Я всему причиной, я одна виновата!

Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну ужасную причину ее теперешней муки, как ни скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити; но ему почему-то было бы слишком больно, если б она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой причине. Она страдала за свое «предательство» на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно пред ним, пред Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите.

— Ничего, ничего, за него не бойтесь! — упрямо и резко начала опять Катя, — все это у него на минуте, я его знаю, я слишком

знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное, это не сейчас; будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам все поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен: разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно *позволить*, если уж так необходима тут ваша санкция, — с ядом прибавила Катя.

Она помолчала и усмехнулась.

— Он там толкует, — принялась она опять, — про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то, я помню, мне об этом Иван Федорович тогда передавал, и если б вы знали, как он говорил! — вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя, — если б вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его, может быть, в ту же минуту! А я, о, я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивою усмешкою! О, тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тот, осужденный, — разве он готов на страдание, — раздражительно закончила Катя, — да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают!

Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. «Что ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой, и ненавидит его минутами», — подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтоб это было только «минутами». В последних словах Кати он слышал вызов, но не поднял его.

— Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или и, по-вашему тоже, бежать будет нечестно, не доблестно, или как там... не по-христиански, что ли? — еще с пушим вызовом прибавила Катя.

— Нет, ничего. Я ему скажу все... — пробормотал Алеша. — Он вас зовет сегодня к себе, — вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване.

— Меня... разве это возможно? — пролепетала она, побледнев.

— Это возможно и должно! — настойчиво и весь оживившись, начал Алеша. — Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он все просит вас. Он не мирится вас к себе просит, но пусть вы только придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он

понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощения вашего хочет: «Меня нельзя простить», — он сам говорит, а только чтобы вы на пороге показались...

— Вы меня вдруг... — пролепетала Катя, — я все дни предчувствовала, что вы с этим придете... Я так и знала, что он меня позовет!.. Это невозможно!

— Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил, в первый раз в жизни, никогда прежде не постигал этого в такой полноте! Он говорит: если она откажет прийти, то я «во всю жизнь теперь буду несчастлив». Слышите: каторжный на двадцать лет собирается еще быть счастливым — разве это не жалко? Подумайте: вы безвинно погибшего посетите, — с вызовом вырвалось и у Алеши, — его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь! Придите, проводите во тьму... станьте на пороге, и только... Ведь вы должны, *должны* это сделать! — заключил Алеша, с невероятною силой подчеркнув слово «должны».

— Должна, но... не могу, — как бы простонала Катя, — он на меня будет глядеть... я не могу.

— Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь?

— Лучше страдать во всю жизнь.

— Вы должны прийти, вы *должны* прийти, — опять неумолимо подчеркнул Алеша.

— Но почему сегодня, почему сейчас?.. Я не могу оставить больного...

— На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболит горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!

— Надо мной-то сжальтесь, — горько упрекнула Катя и заплакала.

— Стало быть, придете! — твердо проговорил Алеша, увидав ее слезы. — Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете.

— Нет, ни за что не говорите! — испуганно вскрикнула Катя. — Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду, но, может быть, не войду... Я еще не знаю...

Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить.

— А если я с кем-нибудь встречусь? — вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев.

— Для того и нужно сейчас, чтобы вы там ни с кем не встретились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать, — настойчиво заключил он и вышел из комнаты.



## II

## НА МИНУТКУ ЛОЖЬ СТАЛА ПРАВДОЙ

Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский, по просьбе Алеши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником, всё под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракигин; но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того.

Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, немного в жару, с головой, обернутою полотенцем, смоченным водой с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алешу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг.

Вообще с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по полчасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда со страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти невыносимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.

— Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, говорят, весь свой постоянный двор разорил: половицы подымает, доски отдирает, всю «галдарею», говорят, в щепки разнес — все клада ищет, вот тех самых денег, полторы тысячи, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят,

тотчас и пошел куролесить. Поделом мошеннику! Сторож мне здешний вчера рассказал; он оттудова.

— Слушай, — проговорил Алеша, — она придет, но не знаю когда, может, сегодня, может, на днях, этого не знаю, но придет, придет, это наверно.

Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить: что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.

— Вот что она, между прочим, сказала: чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это.

— Ты уж об этом мне говорил, — раздумчиво заметил Митя.

— А ты уже Груше пересказал, — заметил Алеша.

— Да, — сознался Митя. — Она сегодня утром не придет, — робко посмотрел он на брата. — Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала; а губы скривились. Прошептала только: «Пусть ее!» Поняла, что важное. Я не посмел пытаться дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана?

— Так ли? — вырвалось у Алеши.

— Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет, — поспешил еще раз обозначить Митя, — я ей одно поручение дал... Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.

— Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша.

— Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страха уверена, что выздоровеет.

— Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша.

— Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя...

Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.

— Алеша, я Грушу люблю ужасно, — дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он.

— Ее к тебе *туда* не пустят, — тотчас подхватил Алеша.

— И вот что еще хотел тебе сказать, — продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя, — если бить станут дорогой аль *там*, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! Здесь уж *ты* начинают говорить. Сторожа мне *ты* говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в си-

лах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить! За Грушу бы все перенес, все... кроме, впрочем, побой... Но ее *туда* не пустят.

Алеша тихо улыбнулся.

— Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке — и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг и этим непрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошел *туда*. Потому что там ты не перенесешь и возропщешь и, может быть, впрямь наконец скажешь: «Я сквитался». Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны... Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если бы за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не позволил» бежать, — улыбнулся Алеша. — Но говорят и уверяют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в таком случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел.

— Но зато я себя осужу! — воскликнул Митя. — Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех вовеки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а?

— Этак, — тихо улыбнулся Алеша.

— Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь! — радостно смеясь, воскликнул Митя. — Значит, я Алешку моего иезуитом поймал! Расцеловать тебя всего надо за это, вот что! Ну, слушай же теперь и остальное, разверну тебе и остальную половину души моей. Вот что я выду-

мал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он, вдруг засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

— Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! — начал он опять, подавив волнение, — с Грушей туда приедем — и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним могикам. Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и так чтобы года три. В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся — конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север али на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую (по России-то поседею) — авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, все равно, значит, не судьба! Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно. Одобрешь?

— Одобрю, — сказал Алеша, не желая ему противоречить.

Митя на минуту смолк и вдруг проговорил:

— А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели!

— Если б и не подвели, все равно тебя б осудили, — проговорил, вздохнув, Алеша.

— Да, надоел здешней публике! Бог с ними, а тяжело! — со страданием простонал Митя.

Опять на минуту смолкли.

— Алеша, зарежь меня сейчас! — воскликнул он вдруг, — придет она сейчас или нет, говори! Что сказала? Как сказала?

— Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей! — робко посмотрел на брата Алеша.

— Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все смотрит. Понимает. Боже, Господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец, и все сказано!

— Вот она! — воскликнул Алеша.

В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг, неудержимо, протянул к Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, со странною улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две.

— Простила иль нет? — пролепетал наконец Митя и в тот же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости лицом прокричал ему: — Слышишь, что спрашиваю, слышишь!

— За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен! — вырвалось вдруг у Кати. — Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое; все равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей — так и надо... — она остановилась перевести дух. — Я для чего пришла? — испуганно и торопливо начала она опять, — ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимала, опять сказать тебе, что ты Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, — как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Алеша стоял безмолвный и смущенный; он никак не ожидал того, что увидел.

— Любовь прошла, Митя! — начала опять Катя, — но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть, — с искривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. — И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли ты это? Слышишь, люби

меня, всю твою жизнь люби! — воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.

— Буду любить, и... знаешь, Катя, — переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя, — знаешь, я тебя, пять дней тому, в тот вечер любил... Когда ты упала, и тебя понесли... Всю жизнь! Так и будет, так вечно будет...

Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные и иступленные, может быть, даже и неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно.

— Катя, — воскликнул вдруг Митя, — веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда... когда показывала... Неужто, неужто верила!

— И тогда не верила. Никогда не верила! Ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг... Когда показывала... уверила и верила... а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить. Знай это все. Я забыла, что я себя казнить пришла! — с каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем непохожим на недавний, сейчасный любовный лепет.

— Тяжело тебе, женщина! — как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити.

— Пусти меня, — прошептала она, — я еще приду, теперь тяжело!..

Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела как мел и тихо, почти шепотом, простионала ей:

— Простите меня!

Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила:

— Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.

— А простить не хочешь! — прокричал Митя Грушеньке, с безумным упреком.

— Будь покойна, спасу его тебе! — быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.

— И ты могла не простить ей, после того как она сама же сказала тебе: «Прости»? — горько воскликнул опять Митя.

— Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь! — горячо крикнул на брата Алеша.

— Уста ее говорили гордые, а не сердце, — с каким-то омерзением произнесла Грушенька. — Избавит тебя — все прощу...

Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.

— Алеша, беги за ней! — стремительно обратился к брату Митя, — скажи ей... не знаю что... не дай ей так уйти!

— Приду к тебе перед вечером! — крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но, как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему:

— Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила... Люблю ее за это! — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.

— Брат совсем не ожидал, — пробормотал было Алеша, — он был уверен, что она не придет...

— Без сомнения. Оставим это, — отрезала она. — Слушайте: я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю... Ну, теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят... Оставьте меня, пожалуйста!

### III

#### ПОХОРОНЫ ИЛЮШЕЧКИ. РЕЧЬ У КАМНЯ

Действительно, он опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался два дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с папой», — завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

— Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, протягивая Алеше руку. — Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян... Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете?

— Что такое, Коля? — приостановился Алеша.

— Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи.

— Убил лакей, а брат невинен, — ответил Алеша.

— И я то же говорю! — прокричал вдруг мальчик Смуров.

— Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! — воскликнул Коля. — Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!

— Что вы это, как это можно и зачем? — воскликнул удивленный Алеша.

— О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, — с энтузиазмом проговорил Коля.

— Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом! — сказал Алеша.

— Конечно... я желал бы умереть за все человечество, а что до позора, то все равно: да погибнут наши имена. Вашего брата я уважаю!

— И я тоже! — вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трои, и, крикнув точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей, как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаха. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами, присланными чем свет от Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою «мамочку», которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и жесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!»



— Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот этот беленький, и дай! — всхлипывая, попросила помешанная «мамочка». Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки.

— Никому не дам, ничего не дам! — жестокосердно воскликнул Снегирев. — Его цветочки, а не твои. Всё его, ничего твоего!

— Папа, дайте маме цветок! — подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка.

— Ничего не дам, а ей пуше не дам! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил, — вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками.

Мальчики, видя, наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и стали его подымать.

— Не хочу в ограде хоронить! — возопил вдруг Снегирев, — у камня похороню, у нашего камушка! Так Илюша велел. Не дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчишки.

— Вишь, что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника, — строго проговорила старуха хозяйка. — Там в ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что все до него каждый раз долетит, точно бы над могилкой его читали...

Штабс-капитан замахал наконец руками: «Несите, дескать, куда хотите!» Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшей проститься. Но, увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

— Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, — прокричала ей Ниночка. Но та, как автомат, все дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже. — Старуха, говоря это, плакала.

Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

— А корочку-то, корочку-то забыли, — вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился. — Илюшечка велел, Илюшечка, — пояснил он тотчас Алеше, — лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыпят мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу».

— Это очень хорошо, — сказал Алеша, — надо чаще носить.

— Каждый день, каждый день! — залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись.

Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквях как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попригих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее снова и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья с тупо-озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После Апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что Апостола *не так* читали, но мысли своей, однако, не разъяснил. За Херувимской принялся было подпевать, но не dokonчил и, опустившись на колени, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умирительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съезжился и начал часто, укороченно

рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мертвого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над открытою могилой, что мальчишки, в испуге, уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки. «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!» — бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчишек заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щипать и чтоб он на время дал их кому подержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что все уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился все чаще и уторопленнее, он спешил, чуть не бежал. Мальчишки и Алеша от него не отставали.

— Мамочке цветочков, мамочке цветочков! Обидели мамочку, — начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «Не хочу шляпу, не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчишки до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно, не попал и продолжал бежать плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты, как бы чем-то пораженный, и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной

могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и, биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрасивать и уговаривать.

— Капитан, полноте! Мужественный человек обязан переносить, — бурмотал Коля.

— Цветы-то вы испортите, — проговорил и Алеша, — а «мамочка» ждет их. Она сидит плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит...

— Да, да, к мамочке! — вспомнил вдруг опять Снегирев. — Постельку уберут, уберут! — прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которою давеча так жестокосердно поссорился:

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! — прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он пред постелькой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, — старенькие, порыжевшие, заскорузлые сапожки, с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»

— Куда ты его унес? Куда ты его унес? — раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел наконец за ними и Алеша. «Пусть переплачут, — сказал он Коле, — тут, уж конечно, нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся».

— Да, нельзя, это ужасно, — подтвердил Коля. — Знаете, Карамазов, — понизил он вдруг голос, чтобы никто не услышал, — мне очень грустно, и если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете!

— Ах, и я тоже, — сказал Алеша.

— Как вы думаете, Карамазов, приходите нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.

— Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем, вот и довольно, чтобы посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой, а если все придем разом, то им опять всё напомним, — посоветовал Алеша.

— Там у них теперь хозяйка стол накрывает, — эти поминки, что ли, будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, или нет?

— Непременно, — сказал Алеша.

— Странно все это, Карамазов, такое горе, и вдруг какие-то блины, как это все неестественно по нашей религии!

— У них там и семга будет, — громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою.

— Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете! — раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:

— Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал тогда об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» — разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

— Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть, очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, — все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? — а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье — все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соеди-

ненным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, — дайте я вас так назову — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, — милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть и усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

— Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, — продолжал Алеша, — но зачем нам и делаться дурными, не прав-

да ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?». Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливými, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце. Ну а кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, о котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

— Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

— Будем, будем помнить! — прокричали опять мальчики, — он был храбрый, он был добрый!

— Ах, как я любил его! — воскликнул Коля.

— Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

— Да, да, — восторженно повторили мальчики.

— Карамазов, мы вас любим! — воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

— Мы вас любим, мы вас любим, — подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

— Ура Карамазову! — восторженно провозгласил Коля.

— И вечная память мертвому мальчику! — с чувством прибавил опять Алеша.

— Вечная память! — подхватили снова мальчики.

— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

— Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

— Ах, как это будет хорошо! — вырвалось у Коли.

— Ну а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

— И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.





## КОММЕНТАРИИ

С. 7. *Тлетворный дух*. — И название этой главы, и общая ситуация, в которой небо, видимо, безразлично к земным делам, восходят к стихотворению Ф. И. Тютчева «И гроб опущен уж в могилу...».

...*куколь с осьмиконечным крестом*. — Куколь — монашеский головной убор.

...*закрыли черным воздухом*. — Воздух — вид покрывала.

С. 10. ...*от гроба стал исходить... тлетворный дух*... — Поясная этот эпизод, Достоевский ссылаясь на «подобный переполох», о котором рассказано в книге Парфения «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле...» (Ч. 3. М., 1856. С. 63—64). В черновиках романа, однако, сохранилась запись: «NB. По поводу провонявшего Филарета». Кончина Филарета, митрополита Московского (1782—1867), в свое время вызвала толки из-за «тлетворного духа», исходившего от тела покойного.

С. 16. ...*канон преславный... стихирчик малый*... — Канон — песнопение в честь святого или какого-либо церковного праздника; стихира — песнопение на библейские темы.

Здесь имеется авторское примечание: «При выносе тела (из келии в церковь и после отпевания из церкви на кладбище) монаха и схимонаха поются стихиры “Кая житейская сладость...”. Если же почивший был иеросхимонахом, то поют канон “Помощник и покровитель...”».

С. 22. ...*антидорцу кусочек*... — Антидор — часть особой просфоры, раздаваемой молящимся во время службы.

С. 24. ...*что называется «гешефтом»*... — Гешефт (нем. Geschäft) — мелкая сделка, спекуляция. Здесь: неразборчивая нажива.

С. 32—33. ...*хорошая басня... Вот она эта басня*... — Легенда о луковке была записана самим Достоевским «со слов одной крестьянки». Однако в сборнике А. Н. Афанасьева приведена легенда со сходным сюжетом (Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. Лондон, 1859. С. 30—32; М., 1859. 130—131).

С. 39. — *Что ж, обратил грешницу?.. Семь бесов изгнал, а?* — Семь бесов, согласно евангельскому рассказу, изгнал Христос из Марии Магдалины, исцеляя ее.

*Кана Галилейская* — городок в Галилее, где, по евангельскому рассказу, Христос совершил чудо, превратив воду в вино.

С. 40. *«И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей»...* — Этот стих и следующие за ним — цитаты из Евангелия от Иоанна (гл. 2, ст. 1—10).

С. 41. *Вон пишут историки...* — Достоевский имел в виду, в частности, книгу Э. Ренана (1823—1892) «Жизнь Иисуса».

С. 60. *«Отелло не ревнив, он доверчив», — заметил Пушкин...* — Из заметок А. С. Пушкина 1830-х гг. «Table-talk» («Застольные разговоры»).

С. 66. *Довольно! как сказал Тургенев.* — «Довольно. Отрывок из записок умершего художника» — повесть И. С. Тургенева. Достоевский пародировал это произведение в романе «Бесы».

С. 67. *Я написала... писателю Щедрину.* — Полемика Достоевского с М. Е. Салтыковым-Щедриным началась в 1860-е гг. В ответ на ироническое упоминание своего имени в «Братьях Карамазовых» Щедрин возразил Достоевскому в «Отечественных записках» за 1879 г. (статьи «Первое октября»; «Первое ноября. — Первое декабря»).

*...да и слово «современная» напомнило бы им «Современник»...* — «Современник» — литературный и общественно-политический журнал, основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным и ставший в 1840—1860 гг. органом русской революционной демократии. Выпад Достоевского против Щедрина и «Современника», в котором активно сотрудничал и который одно время редактировал Щедрин, служит поздним отголоском ожесточенной полемики этого журнала с журналами братьев Достоевских «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865).

С. 70. *«И только шепчет тишина...»* — неточная цитата из «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина: «...И мнится... шепчет тишина...»

С. 80. *...как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя Бога...* — Соединение разных мотивов. Феб — одно из имен древнегреческого бога Аполлона как божества света; «хваля и славя Бога» — цитата из Евангелия от Луки (гл. 2, ст. 20 и др.).

С. 81. *Был Мастрюк во всем, стал Мастрюк ни в чем!* — из народной исторической песни «Мастрюк Темрюкович» (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. 3. М., 1678. С. 28).

*Легковерен женский нрав, // И изменчив, и порочен* — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Поминки (Из Шиллера)».

С. 85. *Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бедный Иорик!»* — Имеется в виду сцена I из пятого действия трагедии Шекспира «Гамлет».

С. 86. *Еще последнее сказанье и...* — неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

С. 91. *...когда сын Божий на кресте был распят и помер, то сошел... прямо во ад...* — О сошествии Христа во ад повествуют многие апокрифические (религиозные, но не признаваемые церковью) стихи и сказания. Рассказанная легенда ближайшим образом соотносится с народными сказаниями и духовным стихом «Сон Пресвятой Богородицы» (Бессонов П. Калики переходные. Вып. 6. М., 1864. С. 206—207 и др.).

С. 93. *...в храмовой праздник...* — праздник в честь святого или события, которому посвящен храм.

С. 102. *А Фенарди действительно был Фенарди...* — Фенарди — известный в 1820-е гг. фокусник, имя его упоминается в IV главе поэмы Гоголя «Мертвые души».

«*Ты ль это, Буало, какой смешной наряд*» — из эпиграммы И. А. Крылова «На перевод поэмы “L’art poétique”»:

«Ты ль это, Буало?.. Какой смешной наряд!  
Тебя узнать нельзя: совсем переменялся.  
«Молчи! Нарочно я Графовым нарядился:  
Сбираюсь в маскерад».

*Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю...* — Эпиграмма К. Н. Батюшкова «Мадригал новой Сафе», первый стих которой несколько изменен.

*Ci-git Piron qui ne fut rien // Pas même académicien.* — «Моя эпитафия» — двустишие французского поэта Алексиса Пирона, написанное вследствие несостоявшегося выбора поэта в академики.

С. 103. *...за Россеюшку, старую бабусеньку...* — намек на финальные строки романа И. А. Гончарова «Обрыв».

— *За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!* — При первом разделе Польши в 1772 г. собственно польские земли отошли к Австрии и Пруссии, но не к России.

С. 106. *Угол... семпелечком... на пе...* — термины карточной игры.

С. 113. *...это у них весенние игры...* — Начиная с Масленицы целый ряд народных весенних праздников, связанных с языческими верованиями глубокой древности, имеют «вакхический» характер. Игры и пляски в Мокром, происходящие в конце августа, соотносятся с весенними праздниками лишь своим откровенным разгулом.

*Барин девушек пытал...* — По поводу этой песни Достоевский писал одному из своих корреспондентов: «Песня, пропетая хором, записана мною с природы и есть действительно образчик новейшего крестьянского творчества».

С. 114. *...танец саботьеру.* — Саботьера (фр. sabotiere) — французский народный танец.

С. 115. *Пронеси эту страшную чашу мимо меня!* — Герой повторяет слова Христа, сказанные им накануне крестного страдания и смерти (Евангелие от Марка, гл. 14, ст. 36 и др.).

С. 118. *...«точно горячий уголь в душе»...* — вариация известных строк из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».

С. 119. *Ножки тонки, бока звонки...* — загадка, включенная, как это иногда бывает, в состав народной песни. (Садовников Д. Загадки русского народа. СПб., 1876. С. 110).

С. 121. *...исправник... товарищ прокурора... судебный следователь, «из Правоведения»... становой...* — Исправник — в дореволюционной России — начальник полиции в уезде. Товарищ прокурора — тогдашнее официальное название должности помощника прокурора. «Правоведение» — Императорское училище правоведения, закрытое учебное заведение, учрежденное в 1835 г. для детей потомственных дворян. Становой (пристав) — полицейский чиновник, начальник стана — административной и полицейской единицы уезда.

С. 129. ...*переименованный в надворные советники...* — В Табеле о рангах, введенной Петром I в 1722 г. и действовавшей в России до 1917 г., все чины делились на четырнадцать классов; самым низшим был четырнадцатый. Надворный советник — гражданский чин седьмого класса.

С. 134. «*Помните того парня... что убил купца Олсуфьева...*» — Отголоски дела Зайцева, о котором сообщалось в печати в январе 1879 г. ...*изготовить... сотских...* — Сотский — низшее должностное лицо сельской полиции, избиравшееся сельским сходом.

С. 135. *Хождение души по мытарствам.* — Мытарство — истязание. По христианским верованиям, душа человека по смерти, поднимаясь от земли, встречается с злыми духами, которые обличают ее в грехах и стремятся низвести в ад. Таких мытарств двадцать, их избегают лишь души праведников.

С. 139. ...*поражен до эпидермы...* — Эпидерма — верхний слой кожи.

С. 140. ...*и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем...* — Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.) — древнегреческий философ-киник. Согласно преданию, среди бела дня ходил с зажженным фонарем и на вопрос, зачем он делает это, отвечал: «Ищу человека».

С. 144. ...*упрячете же вы меня... в смирительный...* — Смирительный (дом) — здесь: тюрьма.

С. 149. «*Терпи, смирайся и молчи...*» — неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!».

С. 167. *О, не произносите имени ее всуе!* — намек на одну из заповедей: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (всуе)».

С. 188 ...*ветер «сухой и острый»...* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Перед дождем».

...*этого своего нещечка...* — Нещечко (обл.) — здесь: сокровище, любимое существо.

С. 189. ...*задать «экстрафегферу»...* — то есть распечь, дать взбучку (от нем. extra — особый и Pfeffer — перец).

...*во время вакаций...* — Вакации (лат. vacatio — освобождение) — каникулы.

С. 192. ...*сиверкое ноябрьское утро...* — Сиверкое (обл.) — здесь: холодное с сыростью.

С. 196. — *Ох, дети, дети, как опасны ваши лета* — слегка измененное начало басни И. И. Дмитриева «Петух, Кот и Мышонок».

С. 199. ...*щеночка... меделянского...* — Меделянские собаки — порода догов.

С. 208. ...*выдержать на фербанте...* — На фербанте (нем. Verbannung — изгнание, ссылка) — на расстоянии.

С. 210. *О, все мы эгоисты, Карамазов!* — намек на теорию разумного эгоизма, развитую Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?».

...*в рекреационное время...* — Рекреация (лат. — буквально: восстановление) — перемена, промежуток между уроками.

С. 219. ...*выменял ему на книжку...* — Речь идет о книге «Родственник Магомета, или Целительное дурачество. Сочинение нравственное с приобщением гравированных фигур». (Ч. 1 — 2. Перевод с французского. М., 1785).

С. 224. — *Классические языки... это полицейская мера...* — Насаждение классических языков в гимназиях реакционным министром народного просвещения Д. А. Толстым (1823—1889) было продиктовано желанием оторвать учащуюся молодежь от растущего революционного движения. Вопрос о реальном и классическом образовании широко обсуждался в печати 1860—1870-х гг.

С. 227. ...*можно ведь и не веруя в Бога любить человечество... Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество?* — мерифраза слов В. Г. Белинского в «Письме к Н. В. Гоголю».

*Я, впрочем, «Кандида» читал...* — «Кандид, или Оптимизм» — философская повесть Вольтера, высмеивающая философию оптимизма английского просветителя А. Попа (1688—1744) и немецкого философа Г.-В. Лейбница (1646—1716).

*Я социалист, Кармазов, я неисправимый социалист...* — Коля повторяет слова А. И. Герцена из «Письма к императору Александру Второму», напечатанного в «Полярной звезде на 1855 г.» (Кн. 1. С. 11—14).

...*христианская вера послужила лишь богатым и знатым...* — Здесь и далее в репликах Коли звучат отголоски слов В. Г. Белинского из «Письма к Н. В. Гоголю».

С. 228. ...*место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.* — Имеется в виду статья девятая о «Сочинениях Александра Пушкина» В. Г. Белинского.

...*в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста...* — III Отделение собственной его императорского величества канцелярии с 1838 г. помещалось в Петербурге у Цепного моста (ныне мост Пестеля), Фонтанка, 16.

*Будешь помнить здание // У Цепного моста!* — Первая часть стихотворения «Послания» («Из Петербурга в Москву»), напечатанного в «Полярной звезде на 1861 г.» (Кн. 6. С. 214). Вторая часть стихотворения (а не его начало) — «Из Москвы в Петербург» — была напечатана в № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г.

...*один этот номер «Колокола»...* — «Колокол» — революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, в 1857—1867 гг. печатавшаяся за границей и нелегально распространявшаяся в России.

С. 233. *Сиракузы — это в Сицилии...* — Город Сиракузы расположен на юго-восточном побережье острова Сицилия.

С. 235. ...*Аще забуду тебе, Иерусалиме...* — Псалом 136, ст. 5—6.

С. 244. ...*дезабилье...* — домашнее платье, которое обычно не носят при посторонних (фр. *deshabile*).

...*в будуаре...* — Будуар (фр. *boudoir*) — небольшая дамская гостиная.

С. 247. «*Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок...)...*» — В обрисовке Скотопригоньевска сказались впечатления Достоевского от разных провинциальных городков России, главным образом от Старой Руссы.

С. 249. *Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить...* — Еще в 1862 г. в печати был поднят вопрос о памятнике поэту. Открытие памятника состоялось 6 июня 1880 г. и сопровожда-

лось праздничными торжествами. На одном из них (8 июня) Достоевский произнес свою речь о Пушкине.

С. 250. — *Судебный аффект*. — Аффект — болезненное состояние, при котором человек лишается способности осознания своих действий. По уголовному праву пореформенной России ссылка на аффект, к которой часто прибегали защитники, снижала наказание.

С. 259. ...*засел за апокрифические евангелия*... — Апокрифические евангелия — повествования о жизни Христа, не признаваемые церковью.

С. 260. *Эфика*. *Это что такое эфика?* — Имеется в виду этика (или, устар., ифика) — учение о нравственности.

С. 261. ...*Клод Бернар*. *Это что такое?* — Клод Бернар (1813—1878) — французский естествоиспытатель, физиолог и патолог, стремившийся найти общие принципы, руководящие жизнью животных и растений.

...*де мыслибус non est disputandum*... — перефразировка латинского изречения «De gustibus non est disputandum» («О вкусах не спорят»).

С. 263. *Уж какая ж эта ножка*... — Стихи Ракитина вызваны пародией Д. Д. Минаева (1835—1889) на стихотворение А. С. Пушкина «Город пышный, город бедный...»:

Я от ножек сам в угаре,  
И за них-то ноет грудь:  
Ведь на наших тротуарах  
Их легко себе свихнуть...

С. 266. *До конца отплатит, последний кодрант*. — Кодрант — мелкая медная римская монета. Слова героя напоминают об одной из притч Нагорной проповеди Христа (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 23—26).

С. 306. ...*дотащить мужика в частный дом*... — Частный дом — полицейский участок.

С. 309. *Фома поверил*... — Один из учеников Христа, Фома, не хотел верить рассказам о воскресении учителя и поверил только тогда, когда воскресший Христос сам ему явился (Евангелие от Иоанна, гл. 20, ст. 19—29).

*Вот, например, спириты*... — Спириты (от лат. spiritus — дух) — лица, признающие загробную жизнь духов умерших и возможность общения с ними. Достоевский не раз полемизировал со сторонниками спиритизма в «Дневнике писателя» за 1876 г.

С. 311. *Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto* — перефразировка стиха из комедии Теренция (ок. 195—159 до н. э.) «Самостоятель», (акт I, сцена I, ст. 25).

С. 313. ...*в воде-то этой, я же бе над твердию*... — цитата из Книги Бытия (гл. 1, ст. 7).

...*Гатцук внесет в календарь*... — А. А. Гатцук (1832—1891) в 1870—1880-е гг. издавал в Москве «Газету А. Гатцука...» и «Крестный календарь» на предстоящий год с еженедельным приложением.

С. 314. ...*мальц-экстракт*... — солодовый экстракт.

...«я ведь тоже разные водевильчики» — слова Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (действие 3, явление 6).

С. 315. *Je pense donc je suis...* — афоризм французского философа Р. Декарта (1596—1650) в его «Рассуждении о методе».

С. 316. ...у нас ведь тоже есть такое одно отделение... — намек на III Отделение собственной его императорского величества канцелярии — орган политического сыска и следствия, созданный Николаем I в 1826 г. и упраздненный в 1880-м.

...«всё отвергал, законы, совесть, веру»... — слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4).

...от «смягчения ваших нравов». — Вопрос о том, происходит ли постепенное «смягчение нравов» (словосочетание, уже в XIX в. ставшее штампом) в связи с развитием наук, искусств и ремесел, чрезвычайно занимал французских просветителей XVIII в. В отличие от Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), Вольтер отвечал на него положительно.

...пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи... — Согласно библейскому рассказу, пророк Иона, наказанный Богом заслушание, был проглочен китом и оставался «во чреве этого кита три дня и три ночи». (Книга пророка Ионы, гл. 2, ст. 1).

С. 318. ...в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить... — из стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» — поэтического переложения молитвы Ефрема Сирина (IV в.).

...как говорит актер Горбунов. — И. Ф. Горбунов (1831—1896) — актер, писатель, талантливый рассказчик-импровизатор, с которым Достоевский был лично знаком.

С. 319. ...«потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом»... — В основе этого анекдота лежат, по-видимому, стихи эпиграммы А. С. Пушкина:

Лечись — иль быть тебе Панглосом,  
Ты жертва вредной красоты —  
И то-то, братец, будешь с носом,  
Когда без носа будешь ты.

«*Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!*» — Острота восходит к эпиграмме на известную французскую актрису Ж.-К. Госсен (1711—1767).

С. 320. Я вот думал ... предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке... — Действительный статский советник — один из высших гражданских чинов в дореволюционной России, четвертого класса. Орден Льва и Солнца — персидский орден, которым иногда награждались русские чиновники на Кавказе.

Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. — Имеются в виду слова Мефистофеля в третьей сцене трагедии Гёте «Фауст»:

Частица силы я,  
Желавшей вечно зла, творившей лишь благое.

...умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника... — «Слово» здесь: Христос. По евангельскому преданию, Он был распят между двумя разбойниками, одного из которых (раскаявшегося) Он обещал взять с собой в рай.

...жить на шаромыжку... — жить на чужой счет.

С. 322 — 323. ...вспомнил Лютерову чернильницу! — Вождь Реформации в Германии Мартин Лютер (1483 — 1546) верил в существование дьявола. Сохранилось предание, будто Лютер запустил в дьявола чернильницей, когда тот мешал ему работать над переводом Библии.

С. 324. Ты «чистый херувим» — возможно, цитата из «Демона» М. Ю. Лермонтова:

...Тех дней, когда в жилище света  
Блистал он, чистый херувим...

С. 325. Который час? — Скоро двенадцать... это был не сон! — Согласно старинному поверью, полночь — время, когда исчезают призраки и прекращается действие волшебных чар.

...отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки... — По народному поверью, нечистая сила может принимать любое обличье; чаще всего она является в образе собаки или кошки.

С. 330. ...и «гетеры»... — Гетера — здесь: женщина легкого поведения.

С. 336. ...подмать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмать и их наказания. — Этот адвокатский прием как один из распространенных приемов защиты Достоевский отмечает у В. Д. Спасовича (1829 — 1906) в «Дневнике писателя» за 1876 г. (февраль, глава вторая, III).

С. 338. ...старший сын учили. — Григорий (а затем и прокурор) называет Ивана, а не Митю старшим сыном Федора Павловича Карамзова.

С. 339. Можно и «райские двери отверсты» увидеть... — неточная цитата из Апокалипсиса (Откровение Иоанна, гл. 4, ст. 1).

С. 341. ...господин Ракитин, которого брошюру... я недавно прочел... — Этот факт навеян сходным эпизодом из биографии Г. З. Елисева (1821 — 1891), видного сотрудника «Искры» и «Современника».

С. 344. ...какой-то гернгутер или «моравский брат»... — Гернгутерство — религиозно-общественное движение, возникшее в XVIII в. в местечке Гернгут в Саксонии и получившее распространение в XVIII — XIX вв. и в России. Учение гернгутеров имело в виду нравственное перевоспитание людей. Своими корнями оно восходило к учению «моравских братьев» — чешской религиозной секты, зародившейся в середине XV в.

С. 349. ...свидетели à décharge... — французский юридический термин, обозначающий свидетелей, вызываемых защитой для ослабления обвинительных заключений.

С. 359. — Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка... «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу». — «Хоцу — вско-



цу, не хочу — не вскожу (в старину невеста говорила: хочу — вскожу и, соглашаясь идти замуж, прыгала через положенный кругом пояс или в наставленную юбку)» Далъ В. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 332.

С. 361. ...*завопил неистовым воплем* — то есть воплем бесноватого, одержимого злым духом.

С. 367. ...*нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование*. — По судебной реформе 1864 г. в России был введен суд присяжных, который был открытым и гласным.

*Вот там молодой блестящий офицер высшего общества... под головы подушки*. — Имеется в виду дело Ландсберга, обвинявшегося в 1879 г. в убийстве надворного советника Власова и мещанки Семенидовой. Здесь, как и везде в романе, упоминающееся преступление — отражение реальных уголовных процессов, освещавшихся в русской печати.

С. 368. ...*вопросов о том: «Что будет там?»*... — Имеется в виду монолог Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет» (действие 3, сцена 1).

...*«он между нами жил»*... — первая строка из стихотворения А. С. Пушкина, посвященного А. Мицкевичу.

*Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих*... — Имеется в виду финал поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

С. 369. ...*«как солнце в малой капле вод»*... — цитата из оды Г. Р. Державина «Бог».

*Все нравственные правила старика — après moi le déluge* — выражение, приписываемое и Людовику XV (королю Франции с 1715 по 1774 г.), и его фаворитке маркизе де Помпадур (1721—1764).

С. 399. ...*«ударить по сердцам с неведомою силой»* — из стихотворения А. С. Пушкина «Ответ анониму».

С. 401. ...*потребность художественного творчества... создания романа*... — Мотив «создания романа» появился под влиянием аналогичных обвинений в судебной полемике между А. Ф. Кони (1844—1927) и В. Д. Спасовичем по делу Емельянова. «Несмотря на горячие нападения Спасовича на то, что он называл “романом, рассказанным прокурором”, присяжные согласились со мной...» (Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 130).

С. 405. *Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа?* — «Тайны Удольфского замка» — популярный в России в первой половине XIX в. роман английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823), произведениями которой Достоевский увлекался в детстве.

С. 415. ...*вам дана необъятная власть, власть вязать и решить* — намек на слова Евангелия от Матфея (гл. 18, ст. 18 и др.).

С. 418. *«Аз есмь пастырь добрый...»* — Имеются в виду слова Евангелия от Иоанна (гл. 10, ст. 11, 14—15).

*«Отцы, не огорчайте детей своих»*... — неточная цитата из Послания апостола Павла к колоссянам (гл. 3, ст. 21).

...*как человек и гражданин взываю — vivos voco!* — Vivos voco! — первые слова эпископа Ф. Шиллера к «Песни о колоколе». Эти слова были лозунгом «Колокола», газеты А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

С. 419. ...и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся «металла» и «жупела». — Жупел — библейское слово, означающее горящую смолу или серу. Имеется в виду действие II, явление 2 драмы А. Н. Островского «Тяжелые дни». Слова защитника о «металле» и «жупеле» — пародия Достоевского на Е. Л. Маркова (1835—1903), либерального писателя и критика, выступавшего против Достоевского в своих критических статьях.

С. 420. «Он родил тебя... даже врагом своим...» — Рассуждение Франца Моора («Разбойники» Ф. Шиллера, действие I, сцена I).

«Гони природу в дверь, она влетит в окно...» — цитата из басни Ж. Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину», в вольном переводе Н. М. Карамзина, который включил этот стих в свой очерк «Чувствительный и холодный. Два характера».

С. 422. *Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного... нашей славной истории?* — несколько измененные слова Петра I из его Воинского устава. Эти слова цитировал В. Д. Спасович в заключении одной из своих речей (Спасович В. Д. Собр. соч. Т. 5. Изд. 2. СПб., 1913. С. 66).

С. 424. ...удостоивает назвать лишь «распятым человеколюбом»... — То есть рассматривает Христа только как человека и не признает его Богом.

«Ты бо еси Бог наш!» — слова многих молитв, обращенных к Христу.

С. 427. ...ведь оправдали же у нас Великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала? — Имеется в виду дело Каировой, которое Достоевский подробно анализировал в майском номере «Дневника писателя» за 1876 г., глава первая.

С. 428. — *Двадцать лет рудничков понюхает.* — На такой срок был осужден прототип Мити — прапорщик Ильинский, ложно обвиненный в отцеубийстве. Но каторга на срок была бы возможна лишь в том случае, если бы в деле оказались смягчающие обстоятельства. Митя же, признанный виновным во всех пунктах, по законам Российской империи должен быть приговорен к пожизненной каторге.

С. 436. *Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны...* — Сказанное восходит к словам Христа о книжниках и фарисеях: «...связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плеча людям...» (Евангелие от Матфея, гл. 23, ст. 4 и др.).

С. 437. ...в тот край, к последним могикам. — «Последний из могикиан» — роман американского писателя Ф. Купера (1789—1851).

С. 440. *Всех их собралось человек двенадцать...* — намек на двенадцать апостолов, учеников Христа.

С. 441. ...я желал бы умереть за все человечество, а что до позора, то все равно: да погибнут наши имена. — Коля цитирует слова французского политического деятеля, известного оратора, жирондиста Верньо (1753—1793), сказанные им на одном из заседаний Конвента.

С. 443. ...*Апостола не так прочитали...* — Апостол — здесь: название книги Нового Завета, включающей Деяния апостолов, апостольские Послания и Откровение Иоанна Богослова.

*За Херувимской принялся было подпевать...* — Херувимская — название одного из церковных песнопений («Иже, херувимы...»).

С. 446. *Все молча остановились у большого камня.* — Символический мотив: камень — здесь первый камень здания будущей гармонии, уже теперь закладываемого Алешей и мальчиками, его учениками.

С. 447. *Голубчики мои...* — В христианской символике голубь означает как Духа Святого, так и апостола.

С. 448. ...*мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга...* — Пересказ христианского символа веры: «Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь».

*В. Ветловская*



## СОСТАВ

собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 12 томах

- Том 1*      Бедные люди  
              Белые ночи  
              Неточка Незванова  
              Дядюшкин сон
- Том 2*      Записки из Мертвого дома  
              Рассказы
- Том 3*      Униженные и оскорбленные
- Том 4*      Преступление и наказание
- Том 5*      Идиот (части 1—3)
- Том 6*      Идиот (окончание)  
              Игрок  
              Записки из подполья
- Том 7*      Село Степанчиково и его обитатели  
              Бесы (часть 1)
- Том 8*      Бесы (окончание)
- Том 9*      Подросток (части 1—2)
- Том 10*     Подросток (окончание)  
              Зимние заметки о летних впечатлениях  
              Вечный муж
- Том 11*     Братья Карамазовы (части 1—2)
- Том 12*     Братья Карамазовы (окончание)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
ВОШЕДШИХ В 1—12 ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ  
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

	<i>Том</i>	<i>С.</i>
Бедные люди	<i>1</i>	<i>21</i>
Белые ночи	<i>1</i>	<i>127</i>
Бесы (часть первая)	<i>7</i>	<i>191</i>
Бесы (части вторая и третья)	<i>8</i>	<i>7</i>
Братья Карамазовы (части первая и вторая)	<i>11</i>	<i>7</i>
Братья Карамазовы (части третья и четвертая)	<i>12</i>	<i>7</i>
Вечный муж	<i>10</i>	<i>273</i>
Дядюшкин сон	<i>1</i>	<i>313</i>
Елка и свадьба	<i>2</i>	<i>316</i>
Записки из Мертвого дома	<i>2</i>	<i>7</i>
Записки из подполья	<i>6</i>	<i>267</i>
Зимние заметки о летних впечатлениях	<i>10</i>	<i>211</i>
Игрок	<i>6</i>	<i>141</i>
Идиот (части первая — третья)	<i>5</i>	<i>7</i>
Идиот (часть четвертая)	<i>6</i>	<i>7</i>
Неточка Незванова	<i>1</i>	<i>173</i>
Подросток (части первая и вторая)	<i>9</i>	<i>7</i>
Подросток (часть третья)	<i>10</i>	<i>7</i>
Преступление и наказание	<i>4</i>	<i>7</i>
Село Степанчиково и его обитатели	<i>7</i>	<i>7</i>
Скверный анекдот	<i>2</i>	<i>323</i>
Униженные и оскорбленные	<i>3</i>	<i>7</i>
Честный вор	<i>2</i>	<i>302</i>
Чужая жена и муж под кроватью	<i>2</i>	<i>265</i>



## СОДЕРЖАНИЕ

### БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

*Роман в четырех частях с эпилогом*

Часть третья .....	7	
Часть четвертая .....	188	
Комментарии <i>В. Ветловской</i> .....	450	
СОСТАВ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО		
В 12 ТОМАХ. ....	461	
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В 1 — 12 ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО .....		462

**Федор Михайлович  
Достоевский**

**Собрание сочинений**

**БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ**  
окончание

Составитель *А. Храмков*

Редактор *Б. Акимов*  
Компьютерная верстка *А. Филиппов*  
Корректоры *Н. Кузнецова, Ю. Черникова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»  
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:  
Телефон: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79  
E-mail: [commerce@mirknigi.ru](mailto:commerce@mirknigi.ru)

ООО «РИЦ Литература»  
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 15.02.2008 г.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Гарнитура «Литературная С»  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36

Тираж 7000 экз. Заказ № 4817067

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»  
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.



Произведения  
**Федора Михайловича Достоевского**  
(1821-1881) —

сочетание реалистичности,  
фактографической точности,  
социальных контрастов

с поисками истины существования  
и недостижимой, идеальной гармонии.  
Герои — ищущие, одержимые страстью,  
мятущиеся — вечные. Как и сам мир.

ISBN 978-5-486-02101-5



9 785486 021015